

*Уроки счастья*



Марк  
Харитонов

*Уроки  
счастья*

Марк Харитонов



Новый Хронограф

Марк Харитонов

# УРОКИ СЧАСТЬЯ

*Эссе разных лет*

Москва  
2009

УДК 821.161.1-4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4  
Х20

**Харитонов, Марк.**  
Х20 Уроки счастья / Марк Харитонов. – М. : Новый хронограф, 2009. – 278 с. – (Серия «Эссеистика нового века»). – ISBN 978-5-94881-096-6.  
Агентство СІР РГБ

ISBN 978-5-94881-096-6

В эссе «Уроки счастья», давшем название всему сборнику, известный писатель Марк Харитонов, лауреат первой в России Букеровской премии (за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», 1992 г.), размышляет о способности к счастью. Это, пишет он, «свойство внутреннее, сродни религиозному мироощущению – оно может быть как будто вовсе не связано с обстоятельствами внешней жизни».

С этой мыслью перекликаются и многие другие тексты, вошедшие в книгу. Пишет ли автор о своем непростом послевоенном детстве, о событиях, свидетелем которых он оказался, вспоминает ли о друзьях, размышляет ли о литературе, искусстве, истории, о времени и о себе – читатель ощущает постоянное его желание, «как сон при свете солнца, припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо».

ISBN 978-5-94881-096-6

© Харитонов М.С., 2009

© Издательство «Новый хронограф», 2009

# РОДИВШИЙСЯ В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ

## Гороскоп

Год моего рождения – 1937 – вызывает у многих моих соотечественников чувства особые. Это был год, когда террор достиг вершины, год арестов, пыток, расстрелов, год общего страха.

Этот страх погнал мою маму из Москвы: когда пришла пора меня рожать, она уехала подальше от столицы, в Житомир, к тете.

Я порой думаю: не сказалось ли это на мне, не вошло ли что-то из тогдашнего воздуха в мою душу и кровь? Есть ведь такое ненаучное мнение, что впечатления, полученные женщиной при беременности, сказываются на потомстве. Нечто подобное экспериментально подтвердил библейский Иаков, добываясь пестроты овечьего стада. Во всяком случае, состояние земных дел в день рождения влияет на судьбу новорожденного не меньше, чем расположение звезд. Известен вид гороскопа: восстановить хотя бы по газетным сообщениям, что происходило в этот день – 31 августа 1937 года.

По-украински – 31 серпня. Вторник. В этот день в Москву вернулись стратонавты Я. Украинский и В. Алексеев, совершившие полет на субстратостате. Летчик Задков вылетел с мыса Барроу к ледоколу «Красин». По местному радио – передача для домохозяек: передовая газеты «Правда» («Прогрессирующими, невиданно быстрыми темпами растет культурный уровень многочисленных трудящихся масс Советского Союза»),

концерт из произведений Чайковского и Танеева. А накануне покончил жизнь самоубийством председатель украинского Совнаркома Любченко – «запутавшись в своих антисоветских связях и, очевидно, боясь ответственности перед советским народом за предательство интересов Украины». В тот же день назначен его преемник Бондаренко. В Испании мятежники атаковали Эль Пардо и Университетский городок. В Китае японские войска взяли крепость Усун. В Подвысоцком районе разоблачена контрреволюционная организация во главе с секретарем райкома. В этот день произведено 200 штук грузовых и 5 штук легковых автомобилей ЗИС. Академик Лысенко объявил о получении новой формы пшеницы, «равной которой нет во всей мировой коллекции». Продолжался разбор Страстного монастыря в Москве. В деревне Златополье на Украине арестован священник Сергей Ивахнюк, восхвалявший немецких фашистов и троцкистов. Марья Николаевна Тухачевская, 1907 года рождения, решила поменять свою фамилию на Юрьеву. В театре Вахтангова шла комедия «Много шума из ничего».

Я выделял для себя эту дату, 31 августа 1937 года, в чужих воспоминаниях, дневниках и рассказах, пытаюсь представить одновременное состояние жизни разных людей в разных местах.

В этот день генетик Владимир Павлович Эфроимсон был выгнан с волчьим билетом «за бесполезность работы», а подготовленный им материал по генетике шелководства уничтожен. Томас Манн в швейцарском городке Кюснахт работал над очередной главой «Лотты в Веймаре», потом гулял с женой в лесу. Было ветрено. В.Н. Горбачева, жена поэта С. Клычкова, получила в этот день телеграфное уведомление о том, что поэта Н. Клюева нет больше в Томске – возможно, перевели в тюрьму. Но был ли он вообще к тому времени жив?

О чем думал 31 августа 1937 года Д. Хармс? Я знаю, что он писал 12 августа:

Я плавно думать не могу –  
Мешает страх.

Может, в тот день им было написано вот это, с непроставленной датой:

Как страшно тают наши силы,  
Как страшно тают наши силы...

Или вот это: август 1937-го, без числа:

Довольно ныть. И горю есть предел.  
Но ты не прав. Напрасно ноешь.  
Ты жизни ходы проглядел,  
Ты сам себе могилу роешь...

## Дом

Едва оправившись, мама вернулась со мной в Москву. Так что на своей родине, в Житомире, я, собственно, никогда не бывал – если не считать нескольких недель после рождения. Но этого я не могу помнить, как не могу гордиться великими земляками. Кажется, их и не было – черта оседлости, не более.

Мы жили в общежитии при деревообделочной фабрике на улице Сайкина. Это был барак в виде буквы П: в одном крыле шестнадцать дверей, в другом шестнадцать, посередине туалет. Вот этот туалет, метров шесть, родителям разрешили приспособить под жильё. А кухня была в особом бараке: огромная плита с двумя топками, не то что на тридцать две – на сто кастрюль. Но мама готовила у себя, на плитке – и вот ведь свойство молодости: это время вспоминалось им потом как счастливое.

А в 1938 году дед купил у цыганского табора халупу в Нижних Котлах и позвал построиться рядом любимого сына, моего папу. Папа сумел раздобыть у себя, на деревообделочной фабрике, стройматериалы по государственной цене – по тем временам (как и по нынешним, впрочем) это было большое дело. Деньги дал родственник, вошедший в долю. Дедушка выхлопотал разрешение на постройку сарая – дом в таком месте никто строить бы не разрешил. Нашли плотников, и они за воскресенье и две ночи подвели дом под крышу.

Более того, в этом едва готовом доме печник тут же сложил печь. А существовало, оказывается, правило, не знаю, писаное или неписаное: если в доме есть печь, то это уже жилье, и сносить его нельзя. В понедельник в этот едва готовый дом въехала вся семья вместе со мной. Потом были долгие конфликты с пожарной охраной и разными другими инстанциями, дело разбиралось в суде, родителей оштрафовали за самовольное строительство на 25 рублей, но дом уже стоял, и тот же суд внес его в реестр жилых владений Москвы под номером 5а.

Знаменитые москвичи любят в интервью вспоминать Москву своего детства – существенный элемент самой начальной духовной пищи; это запечатлевается на всю жизнь. «Что для вас значит Москва? – спрашивают их. – Какое место памятно вам больше всего?» И те вспоминают арбатские дворы, Чистые пруды или, допустим, Хамовники. Я этой Москвы в детстве почти не видел. Места моего детства даже трущобами не назовешь.

Сейчас таких домов в Москве, пожалуй, и не осталось. Я вспоминаю его, когда вижу некоторые старые фотографии, вид сверху с какого-то высокого этажа: скопище деревянной убогой рухляди. Это воспринимается уже как этнография, как про индейцев Амазонки. Что утварь, что жилище, что одежда. А речи, разговоры! А газетные статьи, а эстрадные шутки по радио! Морок, ужас.

Но это была наша жизнь. И мы вовсе не считали ее плохой.

Дом с трех сторон был окружен стенами и заборами заводов: эмалекрасочного и шлакобетонного. А может, только одного эмалекрасочного, а шлакобетонный располагался напротив, уже не уверен. На ближней свалке постоянно валялась бракованная продукция вроде эмалированных металлических табличек для домовых номеров и названий улиц; здесь же можно было подобрать и гвардейские значки, и, говорят, даже ордена. Орден я не видел, а гвардейских значков у меня было несколько: игрушки военных лет. Повешенное для просушки белье здесь чернело от копоти, когда начинала дымить

труба. Еще одну металлическую трубу поставили уже при мне вне заводских стен, прямо у спуска к нашим домам. Она была горячая, и от нее всегда пахло испарениями горячей мочи, поскольку проходим, особенно мальчишкам, интересно было наблюдать, как с шипением испаряется, прикоснувшись к трубе, ароматная струя.

Я сказал: у спуска к нашим домам. Они действительно стояли как бы в яме, и от дороги к ним надо было спускаться. Поэтому их часто заливало. Иногда проступали подпочвенные воды. Как-то мама вымыла пол, отошла к керосинке, где жарилась рыба, смотрит: на полу лужа. Она решила, что плохо вытерла, сделала это тщательней, но вода проступила опять, а потом поднялась так, что приходилось ходить по доскам, положенным на кирпичи.

За водой мы ходили «на гору», к колонке у Варшавского шоссе. Смутно помню, как в самом начале войны мы туда же, на гору, карабкались в бомбоубежище. Подъем был скользкий, кругом темень. И само бомбоубежище помню: тусклый свет, лица, ощущение пыли, земли над головой...

Зато внизу, в другую сторону, была Москва-река, речной порт, песок на берегу, не природный, сгруженный с барж. Купаться там было нельзя – вода в нефтяных разводах; но, помнится, купались. А самые памятные впечатления – когда спускали и поднимали водолазов, привинчивали и отвинчивали шлемы скафандров. Я часто туда бегал...

Черт побери, и это город моего детства? Пожалуй... Редко доезжал я на трамвае дальше Даниловского рынка или Большой Полянки, где был Дом пионеров. Помню в окрестностях целые кварталы разрушенных в войну домов. Если и видел что-то еще – это в память не запало.

Но в том-то и дело: и дымящуюся черную трубу, и пустырь напротив, и трехцветную речку Вонючку (о которой чуть дальше) я вспоминаю с тем же добрым чувством, с каким Эрих Кестнер, допустим, вспоминал волшебно-прекрасный Дрезден своего детства: «Если я действительно обладаю даром распознавать не только дурное и безобразное, но также и прекрасное,



то потому лишь, что я вырос в Дрездене. Не из книг узнавал я, что такое красота. Мне дано было дышать красотой, как детям лесника – напоенным сосной воздухом».

Снова и снова вглядываюсь в себя, стриженного под нуль, тощего, дышавшего многие годы детства запахом горячей мочи от черной трубы, копотью от уродливых заводов, вонью реки Вонючки... Как это отпечаталось на моем человеческом устройстве, вкусах, характере? Что-то тут не так просто. Надо подумать.

## Пейзажи моего детства

Что было для меня в детстве природой? Откос окружной железной дороги, поросший вьюнками; мы называли их граммофончиками (сюда приходили, чтобы помахать рукой машинисту). Пустырь напротив; цветы и травы, прораставшие там, среди камней и мусора, до сих пор знаю лучше, чем всю флору последующих лет: подорожник, белый клевер, который мы называли кашкой, куриная слепота (было известно: если сок попадет в глаз – ослепнешь; никто, впрочем, не проверял), ромашка, полынь; в канавах – лебеда, лопухи, крапива. А во дворе событием стал однажды проросток картофеля у заводского забора: белый, мертвенный, хрупкий.

Недалеко от наших домов в Москву-реку впадала река Вонючка. Я видел это название и на одной городской карте, на всех других река звалась Котловка; сейчас она упрятана в трубу. Эта река действительно благоухала изрядно и каждый день меняла свой цвет: буро-зеленый, буро-желтый, буро-красный. Воду красил кожевенный завод, стоявший повыше.

И все же это была природа, такая же значительная, как настоящие леса, луга, сады и реки, в которых можно было купаться.

Да, удивительней всего, пожалуй, убедиться, что это тоже, оказывается, могло питать душу, что качество этой духовной, так сказать, пищи вовсе не однозначно сказывается на свойствах организма.

Мне вспомнились рисунки детей из концлагеря Терезин. Даже сейчас, когда он превращен в музей, там, кажется, можно сойти с ума. А они рисовали цветы, и солнце, и игры – все, что рисуют дети в другой, нормальной для человека жизни. Воспитатели, поощрявшие их рисовать, надеялись, что они, если выживут, смогут стать полноценными, неискалеченными людьми. И, может, не зря надеялись\*.

Решает все-таки способность души усваивать и перерабатывать внешние впечатления, как перерабатывает организм во что-то полноценное даже скудную телесную пищу. Здесь нет прямой зависимости: чем питаешься, то из тебя выйдет. Если, конечно, не доводить до крайности, за которой начинаются рахит, цинга, чахотка и психозы.

Ведь и духовный пейзаж тех лет никак не назовешь полноценным. Мы просто не знали многого и важнейшего в своей культуре. Для детей той поры не существовало даже Достоевского, Есенина, не существовало иконописи и мировой живописи, Пастернака и Мандельштама, Цветаевой и Булгакова, Платонова и Бабеля. Ахматову мы знали только по характеристикам ждановского доклада: полумонахиня, полублудница, Зоценко присоседился там же какой-то полуобезьяной; моему тогдашнему пионерскому разумению не совсем было понятно, почему оба оставлены в живых (врагов полагалось расстреливать). Зато в пятом классе мы должны были проходить по учебнику Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» (при всем своем добронравии отличника я этой книги, правда, не прочел до сих пор. Но что-то читал,

---

\* Совсем недавно я еще раз увидел эти рисунки в Пражском еврейском музее и впервые обратил внимание на возраст рисовавших. Иные 12–14-летние рисовали, как рисуют 6–7-летние. Может быть, они (не все, но некоторые) оказались задержаны в развитии и солнце, травы, цветы на их рисунках были попыткой вернуться, остаться в утраченной жизни? Может, правильнее было не приспособливаться к ужасу, а взбунтоваться, даже ценой жизни?.. Нет, это вопрос не к детям концлагеря, они и взбунтоваться не могли; перед их памятью можно только склониться горестно. Это о нас. Наше развитие в самом деле оказалось, пожалуй, задержано или искажено как-то иначе. В каком-то смысле мы долго еще оставались незрелыми.

и почище). Помню, учительница демонстрировала нам образец потешного символизма: «И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу». Мы от души ржали, учительница грустно улыбалась: она когда-то любила это. В Музей изобразительных искусств я сходил однажды на выставку подарков Сталину: запомнился бисерный кошелек, изделие безрукой женщины, она вышила его пальцами ног; портрет Сталина, выгравированный на зернышке риса, – его надо было смотреть в микроскоп... Боже, Боже! А песни из репродукторов, а карикатуры в журнале «Крокодил»! А незабываемая первая учительница Мавра Алексеевна – та, что била первоклашек линейкой по пальцам и по «кумполу» (меня, впрочем, не била, я был добронравный).

Что мне запомнилось из ее науки? Два рассказа. Один – про то, как какой-то ее знакомый поднял своего сынишку за голову – и оборвал шейные позвонки, так что мальчик умер. Это засело как практическое знание: нельзя поднимать человека за голову. А второй – как евреи едят лапшу. Она у них длинная-длинная, так что они наматывают ее на что-то вроде колодезного ворота, только поменьше (так я понял), и затягивают постепенно в рот. Этот рассказ, помнится, меня смутил. Потому что про евреев я все-таки немного знал, но никогда не видел ни такой длинной лапши, ни таких приспособлений. Позже я подумал, что так в ее мозгу преобразился слух об итальянских спагетти.

Но вот ведь выучился, кое-что знал даже после нее. Сейчас этому впору удивляться. Насколько мы все-таки зависим в своем развитии от внешних условий?

(Вот сейчас уже появляются воспоминания людей, которые выросли при телевизоре, которым доступна стала литература, не существовавшая для нас. Но она не затронула и их: новые времена – новая бездуховность.)

Конечно, развитие многих из нас оказалось задержано. Интеллигенты в первом поколении, мы не имели наследственных библиотек – свою первую этажерку я заполнил сам. У прежних аристократов, у интеллигентов потомственных

сословная и семейная традиции облегчали личный поиск – основные, первоначальные понятия, вкусы, правила были заданы едва ли не от рождения; отсюда ранняя зрелость и Пушкина, и Пастернака. Мне все это пришлось вырабатывать долго, непоследовательно, порой мучительно, все подвергая переоценке.

Но, может, эта потребность в усилении значила для души не меньше, чем доступность пищи? Может, главное было в этом усилении, в этом душевном труде? А вот готовность к нему, наверное, задается отчасти природным устройством, отчасти воспитанием. В семье нам все же привили понятия о честности, совестливости, доброте, труде. И была в конце концов классика – первостепенная духовная пища. Были Пушкин и Лермонтов, Толстой и Чехов, и по репродуктору звучала великая музыка.

## Поколение

Я поздно осознал свою принадлежность к поколению, даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности, как сопротивлялся духу времени, моде. В этом сопротивлении есть, наверно, что-то «неблагочестивое» (слово, которым Томас Манн обозначал позицию священнослужителей, не откликавшихся на потребность времени в религиозном обновлении). Впрочем, время само, помимо моего желания, лепило и лепит меня, мой образ мира.

Поколение – это, между прочим, те, чье сердце откликнется на песенки Утесова или Шульженко, для кого «Под звездами балканскими» или «В лесу прифронтовом» пахнут воспоминаниями, талым снегом, керосиновой лампой, вкусом лекарств, первой влюбленностью. Любители нынешних певцов и ансамблей поймут друг друга через много лет лучше, чем я их.

Или вот это: в 1946 – 1947 годах мальчишки начинали во множестве болеть за «Динамо», самую популярную – после сенсационных гастролей в Англии – футбольную команду; годом позже – за ЦДКА. Болельщиков «Спартака» и «Торпедо» среди моих одноклассников были единицы, их время пришло

еще лет через пять. По этой примете можно определять если не возраст, то болельщицкий стаж.

Я помню, как впервые услышал о баскетболе, – в Белоруссии, в городке Добруше, куда моего отца послали после войны работать на бумажную фабрику. Приятель Марик Веберов, сын портного, приехал из большого города – из Гомеля – и рассказывал про необычную игру, где мяч забрасывают в корзину, висящую на столбе. Я мог понять все, кроме одной подробности: почему у этой корзины не было дна? Уж если забросили – так чтоб не вываливалось, чтоб видно было.

В волейбол у нас уже играли, а баскетбола не видели никогда.

Я помню фантастические рассказы про телевидение. В одном из таких рассказов человек заметил, что за ним следят с помощью телевидения, и разбил подглядывающий объектив. Представление об этом объективе (или экране) было неожиданным, мне казалось, что телевидение – это способность видеть на расстоянии как-то просто так... не знаю. О приборах я не думал.

(Дивный сон о книге с движущимися картинками – он обернулся нынешним ящиком.)

Как будут вспоминать мои дети свой нынешний дом – с телевизором, но без закутков, чердаков, чуланов, крылечек? Квартиру без печки, окна без морозных узоров на стеклах, без ваты и обломков елочных шаров между рамами? Воздушные шары, уже не способные взлетать, – когда-то предмет восторгов и переживаний, тема фольклора и поэзии. «Девочка плачет: шарик улетел». Теперь это из кино – почему-то нынешние шары у нас не летают.

Может быть, какое-то следующее поколение, поколение бескнижной, электронно-компьютерной цивилизации уже вообще не сможет нас понять. Да мы будем ему и не очень интересны.

Возможно, наше поколение останется последним, которое пережило войну и застало конечную фазу кровавой диктатуры.

Помните, сверстники, как прятались в бомбоубежище, как по военным московским улицам женщины вели огромные колбасы-баллоны с газом для аэростатов воздушного заграждения? Этих аэростатов было много в вечернем небе над химзаводом имени Карпова. Помните газеты, которыми были оклеены стены? Те, что над кроватью, читаны-перечитаны, прямо и вверх ногами: поздравления товарищу Сталину с 70-летием, речь товарища Вышинского на Генеральной Ассамблее ООН, военные действия в Корее, футбольный матч «Динамо» – ЦДКА – здесь нижний край был оборван, открывалась грязно-желтая, в клопиних точках, фанера... с каким же счетом закончился матч?..

Помните хлебные карточки, очереди, хлеб с довесками? Как-то Марик Веберов, придя ко мне, упал в обморок – от голода. Мы-то сами не голодали.

Я помню, как к нашему дому приходили нищие – не те нищие, которых встретишь теперь в электричке, пухлые от запоя инвалиды, а настоящие, они благодарили за горбушку хлеба; я видел, как они потом перебирали, вынув из мешка, черствые, заплесневелые сухари. Это была настоящая нужда, настоящий голод. Иногда находилось для них и что-нибудь из вещей. Остаток рубахи, тряпицу, годную к употреблению, – все брали с благодарностью. Слава Богу, теперь не подбираются ради куска.

В Добруше был лагерь для военнопленных немцев, их водили на работы. Они раскрасили фабричную Доску почета под мрамор – не отличишь от настоящего, и, как рассказывали, умели делать замечательные кольца из тубиков для зубной пасты. Я иногда смотрел, как они под охраной играли в футбол на фабричном стадионе. Это была потеха: стукнет по мячу – и сам падает. От слабости, как я понял потом. Однажды я столкнулся с ними по пути из магазина, где только что выстоял с карточками долгую очередь за хлебом. Группу вела низкорослая женщина с винтовкой, пленные шли нестройной толпой, и такой у них был жалкий вид, что помню свою презрительную мальчишескую мысль: «Вояки! А весь мир покорить хотели!». Один, поравнявшись со мной, жалобно попросил: «Брот, брот! Хлеба!». И я ему кинул маленький довесочек.

Я-то под немцами не жил, враги были для меня абстракцией, и ненависть к ним была отвлеченной.

А несколько лет спустя на станции Лосиноостровская, куда мы к тому времени переселились, я видел других заключенных: на путях остановился состав с зарешеченными товарными вагонами. Из-за решеток смотрели лица, и я смотрел на них с любопытством. Преступники. Уголовники. Представление о иных заключенных тех лет в моем сознании отсутствовало начисто – родители сумели отгородить меня от этого знания. Сейчас даже удивительно, как это удалось – им, школе, обществу.

Наша ностальгия по детству отравлена нечистой совестью. Когда мои сверстники, а тем более люди постарше перебирают сладостные московские впечатления о первом послевоенном мороженом или о «микояновских» творожках в лубяных коробках, пионерские восторги и мечты о полюсе – трудно теперь отвлечься от мысли, что в то же время, в те же дни, часы и ночи почти по соседству люди страдали и умирали от пыток, истощения, голода, издевательств.

Я помню, как с удовольствием принял известие об аресте врачей. «Берия взялся за дело», – сказал я, мальчик, читавший газеты и знавший, что Берия только что объединил под своей властью МГБ и МВД. Я не понял тревоги мамы – она только покачала головой и проговорила: «Что теперь будет?».

Мне было пятнадцать с небольшим, и я мог бы сказать с полным правом, что ничего не знал, ничего не понимал. Даже в семьях, где были арестованные, ухитрились держать детей в неведении. В каком же смысле можно говорить сейчас о своей вине, об ответственности поколения за происшедшее при нас?

Ссылка на неведение в таком возрасте вряд ли может все объяснить. Чтобы настолько ничего не замечать и ни о чем не задумываться, нужны были какие-то личные качества: несмелость ума, податливость совести, бессердечность, жестокость, трусость; тут уж не отвертеться. Разве не бессердечным (по меньшей мере) было мое удовлетворение арестом врачей?

И постыдной незнания – что при виде арестантов не шевельнулось у меня ни жалости, ни сочувствия; любопытство, с каким я на них смотрел, было холодным, отчасти брезгливым; было жестокое чувство справедливости происходящего и своего превосходства: я-то был не преступник.

Не говорю о старших своих современниках, которым стоило бы глубже копнуть подоплеку своей бесспорно имевшей место искренности и убежденной веры. Не говорю о варианте откровенной подлости, лживости, трусости, шкурничества. Но с какого-то возраста и наше детское алиби перестает срабатывать.

Однажды ночью в нервном отделении Морозовской больницы, где я лежал с туберкулезным менингитом, поднялся необычный переполох, от которого я проснулся. Мимо наших стеклянных боксов проносили новенького мальчика. Его сопровождала мать, молодая яркая дама, и отец, особенно мне запомнившийся: очень маленький, в мундире серо-стального или мышинового цвета, с безжизненно-серым, каким-то ночным при свете включившихся ламп, ничего не выражающим и в то же время пугающим лицом. Такое лицо я видел единственный раз, но потом не раз представлял его, когда слышал о лицах ночных людей из МГБ. Он был оттуда. Мальчика срочно привезли с подозрением на серозный менингит. Диагноз не подтвердился, на другое утро его от нас перевели. Все очень хвалили спокойствие и достоинство, с каким держалась наш дежурный врач Вера Васильевна.

Это был 1949 год. Я написал в больничную стенгазету стихи к 70-летию Сталина: «Спасибо Вам, товарищ Сталин, за то, что каждый день и час всегда Вы думаете и всегда заботитесь о нас».

В соседнем боксе лежала тринадцатилетняя девочка, больная хореей. Во время припадков она раздевалась догола – я смотрел на нее через стеклянную перегородку, на ее начавшую развиваться грудь, новое непонятное любопытство томило меня...

Но тут уже другая тема.



# МОЙ ВЕК

## 1

Вопрос знаменитой анкеты Марселя Пруста: «Где бы вы хотели жить?» может иметь не только пространственное, но и временное измерение. «В каком времени вы бы хотели жить?» – спросил меня однажды полувсерьез-полушутя знакомый, профессор К.

Вопрос имеет смысл. Булгаков, должно быть, не случайно увидел своего Мастера в обители покоя с моцартовской косичкой: XVIII век, золотая пора Просвещения – пристрастие к этому времени что-то говорит и о самом писателе.

Я тогда работал над повестью об Иване Грозном, только что перевел книгу С. Цвейга об Эразме Роттердамском, написал статью об «Уленшпигеле» Ш. де Костера. Эта эпоха – до середины XVI века, еще на вершине Возрождения, но уже в начале Реформации и религиозных войн – связывалась для меня помимо прочего с творчеством любимых художников, Брейгеля, Кранаха, Гольбейна, Босха – и казалась порой какого-то необычайного, драматичного духовного напряжения. Я уже готов был сказать, как она мне близка (особенно, может быть, именно где-то там, в прирейнских краях) – но осекся.

Боже, хотел бы я в самом деле, реально там жить? Не говорю о жестокости, войнах, инквизиции, пытках – нет, но о цивилизации, о быте, о гигиенических представлениях... Наверно, стоит так поставить вопрос хотя бы для того, чтобы убедиться: человек XX века реально не смог бы и не захотел жить ни в каком другом.

## 2

Чудовищный, потрясающий век! Когда сейчас, под занавес, пробуешь окинуть его взглядом, дух захватывает, сколько он вместил разнообразия, величия, событий, насильственных смертей, изобретений, катастроф, идей. Эти сто лет по густоте и масштабу событий сравнимы с тысячелетиями; быстрота и интенсивность перемен нарастали в геометрической прогрессии. Перебирать нет смысла, каждый мысленно может попытаться сделать это сам – и задохнется от восхищения и ужаса, ощутив, что не в силах вместить всей полноты происшедшего с человечеством. Даже технических перемен не перечислишь: автомобиль, электричество, авиация, радио и телевидение, компьютеры... А ведь одновременно еще живут в джунглях племена чуть ли не из каменного века. Я сам еще застал избы, топившиеся по-черному, как столетия назад, и те же лапти, что носили наши пращурь.

На исходе минувшего века невозможно оказалось предсказать пути человечества: наивные попытки тогдашних прогнозов заставляют нас, как взрослых, покачивать головами. Осторожно, ни за что не ручаясь, заглядываем мы за новый предел. Какие возможности, какие надежды, какие угрозы! И насколько все еще более непредсказуемо!

## 3

Да разве не ошеломили нас события хотя бы самых последних лет? Объединение Германии, распад Советского Союза и Югославии, предощущение новых сдвигов. Нам кажется это каким-то небывалым потрясением, катаклизмом. Но стоит оглянуться...

Европа Цезарей! С тех пор, как в Бонапарта  
Гусиное перо направил Меттерних –  
Впервые за сто лет и на глазах моих  
Меняется твоя таинственная карта.

Мандельштам писал это под впечатлением начала Первой мировой войны. Впереди был распад Австро-Венгрии и Османской империи, возникновение новых независимых стран; еще дальше – распад Британской и прочих колониальных империй; новый вид приобретала карта Африки и Азии.

Я предложил бы кинематографистам идею: перемены европейской политической карты за два тысячелетия, мультипликационное ускоренное превращение разноцветных пятен, переливчатые изменения конфигурации: образование княжеств и государств, слияния, раздробления, завоевания, расширения, распад. Бурление пенистого узора между морскими камнями.

Можно ли понять законы и смысл этого движения? Оно совершается не впервые и, надо думать, не в последний раз. В наших ли силах предотвратить его или направить?

Полезно взглянуть на историю именно в таком, тысячелетнем масштабе, напомнить себе, что государства так же не вечны, как люди. Изнутри истории это видится иначе – потому что проживаем мы лишь свою короткую, единственную жизнь. Вот в чем проблема.

#### 4

Как просто было в заводи «застойных» времен, когда мы действительно чувствовали себя вне истории, когда ничто не двигалось, не менялось, стояло колом – как просто было философствовать о причинах и природе минувших событий, об истоках революций, об ошибках правителей, о слепоте современников! Как очевидно было нам все, во что они тыкались, точно слепые щенки!

С таким чувством смотришь фильм о временах надвигающейся и даже уже совершающейся катастрофы. А они там, внутри, будто не сознают, что их корабль вот-вот потонет, они занимаются житейскими пустяками, говорят о пустяках, переживают из-за пустяков. Мы-то об этом уже знаем, нам дал понять режиссер.

Или читаешь вот это, из «Доктора Живаго»: «Нависало неотвратимое... Крутом обманывались, разглагольствовали. Но доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла укрыться ее приговоренность... Он понимал, что он пигмей перед чудовищной машиной будущего»...

Быть может, никогда эти страницы не читались, как сейчас. Но ведь и Пастернак реконструировал свои предреволюционные ощущения время спустя, уже зная последующий ход событий и поневоле внося задним числом поправку.

А сейчас вот нас самих сорвало – и несет, кружит. Знать бы, куда вынесет. Если обернется все хорошо – каким поучительным, будоражащим переживанием покажутся нынешние тяготы! Как бы не так! Мы не успеваем осмыслить происходящего, нам не дано заглянуть в завтрашний день. Да если бы даже что-то поняли – история не в нашей власти, она творится столкновением многих сил, как водоворот создается столкновением течений. И так же, как те, на экране или в книге, мы судачим о ценах и о политиках, мы волнуемся в очередях, что-то выгадываем, чиним, латаем, приспособливаем для жизни – мы живем.

## РЕВОЛЮЦИЯ И ТАНАТОС

Случайно встреченная цитата из Е. Замятина вдруг собрала вокруг себя и связала мысли разных лет:

«Да ведь это почти счастье! – пишет Е. Замятин своей будущей жене в 1906 году о своем недавнем революционном подъеме. – Когда что-то подхватывает, как волна, мчит куда-то и нет уже своей воли – как хорошо! Вы не знаете этого чувства? Вы никогда не купались в прибое?»

Как же! Случалось. Хорошо помню, как однажды огромная, внезапная волна захлестнула меня, перевернула, увлекла вглубь; я только подумал: как бы не стукнуло головой о камень – а потом почувствовал, что меня выносит на поверхность.

Но главное, я еще долго томился по испытанному ощущению, по этому растянутому мигу, когда меня влекла и переворачивала нежная, мощная, страшная сила, я чувствовал вкус воды, которой все же хлебнул, и пенные пузырьки на коже. Что-то затягивающее было в этом миге, который мог неизвестно чем обернуться, хотелось повторить его.

Позднее я подумал: не была ли эта тяга тем влечением к гибели, о котором говорил А. Блок: «Я всегда был последователен в основном... Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви... я последователен в своей любви к гибели». Эти слова из письма А. Белому 22 октября 1910 года заслуживают доверия, их можно подтвердить множеством других. «Но радостен мой век, в уничтожение влюбленный» – и т.п., вплоть до самых поздних:

Страшно, сладко, неизбежно, надо  
Мне – бросаться в многопенный вал...

Почти те же слова. Это об отношении к революционной стихии из знаменитого послания З. Гиппиус. Вслушаемся – слова-то какие:

Страшно, сладко, неизбежно, надо...

В этом контексте его знаменитый призыв «Слушайте музыку революции» не звучит ли как: «Слушайте музыку собственной гибели и не противьтесь неизбежному»?

Ядом напоенного кинжала  
Лезвие целую, глядя вдаль.  
*Из того же стихотворения*

Надо представить себе реально эту позу: целует лезвие кинжала, глядя вдаль, – чтобы почувствовать ее невыносимую, оперную фальшь. Отважимся ли мы сказать, что это не просто плохие стихи?..

В интеллигентском хоре, накликивавшем революцию, был и декадентский обертон: речь шла не только о социальных проблемах. Свою гибель «трагический тенор эпохи» накликал довольно скоро. Это по-своему величественная, многосложная, заслуживающая уважения драма. Но если б речь шла только о собственной гибели!

1988

## ЛИЦА

Я проводил Г.Г. на свидание к Лефортовской тюрьме КГБ и сел ожидать на скамейке у входа. Должен был подойти еще П.Я. и какой-то незнакомый мне Юлий Матвеевич. Летал тополиный пух, из открытых окон музыкальной школы по соседству неслись фортепьянные гаммы и пассажи. Мимо проходили люди – в служебный вход, к ведомственным домам напротив (я знал, что там живут служители того же учреждения) и просто так, по улице.

В ожидании – как всегда возле этого учреждения, немного тревожном – я стал вглядываться в лица проходящих, пытаюсь угадать, куда пойдет тот или иной человек: в следственный корпус тюрьмы, в ведомственный дом или окажется человеком посторонним, другой среды?

Иногда мне казалось, что я начинаю угадывать; промагнувшись, я вносил поправку. Женщины, например, – я вначале не направлял их в тюремное здание: что им там делать? Но они шли туда, и обильно: секретарши, буфетчицы, да, может, и надзирательницы – мало ли кто? А иные лица, так подходившие охранникам-вертухаям, оказывались не при чем...

Как-то я смотрел по телевизору юбилейное заседание Академии наук. В президиуме сидели ученые и начальники. Их было нетрудно различить: в одних лицах чувствовался интеллект, какая-то мягкость, других отличали грубые волевые черты.

В каких распределителях выдают по талонам эти стандартные лица?

Впрочем, со временем оба типа стали подравниваться.

Тип лиц меняется исторически; это особенно хорошо знают кинематографисты. Смотришь кадры военной кинохроники вперемежку с кадрами позднейших фильмов о войне: при самом современном антураже – иногда прямо под кинохронику – безошибочно угадываешь подделку: по типу лиц. Как будто другой народ: не такой сытый, попроще, посерей – запыленный, исхудалый, понурый, а главное, с печатью трагической, обреченной серьезности в глазах, на ввалившихся щеках, небритых скулах. Этого не воспроизведешь никаким гримом. И подделка мешает, как фальшь: лучше бы не претендовать на полный (как в кино) реализм.

Породистые лица интеллигентов начала века отмечены какой-то общностью – печатью утонченности, близкой к вырождению. Многие из них обобщены для меня в лице Блока: вытянутом, крупном, усталом, петербургском. После революции эти лица почти исчезли. К 30-м годам развернулся другой тип: порода крупных здоровяков, бритоголовых комбригов, конкистадоров нового мира. Их вырубали в годы чисток и в войну. В 40–50-е годы на поверхность всплыла порода помельче, похамоватее: деревенские нувориши с пятернями вместо пальцев, с массовыми именами, спешившие после голода откормиться до мордастости. Эта грубокожая, коренастая, жизнестойкая порода и сейчас задает тон во всяческом руководстве, в том числе культурно-литературном. Но уже и из их числа начинает вырабатываться новый тип лиц, подравниваясь под возрождающуюся интеллигенцию. Я люблю нынешними умными лицами.

...К моей скамейке приблизился пожилой человек с палочкой. Лысоватый, болезненный, чуть одутловатый. Посмотрел на меня, как бы удостовераясь: тот ли я человек, кивнул. Я кивнул в ответ. Очевидно, это был тот самый Юлий Матвеевич.



- Посижу немного здесь, – сказал он.
- Конечно, посидите, – сказал я приветливо.
- Устал. Он ведь сюда должен прийти.
- Петр? Да, я его тоже жду.
- Загонял совсем, черт старый, – пожаловался пожилой. – Туда, сюда, за ним не угонишься. Подожду здесь.
- Конечно, подождите, – сказал я...

Это был филер, сопровождавший по городу П.Я. и утерявший его где-то на улице. Он тоже принял меня за своего. После одной-двух фраз недоразумение стало ясно нам обоим, он окликнул какого-то пенсионера-ровесника, вышедшего из ведомственного дома, и отошел поговорить с ним, время от времени оглядываясь на меня.

1977, 1981

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДЫ

– Зачем мы так вслушиваемся в голоса западных радиостанций, сквозь унижительное глушение, портя слух? – спросил я как-то приятеля в начале 70-х годов. – Зачем ищем что-то между строк в пустых газетах – как будто давно уже не решили для себя, что существенное в нашей жизни от этого не должно зависеть?

– Информация дает свободу, – ответил приятель.

И я подумал: в самом деле, жить в потемках, ориентироваться на ощупь или вовсе боясь шевельнуться, – значит жить в несвободе и страхе. Отсюда стремление подменить действительность, неадекватные реакции.

«Мы живем, под собою не чуя страны» – формула этой несвободы.

– То, что я пишу, – далеко от злободневной политики. Ничего как будто опасного. И не такое печатают. А это почему-то нет, хоть и называют талантливым. В чем принцип отбора? – спросил я в начале 80-х другого товарища, писателя Е.П.

– Очень просто, – объяснил он не задумываясь, – цензоры и редакторы чувствуют свободу – это для них главная опасность.

Свобода духа – свобода дыхания.

Мне вспоминается разговор на пристани в Белозерске с пьяненьким мужичком. Он только что освободился из лагеря в Шексне, разминулся с женой и ждал ее с теплоходом.

Дело было в августе 1968 года, числа пятнадцатого, и этот недавний зэк, начитавшийся газет или наслушавшийся в лагере политинформаций, объяснял мне, почему в Чехословакию надо ввести войска. «Я хочу, чтобы моя дочка могла свободно ездить туда по путевке». Поразительный довод! (Дочка однажды там уже побывала, он этим гордился и хотел гордиться впредь.) Ему, в рабстве воспитанному, в голову не приходила возможность ездить действительно свободно, без всяких путевок и виз, в свободную, не подневольную страну.

А летом 1974 года В. Дремлюга, только что отбывший срок за демонстрацию 1968 года на Красной площади и удрученный надзором (гэбэшники однажды увели его прямо с пляжа, где мы загорали, явились на эту операцию зачем-то в плавках и даже с лапами в руках – для маскировки), сказал мне: «Такое чувство, что из малой зоны вышел в большую». Это было уже в ту пору едва ли не общее место: несвободен запертый в тесном карцере, несвободен и лагерник в зоне, несвободен лишенный возможности выехать из своей страны. А свободен ли выехавший?

Мы включены во множество структур, навязанных нам насильно или от рождения, но не выбранных нами, мы опутаны множеством отношений и зависимостей, добровольных и недобровольных: мы связаны с другими людьми, с народом и его обычаями, с государством и его законами, мы вынуждены служить в армиях и участвовать в войнах, навязанных нам.

– Свобода – это неучастие в делах мира, – услышал я однажды от философа В. Библера. – Едва я ввязываюсь в эти дела, я теряю свободу.

Свободным от ненависти может быть человек, возвысившийся до любви, а может быть – просто равнодушный, свободный от суеты и страстей, может быть возвысившийся до святости, а может быть – просто вялый душой. Эта грань очень важна.

В годы, когда я на эти темы беседовал и размышлял, многие из нас склонны были гордиться сохраненной или выработанной внутренней, «тайной» свободой. Врать вслух уже все-таки не особенно вынуждали, на людях можно было помалкивать, от пакостей уклоняться; а свободно мы говорили между собой, на прославленных кухнях, свободно мы писали в стол. Это был не худший случай: мы отказывались от карьеры, от процветания, иногда и рисковали, одни больше, другие меньше. Но не стоило бы этим особенно гордиться.

«Внутренняя свобода... – привычное вранье, – прочел я недавно у философа А. Пятигорского. – Так врут холопы, получившие временную поблажку от своих господ». И мне вспомнился афоризм Чаадаева: «Горе народу, если рабство не смогло его унижить, такой народ создан, чтобы быть рабом». Это можно применить и к отдельному человеку. Нам не хотелось признавать себя униженными, изнасилованными – мы тешили себя тем, что свободны внутренне.

Однако А. Пятигорский опровергает «вранье» о внутренней свободе с других, более общих позиций. «Полнота жизни исключает свободу, – продолжает он, – биография уничтожает свободу, всякое следование себе искажает свободу».

Видимо, тут пора договориться о понятиях, отделить хотя бы свободу от своеволия – тогда обретут смысл вопросы: свободен ли следующий своему внутреннему голосу, чувству предопределения, сознанию, что тобой руководит некая высшая сила?

Лучшее определение внутренней свободы я встретил у Н.Я. Мандельштам:

«Внутренняя свобода, о которой часто говорят в применении к поэтам, это не просто свобода воли или свобода выбора, а нечто иное. Парадоксальность внутренней свободы состоит в том, что она зависит от идеи, которой она подчиняется, и от глубины этого подчинения. Я привожу слова Мандельштама о том же Чаадаеве: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру,

подчинила ее себе всю без остатка, и в награду за абсолютное подчинение подарила ей абсолютную свободу”. Пророк, которому сказано: “Исполнишь волею моею”, – носитель этой абсолютной внутренней свободы. Точно так Франк говорит, что только служа Богу и подчиняясь ему, человек находит сам себя и осуществляет свою свободу: “Сохранит душу только тот, кто ее потерял”».

Как убого в сравнении с этим знаменитое: «Свобода есть познанная необходимость»! Познанной необходимостью была попытка Мандельштама написать оду Сталину – ради спасения жизни; внутренняя свобода сопротивлялась этой попытке – и обрекла ее на неудачу.

(Впрочем, подумал вдруг я, разве не подчинены были целиком светлой идее иные самоотверженные и безжалостные деятели нашей революции? Очевидно, дело еще в качестве «организуемой идеи». Но сколько крови пролили считавшие себя истинными служителями разных богов!)\*

Подлинно свободными в наших условиях были все-таки не кухонные вольнодумцы, а те, кого внутренний императив подвиг на поступки самоотверженные, порой гибельные, связанные с утратой внешней свободы. И впрямь парадокс: свободным оказывается тот, кто действительно не мог иначе.

Последнее время я с особой заинтересованностью пытался понять, почему О. Мандельштам отказался от возможности эмигрировать еще в самом начале 20-х годов. Ведь он, пишет Надежда Яковлевна, даже начал хлопоты, собрал какие-то бумаги, «но потом раздумал: ведь уйти от своей участи все равно нельзя и не надо даже пытаться».

---

\* «И вдруг устами мысленного оппонента с усмешкой себе возразил: но не так ли могут сказать о себе нынешние исламские фанатики, готовые взорвать себя вместе с десятками неповинных людей ради служения своей идее, своему Аллаху? Это, значит, свобода? Надо еще подумать».

(Из дневниковых записей 04.04.2004.)

Что это значит? Разве не свободны мы в выборе своей участи – по крайней мере таком выборе? В каком смысле можно говорить здесь о выборе и предопределении, о свободе и подчиненности идее? Н.Я. Мандельштам настаивает: «Сила Мандельштама в сознании своей свободы, в том, что он свободно принимает свой жребий и полон благодарности за все дарованное ему».

1990

## МЕЖДУ БЕЗНАДЕЖНОСТЬЮ И НАДЕЖДой

Есть удивительное свойство русской истории, которое я бы назвал ее неизжитостью. Иван Грозный – все еще злободневный персонаж; я ощутил это по напряженному отношению к моему роману о его эпохе. Дореволюционные стихи Саши Черного можно цитировать как загадку: когда это было написано? («Дух свободы... К перестройке вся страна стремится». – 1905 год.) Читая сейчас иные документы ушедших лет, испытываешь странное чувство: как будто оказались смещены во времени хорошо знакомые, сегодняшние слова, мысли, ощущения, как будто исторические коллизии то ли бесконечно повторяются, то ли делятся в каком-то неизменном качестве все с теми же проблемами, с вопросами, открытыми и по сей день.

«Все это непрочно – но мы привыкли теперь к непрочности. Будущее для меня темно – но я думаю, что оно тяжелое: в России подымается тяжелое национальное чувство, озлобленное чувство унижения и гордыни. И это грозит многими бедствиями».

Взглянем на дату. Это пишет 10 марта 1923 года великий ученый и мыслитель Владимир Вернадский. Опубликованные не так давно, эти письма звучат сейчас не просто злободневно – какой-то неожиданный ответ бросают они издали на наши нынешние умонастроения. Скажем, на разговоры об эмиграции. «Если бы я был совсем моложе – я бы эмигрировал, – пишет Вернадский 24 апреля 1924 года. – Во мне чувство общечеловеческое много сильнее национального. Но сейчас это трудно

и невозможно, так как всегда требуется несколько лет, потраченных на приобретение положения. Я не делаю никаких иллюзий – жить в России чрезвычайно трудно, и труд настоящим образом не оплачивается. Может быть, я оттуда скоро уеду».

Переключки находишь едва ли не в каждой строке. Но сейчас они мне показались существенными не просто сами по себе. При всем созвучии умонастроений и оценок временная дистанция позволяет нам кое-что заново в них проверить. Наше будущее, как всегда, для нас темно и неведомо, но будущее Вернадского успело стать для нас прошлым. Вслушаемся еще раз в его размышления и прогнозы.

«Чем больше вдумываюсь в происходящее, тем больше вероятным мне представляется положение в России мрачным. Я учитываю возможность продления кризиса еще 10–15 лет... Не знаю, не развалится ли тогда Россия». «Если продлится такое состояние несколько лет – Россия поколениями не оправится от последствий».

Это писалось в 1923–1924 годах. Не десять и не пятнадцать лет прошло с тех пор, и, быть может, самое удивительное, что те же тревоги и предсказания воспроизводятся сейчас как будто в прежнем виде – не опровергнутые, не отмененные, но словно оттянутые во времени. Вопреки представлениям о пределе возможного трагедия, развал, катастрофа длятся перманентно, как будто не оставляя надежды даже на близкое будущее, но не доходя до последней точки. Каждое новое десятилетие обнаруживает возможность продолжения, откуда-то берутся новые силы, возникают новые люди.

«Научная работа в России не погибла, а, наоборот, развивается, – не без удивления пишет Вернадский.... – Несомненно, этого не должно было бы быть по логике, это иррационально, но это факт (выделено мною. – М.Х.)... В разговорах скажу, как это достигнуто и сколько погибло. Людей погибло» (10.03.1923). «Все же самая главная сила, которая в конце концов переборет все, – это мысль и умственное творчество – науки, философии, религии, искусства. И оно сейчас в России не иссякает» (20.04.1924). «Вообще, логика никогда не может



охватить разнообразия жизни и, вопреки всем нашим расчетам, в жизни совершается многое, что, кажется нам, – при данных условиях – не могло бы в ней совершаться (выделено мною. – М.Х.)... Я мрачно смотрю на ближайшее будущее России – и мне кажутся эти искания и достижения непрочными – но они есть и достигаются огромной волей и самопожертвованием работающих... Может быть, в этом главная возможность возрождения. Я уверен, что все решает человеческая личность, а не коллектив, elite страны, а нее ее демос, и в значительной мере ее возрождение зависит от неизвестных нам законов появления больших личностей... Если действительно на смену идут новые силы – а факты, к моему совершенному удивлению, как будто начинают на это указывать, – возрождение России может совершиться скорее, чем я думаю. Конечно, если тот же процесс будет проявляться в разных областях культуры, а не только в науке... Но я не верю в чудеса и думаю, что все это совершится медленно» (21.08.1924).

С высоты прожитых лет видней, как все обернулось на самом деле. Развитие культурной, духовной жизни, науки, литературы, искусств продолжалось вопреки всем ожиданиям и вероятностям, вопреки той самой логике, которую упоминает В. Вернадский. Земля не оскудевала талантами; удивительно перебирать в уме имена, старые и новые, в разных областях, по десятилетиям: в 20, 30, 40, 50-е – они составят честь любой культуре. Эти перечни в значительной части совпадают со списками расстрелянных, изгнанных, сосланных, ошельмованных – но ведь каждый раз, из десятилетия в десятилетие, находилось же кого преследовать, и каких людей! Если вдуматься, больше всего достойно изумления это – откуда они еще брались, всюду: в музыке, биологии, литературе, физике? Как они могли выжить, сохраниться, зародиться заново в атмосфере, непригодной для нормальной жизни, после всех войн и волн террора, физического и духовного, когда уничтожались учителя, целые школы, направления, области науки и духовной жизни, когда подрубались и выкорчевывались самые корни? Поистине великая страна, великая культура – какой другой хватило бы так надолго?

В. Вернадский в 20-х годах застал лишь начало этого процесса, однако из года в год воспроизводится этот мотив. «Логически я благоприятного выхода не вижу. Но учитываю, что моя логика не может охватить все явления и пропущенные мною члены могут коренным образом изменить выход. Должен сказать, что первое отчаянное впечатление ослабляется – а не увеличивается – с большим присматриванием к жизни. Я боялся больше, чем теперь, биологического вырождения. Раса, кажется, достаточно здорова и очень талантлива. Может быть, выдержит» (14.06.1927).

С особым чувством вчитываешься в эти строки сейчас, когда так обострено ощущение всеобъемлющего кризиса: нет ли в них и для нас обещания? С одной стороны, мы знаем, что худшие опасения В. Вернадского сбылись, и с лихвой: пришлось пережить и террор 30-х, и страшную войну. Но с другой стороны – пережили же! Парадоксальным образом слабая, наперекор логике надежда Вернадского оказалась не совсем безосновательной, она и сейчас не опровергнута до конца. Разве что видоизменяются соображения «за» и «против». С одной стороны, люди культуры теперь, слава богу, не уничтожаются физически, как во времена Вернадского, разве что уезжают. С другой – не повреждена ли все-таки роковым образом какая-то основа, какая-то грибница, на которой только и могут вырастать крупные индивидуальные явления? Они ведь не возникают сами по себе, без среды и почвы, без школы и учителей. Еще куда ни шло человеку моей профессии: есть бумага и карандаш, есть мироздание и жизнь вокруг, есть великие книги и собственная голова на плечах – спрос только с тебя; ссылки на житейские трудности или невозможность напечататься не принимаются – не ты первый. Но танцовщик попросту невозможен без школы, музыканту нужны не только учителя достойного класса, но и приличные инструменты, как экспериментатору и программисту – современные приборы и компьютеры. Может, существует какой-то критический предел, за которым самовоспроизведение культуры, умственного творчества, духовного существования оказывается под угрозой.

Я знаю только, что многое все же зависит от нас. Не нам одним доводилось пережить катастрофу. В автобиографической книге знаменитого физика Вернера Гейзенберга «Часть и целое» есть замечательная глава: «Поведение человека во времена политической катастрофы». Речь о конце 30-х годов. Гейзенберг не строит никаких иллюзий относительно природы нацистского режима, он настолько не сомневается в неизбежности войны (и в ее исходе), что покупает для семьи дом в горной местности, где можно не так опасаться бомбежек. В Америке только что эмигрировавший туда Энрико Ферми убеждает коллегу последовать его примеру: «Чего вы еще ждете от Германии? Предотвратить войну вы не в силах... А здесь вы начали бы новую жизнь». Среди доводов, которые приводит в ответ Гейзенберг, – чувство ответственности перед учениками, которые «после войны... смогли бы содействовать возрождению настоящей науки в Германии». Его поддержал в этом Макс Планк: «Вы сможете попытаться вместе с другими образовать островки устойчивости. Вы сможете собирать вокруг себя молодых людей, показывать им, как делают настоящую науку, и тем самым сохранить в их сознании старые верные масштабы... Подобные группы смогут стать центрами кристаллизации, вокруг которых образуются новые жизненные формы».

Понадобились десятилетия, прежде чем в Германии, когда-то лидировавшей в физике, снова появился нобелевский лауреат.

Наша надежда поддерживалась и поддерживается не в последнюю очередь напряженной, самоотверженной деятельностью таких людей, как Вернадский, который все-таки остался в стране, – людей, сохранявших и возрождавших традиции, создававших школы, воспитывавших учеников. Этих людей не так много и, кажется, их с каждым годом меньше, но им еще дано аккумулировать и поддерживать энергию, необходимую для дальнейшего.

В такие времена, как наши, настроения подавленности и безысходности не только питаются реальностью – они на эту

реальность влияют и потому небезобидны. Тем важней для нас вслушиваться в голоса, подобные голосу В. Вернадского. Оглядываясь, ясней видишь: у нас есть опыт тревог – но есть и опыт надежды, нужной нам, как никогда; о нем стоит напоминать. Может быть, выдержим.

1991

# УРОКИ СЧАСТЬЯ

## Вопрос анкеты

«Ваше представление о счастье? Какое мгновение вашей жизни вы назовете счастливым?»

Пытаюсь в замешательстве вспомнить – перебираю в первом для всех ряду. Мгновения любви?.. Рождение ребенка?.. Творческая удача?.. Общие места. Мгновений – именно мгновений было немало...

Вот почему-то мелькнуло: открылась дверь автобуса, я увидел на освещенной электричеством зимней остановке женщину с тортом в руке, она, согреваясь, пританцовывала и чуть поворачивалась в ритме вальса, прижав круглую коробку к животу, под фонарем светились снежинки. И прежде чем дверь снова захлопнулась, я ощутил...

Или утром – проснулся еще в предрассветных сумерках, за открытым окном щебечут птицы, рядом спит жена, за стеной в разных комнатах сопят, досматривая сны, мои дети, посвистывает носом собака...

Я чувствую, что искать надо здесь, среди прозрений самой обычной жизни.

Поразительней всего это сделал в любимом мною стихотворении Пастернак. Там человека привезли в больницу, видимо, с инфарктом, и он, приготовившись умирать, глядит на освещенную закатом стену:

О Господи, как совершенны  
Дела твои, – думал больной.

Поразительно это тем более, что, по рассказам переживших инфаркт, это состояние бывает связано с чувством тоски и страха, чувством физиологическим, неподвластным контролю воли и разума, возможно, обусловленным выделением каких-то веществ.

Но, видимо, и физиология не так уж независима от нашей духовной сути – я верю герою пастернаковского стихотворения, как верю самому Пастернаку, который описывал то же чувство в письме из больницы: «В промежутках между потерею сознания и приступами рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!.. Господи, – шептал я, – благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими... И я ликовал и плакал от счастья».

Чтение Пастернака дарит уроками счастья. Это чувство открывается по ту сторону любых страданий и горестей способным и достойным его ощутить.

А в чем достоинство? В способности прежде всего. Это свойство внутреннее, сродни религиозному мироощущению – оно может быть как будто вовсе не связано с обстоятельствами внешней жизни.

## Тема и вариации

Райский уголок Форосского парка в Крыму. Это он так называется: Райский уголок. Ароматные тенистые деревья, пруды с золотыми рыбками. Вот, кстати, образчик чистейшего наслаждения: даровая пицца сыплется с неба и лишь изредка, не всерьез, имитируется борьба за существование – когда девочка бросает с мостков в воду хлебные крошки. Эскимос

или бедуин из пустыни принял бы слово о рае без иронической оговорки. Не хватает разве что гурий – но их тоже нетрудно найти.

Отчего же нам даже здесь не дается сполна чувство блаженства? Со стороны, где-нибудь в кино, мы оценили бы – мы позавидовали бы сами себе. А тут... ну ходим по райскому саду, ну дышим благоуханием, ну кормим золотых рыбок – а счастья все-таки нет. Нет спокойной неги, нет полноты длительного восторга. В таких садах томились шахские наложницы и дочери и все рвались куда-то. И отовсюду рвутся.

Попробуй объясни жизнерадостному обрубку на инвалидной тележке, который подкатывает к пивной, скрежеща подшипниками, – попробуй объясни ему, почему кончает с собой блестящая кинозвезда, имеющая, казалось бы, все: здоровое тело, жизненные блага, деньги, успех, любовников, золотой унитаз в стокомнатном дворце. Трудно понять, что на любых ступеньках житейской лестницы возможна та же тоска, что способность к счастью зависит от чего-то другого.

Сиживали и мы в роскошных ресторанах для иностранцев, с видом на Кремлевские башни, и на столах имелась икорка обеих цветов, и коньячок «Наполеон», и музыканты играли что-то сладкое, обволакивающее, и красавицы были доступны. И на солнечных пляжах мы леживали, на фоне желтого песка и синей воды, объяснявших цветовые пристрастия сюрреалистов (четкий морской воздух, ртутные тени, волосяные контуры)... Но как же все-таки насчет счастья?.. Что же это в самом деле такое, господа?

Один мой герой написал целый трактат, объясняя, что яблочко, надкушенное прародителями нашими в раю, заразило их оскоминой скуки. Она, скука, и заставляла их бежать от блаженства – неизвестно к чему, главное – от чего; а этого именно и добивался Творец: ему нужно было, чтобы кто-то поддерживал движение, энергию замышленного им...

... Да, про границу забыл, жаль. И за границей бывали, и там сживали, и там видывали. Ну да что уж теперь. Экклезиаст все уже и так сказал: суета сует. И там суета. И там бросаются с мостов, глотают пачками прекрасное снотворное, которого у нас днем с огнем не достать. Хотя колбасы там полно, и джинсы дешевле наших.

Что ж, будем считать, что способность к счастью в самом деле больше определяется внутренними человеческими свойствами, нежели внешним совпадением. Конечно, совпадение желательно; неблагоприятные условия любого могут перемолоть, они не дают осуществиться способностям... да что говорить. Но есть люди, предрасположенные к счастью по самому своему устройству. «Счастливым по природе при всяческой погоде», – как сказал о себе поэт. Таких счастливых лучше искать среди художников, среди музыкантов-исполнителей. Имеющему дело со словом, с человеческими глубинами это дается трудней...

Вот, впрочем, опять же счастливейшая кинозвезда жалуется в интервью, что лишена счастья материнства. Допустим, она не так уж переживает; это она отчасти для нас жалуется, – чтобы мы не завидовали, чтобы оценили свое богатство. И она права. Сколько знаменитых творцов искренне рады бы перевоплотиться в пресловутую семипудовую купчиху. И правильно.

Потому что купчиха счастливей. Потому что счастливей всех какой-нибудь южный спекулянт фруктами, никогда не заботившийся ни о каких высоких материях, о свободе там или об истине, но способный просто наслаждаться жратвой, выпивкой, бабой, обилием денег. И не нам опровергать его.

Возможно, одна из самых благих задач литературы – напоминать и объяснять человеку, что у других не лучше. У всех так, и вам даже спокойнее.



Лучше всего сейчас вам, вот именно вам, если у вас не болят зубы, если вы не беретесь себя ни с кем сравнивать, никому завидовать. Вкусней всех вин холодная вода из ручья, когда очень хочется пить. Или рюмка водки с черным хлебушком да с луковкой в компании желанных друзей (особенно когда придешь с мороза). Кто испытывал, согласится. Ах, если бы только это было возможно не на краткий миг, а постоянно!..

(Как бывает состояние беспричинной, патологической хандры, меланхолии, депрессии, объясняемое скорей клиническим дисбалансом химических веществ в организме или магнитными бурями в космосе, так накатывает порой беспричинное и тоже, наверно, клиническое чувство счастья.)

Высшие мгновения жизни бывают невыносимы, их проще вспоминать, чем переживать. Возможна ли постоянная молния, непрерывная просветленность?

## Счастье и полнота

Можно ли считать способность к счастью, жизни безмятежной, в согласии с собой и миром – нормой, как норма, например, здоровье по сравнению с болезнью? Ведь и здоровье, телесное или душевное, в жизни реальной – скорей исключение; здесь все полно неустройства; жаждущие любви мужчины и женщины бродят по непересекающимся тропкам, не умея найти друг друга, а если находят – глядишь, и это обернется потом похмельным раскаянием. И куда деваться в конце концов от смерти, предваряемой страданием? А великое искусство, великая духовная жизнь, дарящие нас самыми глубокими переживаниями – возможны ли они без знания трагического?

На свете счастья нет, а есть покой и воля.

Покой – суррогат счастья, воля – отнюдь не свобода (в конечном счете мучительная), а скорей освобождение от необходимости выбирать, решать, бороться: тот же покой.

Да, пожалуй, надо бы здесь сперва определить понятия. Ведь и Пастернак оговаривается: «Счастья без подвига нет». Упомянутому моему герою, понявшему, как мудро природа или Господь позаботились о совершенствовании рода людского, устроив так, что человеку мешает быть счастливым скука благополучного однообразия, пришло однажды в голову и другое: наверно, правильно обеспечить счастье непритязательному большинству, которое его жаждет и к нему склонно. Но принадлежность высшего дара – внутреннее беспокойство и устремленность; они не дают счастья, хотя нужны для общего родового существования. Может быть, гениальная глубина дается как компенсация за обделенность природным счастьем. И наоборот, простодушная удовлетворенность компенсирует отсутствие этого дара. Правда, соответствие дается не всегда, тогда возникают честолюбивые недоумки, несчастные графоманы или же ленивые, не проявившие себя таланты.

«Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?» – спросил однажды жену О. Мандельштам. И она задумалась: «Кто знает, что такое счастье? Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье».

Одно дело – не знать о предвечном трагизме бытия или, зная, уклоняться от соприкосновения с ним (как уклоняешься от визита к больным и несчастным знакомым, предпочитая знать лишь со здоровыми и благополучными), другое – пробиться к постижению счастья через трагическое знание. И когда нам внятней голос вечности: в миг осуществления, взлета, долгожданного события, любовного соединения? Или потом, когда мы обнаруживаем, что жизнь продолжает идти своим чередом и от твоего короткого торжества в ней едва ли что изменилось? Закончен труд, отгремели аплодисменты, иссякло желание, прошел твой день – пройдет и твоя жизнь. Мертва и бескрайня пустыня Вселенной, и все, что ты мог сделать, – это добавить частичку своей жизни, духовной энергии для поддержания ее общего тепла.

## Право на счастье

Томас Манн с удовольствием приводил один эпизод из биографии Гете:

«Гете вспоминает об английском экономисте и утилитаристе Бентэме и находит, что “быть в его возрасте столь радикальным – просто верх безумия”. Ему отвечают: “Если бы ваше превосходительство родились в Англии, вы вряд ли избежали бы радикализма и роли борца со злоупотреблениями”. А Гете на это с мефистофельской миной: “За кого вы меня принимаете? Я стал бы выискивать злоупотребления? Я, который в Англии жил бы за счет этих злоупотреблений? Родись я в Англии, я был бы богатым герцогом, или, скорее, епископом с годовым доходом в тридцать тысяч фунтов стерлингов”. Прекрасно. Но если бы ему достался не главный выигрыш, если бы он вытащил пустой номер? Ведь пустых номеров бесконечно много! А Гете на это: “Дорогой мой, не всякий создан для большого удела. Неужели вы думаете, что я совершил бы такую глупость и взял пустой билет?”

Разумеется, это шутка. Но только ли шутка? Не звучит ли в ней глубокая метафизическая уверенность, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не мог бы родиться непривилегированным, и в то же время не содержится ли в этой уверенности нечто вроде сознания свободы воли, хотя и свободы, стоящей за пределами личности? Право, не плохо! Родиться голодающим революционером, сентиментальным идеалистом – вот что он называет “глупостью”... Раз существуют прирожденные заслуги, значит, существует и прирожденная вина, и если глупо родиться на свет божий жалкой посредственностью, бедняком или больным, то следовательно, такой преступник подлежит наказанию, – если не в эмпирическом, то уж, конечно, в метафизическом смысле... В этом “Что ж, погибайте!” заключена великая бессердечность; если же понятие “предназначение”, с которым перекликается понятие метафизической отверженности, относится к понятиям христианским, то в нем христианство поворачивается к нам своей аристократической стороной...»

И словно в ответ, словно в противовес другую позицию провозглашал, харкая чахоткой, Белинский: «Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен за счет каждого из моих братьев по крови», – то есть счастья всего человечества.

За этим восклицанием (искренность которого вне сомнений) – вся история совестливых поисков и метаний русской литературы и русского общества: за ним чувство интеллигентской вины перед «сеятелем нашим и хранителем», и размышления Достоевского о невозможности, недопустимости Фета во время Лиссабонского землетрясения, и хождение в народ, и стыд за привилегии ценой страданий других, и отказ от имения, и накликивание революции – вплоть до повинной убежденности Блока в справедливости и заслуженности потрясений и кар, обрушившихся на образованные слои, до самоотверженности и жертвенности современного диссидентства.

За этой нечаянной переключкой – два противоположных типа духовной – и, возможно, природной – организации людей, два принципа самоощущения в мире и обществе; отсюда же и разный подход к задачам искусства.

Для писателя тут проблема, которой вполне могут не знать представители других профессий, ученые, например, или музыканты, или живописцы. Писатель – по самой природе словесного своего творчества – имеет дело со всей противоречивой сложностью человеческой жизни, в том числе общественной; ему приходится быть голосом, а то и совестью других. Уклониться от этой функции не так просто. Тут почва для драмы, заслуживающей внимания.

Куда, в самом деле, деваться человеку, сделавшему своей профессией осмысление жизни, от фундаментального, неустранимого ее трагизма, от сознания несовершенства сущего и неизбежности смерти? От догадки, что борьба с жизненной несправедливостью, возможно, так же вечна и безысходна, как борьба с глупостью и природным неравенством?

Именно развитая, а тем более выдающаяся личность по определению оказывается обречена противостоять преобладающему потоку. Степень этой несовместимости с окружением

может быть самой природой обострена до болезненной крайности – вспомним хоть Кафку. Такую судьбу не выбирают – как не выбирают родителей или свое тело. Господь создал этот инструмент, чтобы мы заглянули через него в бездны того мира, который теперь зовется его именем, – мира Кафки.

Все так – и все оказывается не так, едва мы взглянемся в возможность другого существования.

### **«Выразить счастье существования»**

«Почему ты считаешь, что должна быть счастливой?» Пастернаку этот вопрос Мандельштама показался бы странным. Человек предназначен для счастья («как птица для полета», – тут же приплетается сомнительный афоризм), – потому что само существование – счастье. Об этом – вся поэзия Пастернака и вся его проза.

Призвание искусства, по его убеждению, – «выразить счастье существования». «Относил ли он это только к своей поэзии?» – спросил я однажды у Вяч. Вс. Иванова. «Как ни странно, нет», – отвечал он и подтвердил свои слова воспоминаниями о некоторых разговорах с поэтом, цитатами из писем, не знаю, напечатанных ли; я могу сейчас воспроизвести по памяти лишь общий их смысл. Пастернак, по словам Иванова, считал, что вообще сущность поэзии – в разговоре о счастье; что «мировая скорбь» у Лермонтова (которому посвящена «Сестра моя жизнь») – нечто наносное; он признавался, что долго не мог (или не хотел) писать ни о чем страшном: например, о голоде, о ленинградской блокаде, об ужасах войны и т.п. Сравнить снежинки с крестами Варфоломеевской ночи, говорил он, можно лишь в относительно благополучные времена, когда реальной Варфоломеевской ночи нет. Блок мог писать об Апокалипсисе, пока Апокалипсис не был реальностью. К концу жизни что-то в этой пастернаковской позиции, видимо, изменилось...

Этот разговор привел мне на память одно размышление К. Ясперса. Он видел ограниченность Гете в его безоговороч-

ном приятии мира, в стремлении как угодно сохранить равновесие с самим собой. «Нам ведомы ситуации, в которых у нас уже не было желания читать Гете, в которых мы обращались к Шекспиру, к Библии, к Эсхилу, если вообще еще были в состоянии читать... Существуют границы человека, о которых Гете знает, но перед которыми отступает... Было бы неверно сказать, что Гете не чувствовал трагического. Напротив. Но он ощущал опасность гибели, когда решался слишком близко подойти к этой границе. Он знает о пропасти, но сам не хочет крушения, хочет жизнеосуществления, хочет космоса».

Проблема станет, пожалуй, нагляднее и доступнее, если мы чуть приспустимся с олимпийских высот. Назвать ли гетанцем интеллектуала, прожившего двенадцать лет при Гитлере без особого разлада с собой, – не признавая нацизма, не причиняя зла другим, но и не терзаясь мыслями о мучениках лагерей смерти, чувством вины за бессильное молчание, – человека, не отказавшего себе в праве на независимость и уют среди общих бедствий, пусть даже и терпевшего неудобства, вплоть до голода и бомбежек, в одной из которых он мог, наконец, погибнуть?..

Э, что переносить разговор на немецкую почву – разве что для наглядности; это все наша проблематика, знакомая по собственной шкуре, не изжитая до сих пор. Каждый искал решения на свой лад, и вряд ли кому удавалось устроиться удобно, без потерь нравственных либо житейских.

Все, что делает нам честь, не облегчает нашей жизни.

Заметки о Гете, которые я привел несколькими страницами выше, Томас Манн писал в 1922 году, когда надеялся собственную жизнь до старости построить по гетевскому образцу. В дневнике 14 марта 1934 года, вытолкнутый событиями на чужбину, он с гордостью и ностальгией вспоминает слова Готтфрида Бенна: «Знаете ли вы дом Томаса Манна в Мюнхене? В нем, право же, есть что-то гетевское». И добавляет: «То, что я вытолкнут из этого существования, – тяжкий сбой

в моем жизненном стиле и судьбе». И уже на борту трансатлантического парохода, по пути в Америку, узнав подробности Мюнхенского соглашения, «несомненно одной из самых постыдных страниц истории», Томас Манн записывает в дневнике 20 сентября 1938 года: «Отвернуться, отвернуться! Ограничиться областью личного и духовного. Мне нужна душевная ясность и сознание своей привилегированности. Бессильная ненависть не по мне». Годом раньше он употребил то же слово, с нелегким сердцем включаясь в политическую борьбу антифашистской эмиграции: «Человек рождается для свободы и веселья, а не для этого». «Сбоем в жизненном стиле и судьбе» представляется ему сам факт, что он, рожденный и предназначенный для другого, оказался изгнанником, оппозиционером. Но уклониться от вызова судьбы, от этой пусть вынужденной роли он считал уже недостойным.

Не будем, кстати, забывать, что Гете вел речь лишь о привилегированности социальной. Не будем забывать, что собственная жизнь поэта отнюдь не была безоблачной, что он испытал терзания, другим неведомые, был близок к самоубийству. По Ясперсу, ограниченность Гете – оборотная сторона великого его достоинства: глубоко загнав внутрь свой «опыт трагического», он пришел на этой основе к «несравненно широкой человечности понимания», которая способна уравновесить, смягчить напряженно-тревожное и трагически-болезненное состояние душ и умов, характерное для Европы XX века.

Без такой опоры и равновесия нам всем трудно было бы держаться.

Можно проникаться страданиями других, чтобы разделить их и, сочувствуя, уменьшить, взять их часть на себя. Но можно, не уменьшив и не разделив чьего-то несчастья, привнести счастья в общую жизнь.

Я снова думаю о Пастернаке. По воспоминаниям А. Эфрон, он чувствовал себя виноватым потому, что «с ним не слу-

чилось того, что со мной». (Тут он был противоположен тем, кто чувствовал на себе вину за то, что с другими это случилось.) «Его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма; ему, доброму, жилось легче, работалось лучше, спалось крепче... Это он сам знал и сам об этом говорил».

Пусть так. Но какое благо для всех нас, что был человек, умевший в этой жизни помнить и напоминать нам о счастье существования, учивший нас ему, подтверждавший, что поиск смысла, опоры, гармонии, красоты, надежды вопреки всему не так уж наивен и обречен; доказательство тому – само существование этого мира, который на чем-то все-таки держится и не допускает себя до саморазрушения.

1977–1990



# СОН ПРИ СВЕТЕ СОЛНЦА

## Роберт Музиль и Борис Пастернак

Они, скорее всего, не читали друг друга; тем удивительней наблюдать, как оба, каждый своим путем, пробивались, в сущности, к одному и тому же.

«Любовь, дети, прекрасные дни, веселое общество, путешествия и немного искусства – хорошая жизнь ведь так проста», – размышляет Агата в романе Музиля «Человек без свойств». Но она сама «видела в ней обман. Считающаяся полнокровной жизнь на самом деле бессмысленна; в конечном счете, то есть в буквальном смысле в конце ее, перед смертью, ей всегда чего-то недостает. Она... как нагромождение вещей, не приведенное в порядок никакой высшей потребностью: не наполненная при всей своей полноте, противоположная простоте... Она – как куча чужих детей... тебе не удастся найти среди них собственное дитя».

А вот пастернаковский доктор Живаго размышляет о своих друзьях, принадлежащих «к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших композиторов, хорошей, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы».

Я много раз упирался в этот пассаж с каким-то личным чувством. В чем отказывает доктор своим знакомым? Он, воспевавший величие простых житейских ценностей и забот, чувствует здесь какую-то недостаточность, неподлинность –

едва ли не в духе Агаты. Если их мыслители и музыка действительно хороши, при чем тут «бедствие среднего вкуса»? Герой Пастернака не противопоставляет им каких-то лучших мыслителей, лучшей музыки, – он противопоставляет им почему-то себя.

Может быть, он не видел в их вкусах, а главное, в их жизни чего-то личного, своего, творческого – лишь потребление общепринятого? Это тоже как куча чужих детей, среди которых нет собственного.

Вяч. Вс. Иванов как-то процитировал мне слова Пастернака – из письма, кажется, не опубликованного: надо не любить Блока, – таков был их смысл, – «надо быть Блоком».

Над этим стоит подумать.

Речь здесь идет о чувстве, что человеку, по словам Музиля, все время дается «лишь плохонький заменитель чего-то, что он утратил», о стремлении прорваться к какой-то высшей подлинности. «Чувства должны либо служить, либо принадлежать какому-то всеохватывающему, совсем еще не описанному состоянию».

Эту устремленность к «другому состоянию» (как формулирует проблему герой Музиля Ульрих) Пастернак с гениальной емкостью выразил в строках стихов:

Мне хочется, как сон при свете солнца,  
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

«И ничего больше? – восклицает Ульрих всего две страницы спустя после процитированного рассуждения. – Какая бесчеловечность!» Примечательная оговорка. Поиск такой – предельной – подлинности может обернуться невосприимчивостью к повседневной реальности, едва ли не отказом от жизни. «Это значило бы... примерно то же, что молчать, когда тебе нечего сказать; делать только необходимое, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного; а самое важное – оставаться бесчувственным, когда у тебя нет несказанного чувства, что ты распростер руки и поднят волной творчества. Нетрудно заметить, что тем самым прекратилась бы большая

часть нашей психической жизни, но ведь это, может быть, и не такая уж страшная беда», – тут же замечает герой Музиля и его alter ego.

В сфере литературной отталкивание от неподлинного, заемного, банального приводило этого писателя к болезненной невозможности выразить что-то – невыразимое по существу. Чтобы сообщить что-то другому, нужно найти слова, понятные этому другому, общие для многих – значит уже не совсем свои. Искусство обращено к другим и, значит, нуждается в понимании; элемент банального в нем уже поэтому неизбежен: совсем оторваться от него нельзя. «Чистейшая банальность всегда человечнее, чем новое открытие», – с усмешкой признавал Музиль и все же старался от этой банальности уходить. Отсюда постоянная горечь непонятости, отсюда многолетние счеты с великим современником Т. Манном, ухитрившимся сочетать высокий уровень с успехом в широких (профессорских, как сказал бы доктор Живаго) кругах. Не Манна ли имел в виду музильевский герой, когда рассуждал о цене успеха? «Для этой смеси существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата, – она только и придавала гению гениальность, а таланту внушающий надежду вид».

Очень похоже. Похоже, что сам Т. Манн размышлял над этой проблемой, – он ведь читал «Человека без свойств». И не Музиля ли, к тому времени уже покойного, он имел в виду, когда писал в «Докторе Фаустусе»: «Для высокоодаренного художника проблема состоит в том, чтобы вопреки непрестанно прогрессирующей избалованности и нарастающему отвращению удержаться в пределах осуществимого». А композитор Левекюн едва ли не цитирует его: «Пошлость, являющаяся несущей конструкцией, залогом прочности даже гениального произведения, тем, что делает его всеобщим достоянием, то есть явлением культуры». Манновский герой тоже хотел уйти от этой пошлости к чистой гениальности, не считаясь с ценой...

В сущности, и Музиль устремлялся туда же, только без всяких дьявольских штук, не забавая об ответственности,

осмотрительности. Потому и не мог дойти до конца. Он слишком чувствовал, что предельный отказ от всякой неподлинности, условности ведет к хаосу и, возможно, безумию, к финальному взвизгу и воплю левверкюновского роаяля.

Музиль, как и его герой, искал, в сущности, невозможного. Пожалуй, есть некоторая неточность в самом слове о «другом состоянии», в корне этого слова, предполагающего неподвижное, стоячее пребывание. Между тем «другое» – это именно процесс, непрерывный, бесконечный поиск, каким является, по сути, весь роман. Отличие автора от Ульриха, однако, в том, что он все-таки может предъявить этот роман миру в качестве вещественного результата.

Писателю дано выразить невыразимое, не формулируемое прямой мыслью. Свет можно видеть, можно быть источником света, но нельзя изобразить свет. Зато художнику дано нарисовать свечу или человеческое лицо, излучающее свет. В стремлении «как сон при свете солнца припомнить жизнь» Музиль говорит о чем угодно: о женских модах, о математике, о литературе, о военной службе – и одновременно всегда о том же: о «согласованности каждого сиюминутного состояния нашей жизни с каким-то длительным». Свет этого «другого состояния» сквозит во всем, но выражается в образах, подоби-ях, сравнениях.

Вряд ли можно вполне адекватно понять Музиля (как невозможно быть в жизни такими же мудрыми, как его герои. Ведь они гениальней автора. То, что к автору приходило, как озарение, обдумывалось годами, оттачивалось в черновиках, герои произносят экспромтом в попутном разговоре). Понимать Музиля – значит переводить его образы на язык своей души, повторяя – только в обратном направлении – творческий процесс, в ходе которого автор сгущал, сводил воедино многолетние раздумья и смутные ощущения. И если наша мысль не во всем совпадает с авторской – тем лучше: главное, он поощрил нас на собственный поиск. Роман Музиля во многом – текст для медитации, которой мы сейчас, в сущности, занимаемся.

И все-таки – как беспомощно интеллектуальное рассуждение, как много тратится слов, как разветвляется мысль – и не объять необъятного. А всего-то надо было сказать то, что поэт уже сумел выразить в двух строчках:

Мне хочется, как сон при свете солнца,  
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

1987

# ОБ ИСКУССТВЕ КАК СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Так я решил в свое время озаглавить вольные литературные заметки разных лет, объединенные только темой, содержание которой в свою очередь выявляется лишь из совокупности разнородных фрагментов.

Впрочем, возможно, правильнее говорить о способе бытия, то есть существования, облагороженного мыслью, воображением, культурой?

В иных случаях точнее говорить также не об искусстве, а об игре, о культуре, о творчестве (которое может быть и научным, и религиозным, и жизненным).

Но условен, в конце концов, всякий термин, его конкретное содержание раскрывается опять же в контексте.

Многие свои мысли я успел со временем раздать своим героям и теперь позволю себе их заимствовать или, если угодно, вернуть – сохранив художественно-необязательный, подчас двусмысленный способ высказывания, который сродни многозначности.

## Об искусстве как способе существования

«Была такая фантастическая идея: если записать все ощущения и переживания человеческой жизни, все электрические импульсы, которые поступают каждую секунду в течение многих лет от нервных окончаний глаз, ушей, кожи, языка и носа, от внутренних органов, от каждой клеточки нашего тела – так вот, если бы записать все эти без исключения токи, колебания или

что-то там еще на особую пленку, а потом подключить эту пленку к другому человеку или даже просто к воспроизводящему устройству, то этот человек или устройство, не нуждаясь в собственных органах чувств и ни в малейшем движении, не нуждаясь в собственной жизни, переживет в полном объеме чужую жизнь со всеми ее красками, запахами, событиями, чувствами, с любовью и несчастьями; закрытые глаза, соответствующие клеточки живого или электронного мозга будут воспроизводить увиденные кем-то лица, дома и деревья, закрытые уши – слышать слова и музыку, в мозгу будут шевелиться переданные, вживленные пленкой чужие мысли... Так вот, если б чье-то сознание воспроизвело мир образов и чувств, записанных от меня в часы, когда я пишу, – оно пережило бы жизнь яркую, красочную и глубокую, с замиранием сердца и, так сказать, скрежетом зубным, и кто-то подумал бы (если б он сохранил при этом способность оценивать со стороны): да, жил человек...»

Так размышлял герой моих «Записок скучного человека» (1969), предвосхищая мои позднейшие раздумья об искусстве как форме и способе существования.

Речь идет отнюдь не только о творцах; к этой проблематике причастен каждый из нас – ибо кто не склонялся хотя бы над страницами книги?

Красивая девушка в метро устала на тонкие пластинки белого вещества, испещренные черными значками. Она не видит, не слышит ничего вокруг – какие картины и голоса переливаются сейчас с этих листов в ее существо через зрачки глаз, прикрытых длинными ресницами? Ведь это поистине волшебство, это чудо, сравнимое разве что с чудом сновидения.

«Мозг мой – вместилище, где все полно цвета, запахов, звуков, где живут и глубоко чувствуют вживленные в меня существа. Вне моей черепной коробки все несравненно тусклее». («Записки скучного человека»)

Искусство подключает нас к богатству и разнообразию жизни, взаправду для нас закрытым; оно позволяет нам если не испытать, то причаститься к чувствам и впечатлениям,

которые недоступны нам в нашей заурядной обыденности, преобразить скуку – ту скуку, которая заставляет срываться с места, искать приключений, опасных, а то и губительных; оно намекает на способ совместить богатство, полноту и глубину впечатлений, переживаний и мыслей с комфортом и безопасностью – то есть решить проблему экзистенциальную, которая от веку мучает человека.

Многие проблемы человеческого бытия связаны с невозможностью совместить «счастье» и полноту (жизненную, духовную). Чрезмерно долгое состояние покоя, безопасности почему-то оказывается невыносимым для человека и человеческих сообществ; существует не вполне объяснимая потребность в напряжении духовном (даже в ощущениях трагических). Возможно, это связано с инстинктом самосохранения человеческого рода (иногда противоречащим инстинкту индивидуального самосохранения) – подобно загадочным самоубийственным миграциям грызунов, слишком расплодившихся на урожайных хлебах. А может, и с каким-то более фундаментальным сопротивлением энтропии (физической и духовной), которая оборачивается вырождением, утратой жизненной энергии.

И если это так, то, удаляясь от животных первооснов бытия, не развивал ли человек искусство еще и как способ компенсировать некую возрастающую недостаточность, обеспечить себе как можно большую полноту и интенсивность чувств – при минимуме реальных губительных опасностей?

Искусство – концентрат жизни, который добавляется в разжиженную кровь нашего повседневного существования, обеспечивая ее недостающими, насущно необходимыми соками.

В наши дни – с тенденцией к усредненности, безликости, комфорту, скуке – оно позволяет обеспечить некоторую полноту чувств, необходимую для выживания и сохранения человеческого рода – без опасности реальных потрясений.

В этом его величие – но в этом и соблазн, который может делать искусство опасным для самых основ жизни. Потому что жизнь не должна останавливаться, она требует движения,



обновления, подвига, настоящих страстей и настоящих усилий – иначе грозит все та же энтропия, застой, остывание.

Конечно, нынешних форм искусства недостаточно для полной подмены – лишь самые истовые его служители испытали на себе предельное действие этого соблазна. Но не исключено, что цивилизация предпримет еще попытку продвинуться в этом направлении. Соблазн немалый – обеспечить благополучие без потрясений – но при этом без скуки.

Не такова ли модель «прекрасного нового мира» Хаксли – общество людей, способных чувствовать себя счастливыми при любом уровне и качестве жизни? Наукой там найден способ насыщать и убаглотворять человека, поддерживать продолжение его рода вне любовных отношений – главного источника страстей и трагедий; от мыслей же о смерти отвлекаться не так уж трудно. Не случайно в этом мире запрещено искусство, как его понимаем мы. Я не могу найти логического опровержения возможности такой цивилизации...

## Условные игры

– Актер Кин! Вы прекрасно показали мне, как умели любить Ричард III и Генрих IV. А теперь я хотела бы узнать, как умеет любить актер Кин.

– Прошу простить, Ваше величество, не могу. Я импотент.

*Исторический анекдот*

Решив разубедить сумасшедшего, который уверял, будто он стеклянный, его легонько стукнули палкой. «Дзинь», – сказал сумасшедший и умер.

Что может значить для нас крошечный клочок плохой бумаги с тусклым отпечатком? На отпечатке этом нет ни искусного изображения, ни мудрого изречения. Это уникам, редкая почтовая марка, вся ценность ее создана ошибкой гравера –

но за этот клочок бумаги отдадут миллионы, за ним охотятся, из-за него идут на преступления и убийства.

Мы даже не отдаем себе отчет в условности многих ценностей, на которых строится наша обыденная жизнь, в условности игр, из которых она составляется. Слишком всерьез оборачиваются они порой для нас. Да и всегда ли можем мы определить, какие ценности условны, искусственно созданы, а какие «подлинны, «первичны», насущно необходимы?

«Я знаю, что золото, добытое с помощью огня, а не благодаря солнцу – не настоящее» – говорит в знаменитом разговоре с чертом композитор Адриан Леверкюн, герой манновского романа «Доктор Фаустус».

«Кто это сказал? – возражает ему собеседник. – Разве солнечный огонь лучше кухонного?.. Цветы изо льда или цветы из крахмала, сахара и клетчатки – то и другое природа, и еще неизвестно, за что природу больше хвалить».

Эта логика типична для декаданса начала века. О. Уайльд, как известно, пошел дальше и провозгласил приоритет «искусственных произведений» перед природными. Символичен его портрет Дориана Грея, который испытывает воздействие жизни и вбирает в себя живую судьбу вместо реального человека.

С другой стороны, порожденные художником образы воздействуют на нас порой реальней, чем взаправду существующие люди. Разве что «дети от стихов не рождаются» – и то как сказать!

«В одном только искусстве еще бывает, – замечал З. Фрейд, – что томимый желанием человек создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра – благодаря художественной иллюзии – будит аффекты, как будто она представляет собой нечто реальное».

Игры воображения способны играть с человеком странные шутки. Медицинский факт: астматик с аллергией на запах розы испытывает приступ удушья при виде бумажного цветка. Настоящее удушье при искусственном цветке – не символ ли это подмены, которая при некоторых условиях может стать опасной?

## Профессионалы

Быть может, все в жизни лишь средство  
Для ярко-певучих стихов.

В. Брюсов

Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера.

Р. Акутагава

Профессионалы-художники порой особенно этим поражают: кажется, что человеческая жизнь для них в самом деле значит меньше произведения. Томас Манн подмечал эту черту и в Гете, который видел «во всем, а главное – во всех сырой материал» для своей работы.

«...Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии», – это писал не кто иной, как Пушкин (письмо П.А. Вяземскому 24–25.06.1824.)

Тут дело отнюдь не в человеческой холодности и бесчувственности; подлинность горя вовсе не исключена. Казалось бы: если у тебя разрывается сердце, нельзя утешать себя тем, каким эффектным и плодотворным воспоминанием станет это время спустя. Нельзя свое горе и горе других обращать в материал для творчества, для воспоминаний. Почему же так часто художнику свойственно это состояние, которое кажется противоестественным? – он наблюдает за смертью возлюбленной, чтобы правильной запечатлеть перемены ее лица.

У поэта умерла жена...  
Он ее любил сильнее гонора!  
Скорбь его была безумна и страшна -  
Но поэт не умер от удара.  
После похорон пришел домой – до дна  
Весь охвачен новым впечатленьем –  
И спеша родил стихотворенье:  
«У поэта умерла жена».

В этих насмешливых строках Саши Черного очевидно сомнение: действительно ли «страшна и безумна» была скорбь

поэта? Но в том-то и особенность ситуации, что скорбь действительно может быть велика и неподдельна – художнического поведения это не меняет. Художник и собственные муки готов сделать предметом поэзии, а мог бы – сделал бы и собственную смерть. (И делает – для других.)

## Плакальщицы

Философ М. Мамардашвили вспоминает профессиональных плакальщиц, которые на похоронах доводят присутствующих до состояния, близкого к экстатическому. «Они – профессионалы и, естественно, не испытывают тех же эмоций, что и близкие умершего, но тем успешнее выполняют форму ритуального плача или пения). Автор высказывает догадку, что такое «притворство» имеет важный смысл: «ведь психические состояния как таковые («искренние чувства», «горе» и т.п.) не могут сохраниться в одной и той же интенсивности... и служить основанием для явлений памяти, продуктивного переживания, человеческой связи... Всплакнул, а потом рассеялось, забыл. Дело в том, что естественно забыть, а помнить – искусственно. Искусственно в смысле культуры и самих основ нашей сознательной жизни, в данном случае – в смысле необходимости возникновения и существования сильных форм или структур художественного сознания... Специальные продукты искусства – это как бы приставка к нам, через которые мы в себе воспроизводим человека».

Иными словами, именно переводя свои чувства в какую-то искусственность, условную форму (да и сам плач – что значит он с точки зрения физиологии?) мы не только делаем эти чувства более человеческими, но придаем им подлинную силу, интенсивность, закрепляем их формально и позволяем благодаря этому задержаться в памяти.

Сама память в чем-то родственна феномену искусства; и то и другое в каком-то смысле – инструмент в руках инстинкта самосохранения. Ибо если бы в памяти закреплялось первичное, физиологическое качество наших переживаний – жизнь стала бы невозможной.

## Когда читателя не тошнит

Один мой персонаж, литературовед, мог за едой читать медицинскую статью о глистах, и это не портило ему аппетита. Такое чтение предполагает изрядную степень абстрагирования от предмета. В современной литературе многое рассчитано на интеллектуально-отстраненное восприятие, и даже если на шок, то интеллектуальный, а не на реальное сопереживание, сочувствие, тошноту.

Так воспринимается черный юмор.

Человек несет ребенка по лестнице за ножки, головка стучается о ступени.

– Что ты, ирод, делаешь? – кричит жена. – Шапочку потеряешь!

– Не бойся, – успокаивает он, – я ее гвоздем прибил.

Или стишки вроде такого:

Голые бабы по небу летят,  
В баню попал реактивный снаряд.

Вам не страшно, читатель? Нет, разве что слегка передергивает, но как-то даже приятно.

Не здесь ли одна из причин тяги вполне благопристойных людей к блатным песенкам? Никто не видит и не воображает за их строками реальных драк, блатных жлобов, убийц, алкашей, крови, блевотины – так, щекочущие слова и приятный мотивчик. Но при этом все-таки и некоторое приобщение к миру чуждому, недоступному, опасному. Вроде побывал среди них и благополучно вернулся.

Криста Вольф в «Кассандре» попробовала показать реально, во плоти, что стоит за гомеровским гневом Ахилла, Пелеева сына. И увидела жестокого «скотину» – солдата, который гоняет вдоль городских стен свои жертвы, спорит из-за наложниц, убивает...

Но значит ли это, что именно такова правда жизни? Или есть своя правда и в гексаметрах Гомера, сотворившего и пустившего в мир своих героев? Мы воспринимаем реальную

жизнь отчасти такой, какой нам представил ее Гомер и вся многовековая литература, все разнообразное искусство, вплоть до пошлых и лживых блатных поделок.

И это тоже способ существования.

## Химеры

Химеры существовали на самом деле. Мы все видели этих тварей, составленных из разных частей, видели их печальные рожи, подпертые лапами, их зубастые пасти, их человеческие глаза и доисторические хвосты. Они для нас не менее реальны, чем диплодоки и птеродактили.

А можно ли усомниться в реальности Дон Кихота или Гамлета, принца датского? В реальности Персея, Ликурга, Кришны? Мы знаем о них больше, чем о наших знакомых и соседях по улице: знаем их жизнь, их мысли, их внешность – до мелочей.

Сократ, Христос (не говоря уже о Дон Жуане или Фаусте) – для нас художественные образы, отличные от реально существовавших прототипов. Но они существуют куда реальнее их: до деталей портрета, характера; мы говорим о человеке Сократе, имея в виду, в сущности, его образ.

Странно, если бы выяснилось, что Христос-человек на самом деле все-таки не существовал – столько талантливых рассказчиков, портретистов и толкователей сделали реально ощутимым каждый его жест, ход его мыслей, каждое слово, черту, движение. Туринская плащаница ничего существенного не добавляет.

## Монолог незнакомца\*

...«Всерьез», «взаправду» – надо осмыслить эти слова. Ведь если всерьез вдуматься в это вот волоконец говядины, которое я выковыриваю сейчас из зубов, если вспомнить и вчувствоваться, что я это волоконец знал добрым и нежным теленочком...

---

\* Из повести «Провинциальная философия» (1977). В повести здесь, впрочем, диалог, но реплики собеседника опущены за необязательностью.

му-у! в щеку он меня лизал... и прочее... если проникаться такой правдой на каждом шагу – ведь это повеситься. Жить станет нельзя, вы только вообразите! Почему-то нам это заказано. Вот эта денежная бумажка, в которой воплотилось столько труда, надежд, страстей, лет, прожитых и выкинутых в трубу – если эта скомканная условность и взаправду попробовала бы все вместить, она бы в пепел обратилась! В пепел! Как все мы. Нет, усмехающийся мой друг, с правдой и ложью почему-то не так оно просто. Жизнь зачем-то требует условности, обмана и самообмана, игры, искусства. А там дело за талантом. В пору моей юности я как-то сказал любимой женщине: только отвечай мне прямо, не играй со мной. Какой идиотизм! Какая в конечном счете пошлость! Это не так далеко от прямоты того малого, который попросту заявлял даме: я хочу видеть вас голой. Вот правда так правда. А мы все лжем, мы говорим ей другое. Мы говорим, как прекрасно ее лицо, ее глаза, ее кожа. И она подозревает обман, о! Потому что она лучше нас знает, что глаза у нее – ничего особенного, а кожа у подружки нежней. Иные, особо правдивые, даже считают долгом разубеждать: я совсем не такая. Но верят, все же верят именно обману, называют его ослеплением страсти – и оказываются правы. Вот в чем истина, подумайте! Зачем-то жизни нужна эта игра, с распушиванием перьев, уклончивостью, кокетством и танцами, как нужны брачные бои на жизнь и на смерть, как нужны все те же сновидения. Тут великая загадка, не до конца проясненная. Способность к красоте, игре и искусству зачем-то нужна для существования и развития жизни. В этом смысле все люди – художники и различаются по силе способности... Я говорю о неизбежном и даже необходимом элементе иллюзии, условности, самообмана, умысла в самой серьезной и подлинной жизни... Какая наша мысль не оборвана? Какие слова вмещают все, что надо бы выразить? Все оформленное, конечное – уже обрублено, отграничено, чтоб им можно было пользоваться. Хоть как-то. Вы назовете это неполной правдой? На том сама жизнь основана, поймите же. Весь мир выделен из хаоса – это и есть акт творения, родственник искусству. Куску хаоса

придана форма, видимость закономерности, остальное отсечено и отдано лукавому. Не случайно, уверяю вас! В этом великий смысл. Эта уступка неполноте или, как вам думается, лжи, равносильна красоте и самой жизни. Предельно подлинна лишь бесконечность, бесформенность, бездна, смерть. А нам жить велено.

## О стриптизе

«...Я хочу, чтоб не лгать... На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь – синонимы... Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»

Удивительно глубоко и емко (а потому, что откровенен до конца!) формулирует тему этот персонаж «Бобка» – одного из самых жутких рассказов Достоевского. «Жить и не лгать невозможно». Мертвец готов прорваться наконец к самой бесстыдной правде. Живым героям Достоевского это давалось куда как непросто – с надрывом, с оговорками. Его «подпольный человек», самый, пожалуй, откровенный и беспощадный к себе, заранее одергивает себя устами гипотетического читателя: «В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия: вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок...».

Но разве мы действительно упрекнем за это героя и писателя? Разве мы не хотим от них предельной правды о жизни, о человеке, сколь бы тяжка и даже ужасна она ни была? Разве мы не ждем исповеди откровенной? а неоткровенная – зачем она нам? Разве для подлинно ищущей души такая беспощадная к себе откровенность не может оказаться поддержкой: не ты один бываешь слаб и низок, другим это тоже знакомо – а ведь справлялись?

Всякая культура и всякий ее язык строятся на запретах: это относится и к искусству. В музыке в разные времена запрещались определенные созвучия, они считались неблагозвучными (параллельные квинты, например). Теперь запретов, по сути, нет, благозвучен любой шум. Это относится не только



к музыке. Непристойность давно не смущает искусство, слово «дерьмо» незаметно стало литературным даже для девичьего уха. Писатель требует от нас не отворачиваться от пьянчуги, лежащего в луже собственной блевотины и мочи – «в собственном соку», как выражается не без изящества автор. (Врач по профессии, он описывает механику совокупления почти в медицинских терминах и полагает, что правдивый разговор о жизни неполон без подробностей самочувствия человека в нужнике...)

Заголимся и обнажимся... Но для искусства полный отказ от запретов не означает ли растворения в хаосе? Отправления, играющие бесспорную роль в нашей жизни, видимо, все-таки не зря совершаются за закрытой дверью. Каждому известно, что под платьем он гол; но если даже в жару мы не ходим нагишом по улицам – стоит ли упрекать себя в лицемерии? Какой смысл имеет утверждение, что в наготе больше правды, нежели в платье? И описание любви в медицинских терминах – не столько смелость, сколько слабость подлинно художественного мышления, насущно важного для человека.

Вернемся к исповеди. Литература всегда в каком-то смысле исповедь – но именно в каком-то смысле. Одно дело – внимательный, честный взгляд на себя, нужный для самоанализа, самовоспитания (и в целях отчужденного исследования, фрейдистского, например), другое – отчет для других. Одно дело – дневники, писанные для себя и ставшие публичным достоянием помимо авторской воли, другое – публичное самораздевание. Очевидно, в искусстве оно так же недопустимо, как в жизни. Надо знать себя голого (и по себе других), но для анатомических лекций демонстрируют анонимные препараты.

Как известно, у самого Достоевского нет ни одного в прямом смысле слова исповедального произведения. Откровенничают о своей подноготной всегда лишь его герои. Между тем он и о себе сказал в своих романах больше, чем мог бы сделать это в любой прямой исповеди. Но тщетно будут гадать исследователи, в самом ли деле он совершил ставрогинское преступление. И слава богу.

Может быть, искусство, среди прочего, есть формально дозволенный способ опосредованно узаконить глубинный анализ собственной души (насущенный для человека), облагородив истину переносом в сферу не-просто-реальную, в сферу, скрещенную с воображением. Художественное мышление есть способ обойти некоторые запреты, не нарушая самой структуры. Оно перебрасывает мостки через бездны; мостки эти можно назвать условными – но это не делает их ни менее надежными, ни менее нужными.

## Лев Толстой, или Диалектика лжи

Всякая палка о двух концах.

*Основной закон диалектики*

Лев Толстой отвернулся от искусства, ибо стремился быть последовательным в своем неприятии всякой лжи, фальши, условности, будь то историческое лицедейство, будь то условность балета, рифмованной литературы, будь то любовная ложь и лицемерие брака.

Что он готов был оставить? Честный минимум, необходимый для поддержания жизни и воспроизведения потомства? Но, пожалуй, до конца последовательным был скорее тот несчастный румын (упомянутый в ежедневниках Софьи Андреевны), который под впечатлением «Крейцеровой сонаты» в 18 лет оскотил себя. Бедняга был ошарашен и разочарован, когда, совершив, наконец, паломничество в Ясную Поляну, увидел, что сам его кумир, увы, далек от подобного совершенства.

Художник, то есть по природе артист, человек игры, обречен на внутреннюю противоречивость, когда пытается убежать от «искусственности», условности. Тем более писатель, ибо слово – уже условный знак; «мысль изреченная» в каком-то смысле действительно есть ложь. Ее пытались избежать лапутянские мудрецы, которые носили при себе запас настоящих, безусловных предметов, чтобы объясняться с их помощью, без посредства слов. Но опять же предельно последовательными дано тут быть лишь удалившимся от мира

молчальникам, ибо в пределе отказ от жизненной игры с ее условностями и ложью ради истины и совершенства есть отказ от самой земной жизни...

Здесь завязывается в узел целый комплекс идей, не случайных для Толстого. В своем порыве к совершенству и духовной чистоте он телесен настолько, что плотское соитие кажется ему единственной правдой любви. Здесь пересекается его утопия с надеждами социальных мечтателей отменить все ненужное, избыточное, в том числе деньги и всякую непроизводительную деятельность, оставив лишь «насущно» необходимое. Здесь истоки его призыва прекратить лживую комедию истории и начать «просто жить»; здесь основа того морально-го пафоса, который заставлял его видеть в искусстве лишь блажь оторвавшихся от трудовой жизни трутней.

## Поэзия выше нравственности

Или по крайней мере совсем другое дело, – добавил Пушкин. Аминь. Воистину. Хотя бы потому, что нравственность – уже когда-то выработанный и закрепленный свод правил. Она почтенна, что говорить, ее достаточно для жизни большинства.

Поэзия же – или, шире, искусство – это поиск, путь в неизвестное, творчество еще не бывшего, создание новых духовных миров.

Великих, истинных, профессиональных творцов немного, но искра творчества есть в каждом.

Марина Цветаева задается вопросом, кто угодней Богу – священник, призывающий у Пушкина («Пир во время чумы») к молчаливому благоговению перед смертью, или поэт, слагающий гимн Чуме – и тем противостоящий ей, противоборствующий (ибо творя, овладевает стихией, придает форму тому, что было просто хаосом, невыразимым – и невыраженным ужасом).

«Быть человеком важнее, – повторяет она. – Врач и священник нужнее поэта... Все важнее нас... Художественное творчество в иных случаях – некая атрофия совести, больше скажу – необходимая атрофия совести».

## Спорт

Игра – общий знаменатель жизни, искусства и спорта. Если существует чистое искусство – то это спортивные игры. Абстрактность шахматных комбинаций, плетение футбольных кружев – особенно на экране крошечного портативного телевизора, когда не видно лиц, да и почти фигур, следишь за схемой перемещения точек – и это выражает чувства, это как беспредметная живопись, как чистая поэзия, как легкая музыка, хотя само по себе не выражает ни чувств, ни мыслей – и сто тысяч зрителей режут от восторга.

Спортивные страсти, миллионы футбольных, хоккейных, бейсбольных болельщиков – феномен особый в истории человечества. (Бои гладиаторов, корриды, турниры – вообще принципиально другое дело, там лилась настоящая кровь.) Тут поражает абстрактность страстей. Я помню трансляцию футбольного чемпионата мира из Аргентины. Люди на трибунах казались обезумевшими – потом, после победы, они будут всю ночь орать по улицам, гудеть в автомобильные гудки, целоваться, плясать и чувствовать себя счастливыми – что им безработица, нищета, терроризм, диктатура, пытки арестованных, все, что творится тут же, рядом – если одиннадцать молодых парней, их соотечественников, перекидывая кожаный мяч, сумели загнать его в сетку между стоек?

Возможно удовольствие еще более абстрактное: следить по газетам, например за шахматным или футбольным турниром, не видя ни одной партии, ни одного матча. Увлечь может сама драма, динамика турнирной таблицы: кто возвысился и за счет чего, кто потерпел сенсационное поражение из-за просмотра, из-за невезения – оценку дает комментатор, и этого довольно.

И когда комментатор хвалит игрока за то, что он действует без внешних эффектов, мы вместе с ним подразумеваем, что главное в игре все-таки результат (как будто он совпадает с некой истиной). Нам не нужна уже сама плоть игры, само зрелище. Условность доходит до крайности – и мы замечаем, наконец, какую-то подмену, извращение.

## На темы Томаса Манна

### 1. Иосиф и Иов

Проблема «жизни» и «игры», тема человека-художника, «артистического бытия» для Томаса Манна столь важна, что исследователи задавались вопросом, не рассматривает ли он это понятие как «парадигму человеческого существования вообще».

С этим связан, в частности, мотив «формального», представительского существования, характерный для ранних произведений Т. Манна. Мотив этот отчасти автобиографический, писателю знакомо было сомнение: не ведешь ли ты «авантюристическую игру с действительностью, которую, в сущности, игнорируешь, потому что она для тебя лишь повод для игры, не больше?»

Слово «авантюристический» заставляет вспомнить одного из манновских героев, профессионального авантюриста Феликса Круля – тоже в своем роде художник, только сочиняет он не литературный опус, а собственную жизнь (разумеется, по пути вовлекая в свою «игру» и всех встречных). Случай Круля сравнительно легко поддается оценке: недозволенность подобной «игры» утверждается хотя бы уголовным кодексом. Далеко не всегда дело обстоит так просто.

Кто поистине играет в жизни, играет с незаурядной широтой и вкусом – так это Иосиф из библейской тетралогии Манна. Глубоко усвоив культурно-мифологический репертуар своей уже достаточно изощренной эпохи, он «проверял и реализовывал свою жизнь, соотнося ее с высшими образцами, разыгрывая ее, как роль, «по правилам» – «ибо мы идем по стопам предшественников, и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифологических форм».

Эта способность определяет поиски Иосифом «высшего в себе» – и в то же время сообщает его жизни оттенок некой вторичности. Он в какой-то мере всегда облегчал свои бедствия, воспринимая их чуть отстраненно, как закономерный, эстетически достойный даже любования эпизод обширной драмы, об исходе которой он, в общем, подозревал. «Ибо играть сын

Иакова и его праведной не переставал никогда в жизни и двадцатилетним мужчиной играл так же, как неразумным мальчиком. А самой его любимой и самой приятной формой игры был намек, и когда его жизнь, за которой так внимательно наблюдали, оказывалась богата намеками, когда обстоятельства оказывались достаточно прозрачны, чтобы разглядеть высшую их закономерность, он бывал уже счастлив, потому что прозрачные обстоятельства не могут ведь быть вовсе уж мрачными».

Примечателен ответ Иосифа отцу, который однажды мысленно отождествил себя с Авраамом, приносящим в жертву сына – и ужаснулся. С улыбкой знатока преданий юноша успокаивает отца: «Ведь в ближайшее же мгновение раздался бы голос и воззвал бы к тебе: “Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего!” – и ты бы увидел овна в чаще... Таково уж преимущество позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами истории, в которых он предстает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна».

«Речь твоя хитроумна, но неверна, – отвечал старик... – Посуди, чего стоила бы моя твердость перед Господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна?»

Ответ очень важный. Представим себе, в самом деле, что библейский Иов знал бы, какую игру с его участием ведет Бог в пику своему оппоненту (а ведь там шел действительно «розыгрыш» по определенному сценарию) – другая цена была бы и страданиям его, и стойкости. Но для манновского героя такое знание имело основополагающий смысл. Низвергнутый в беду неистовством влюбленной женщины, он вновь с надеждой напоминает себе о спасении мифологических героев, с которыми себя отождествлял. «Его надежда была уверенностью, знанием... Он знал свои слезы. Ими плакал Гильгамеш, когда пренебрег желанием Иштар, и та уготовила ему плач».

Это знание было опорой, оно сохранило его и довело невредимым до финального торжества, в котором Иосиф видит лишь подтверждение своих давнишних снов, завершение непрерываемого мифического цикла. Герой Т. Манна следует сквозь

мифическую драму целеустремленно, отстраняя все излишнее, опасное – будь то даже любовь несчастной женщины. Это пушкинский Дон Гуан соглашался погибнуть ради любви. Иосиф, человек отнюдь не бесчувственный (тогда бы все проще!), руководствуется, однако, не чувствами, даже не страхом. Он прежде всего блюдет свою роль в обусловленном сценарии, где ощущает себя не только исполнителем, но порой и режиссером. (Именно как режиссер он обставляет знаменитую сцену «узнавания» с братьями.) Он изрядный эстет, этот обаятельный, талантливый, но вызывающий порой какую-то внутреннюю оговорку герой.

«Ведь в конце концов самое главное, чтобы человек развлекался, а не проживал свою жизнь, как слепая скотина, и все дело в уровне его развлечения», – растолковывает он своему неинтеллигентному стражу по пути в нильское узилище... И все та же оговорка в отношении к артистическому красавцу возникает вновь, потому что слишком трогает еще воспоминание о той, которой он был обязан очередным поворотом сцены. При всех симпатиях к Иосифу, при всех благочестивых обоснованиях его целомудрия (которое, что ни говори, спасает ему жизнь) читатель почему-то испытывает больше сочувствия или сострадания не к нему, а к обреченной, обездоленной, грешной, пренебрегшей условиями и правилами игры Мут-эм-энет. (Во всяком случае, думается, это верно для читательниц.) Если имеет смысл противопоставление «настоящей жизни» «игре», то не здесь ли оно: самозаконное, природой данное влечение – и осторожные оговорки цивилизации?

Тут не все так просто. Мут-эм-энет, в своей страсти доходящая до почти безумного исступления, до забвения всех требований разума, морали, каких-либо культурных ограничений (вспомним хотя бы сцену дикого «шаманства» – недозволенной, первобытной попытки несчастной женщины приворожить возлюбленного) становится в конце концов чуть ли не воплощением темного, демонического начала, отмежевываясь от которого, Иосиф сохраняет свое «благочестие» перед Богом – свое достоинство культурного человека. Самоосуществляясь в «священной игре», он помнит об ответственности перед выс-

шим замыслом и обретает свое, особое благословение. «Это благословение редкое, ведь обычно приходится выбирать и нравиться либо Богу, либо людям, а ему дух прелестного посредничества (заметим в скобках, что посредничество для Т. Манна – вообще одна из основных функций художника. – М. Х.) даровал способность нравиться и людям, и Богу. Не зазнавайся, дитя мое, – говорит, однако, ему отец... – Ибо это благословение приятное, но не самое высокое и не самое строгое». «Высокое» благословение патриарха неслучайно получает не артистичный Иосиф, а грубый, но неподдельно страстный, без скидок пробивающийся сквозь свою трудную, полную еще непроясненной новизны жизнь Иуда. Это благословение – символ жизненности, плодотворности, открытого будущего, в то время как само существование Иосифа было лишь «игрой и намеком» на благодать. «Спасения ты не несешь, наследие тебе заказано», – шепчет ему на ухо отец, и Иосиф лучше других знает, что это правда.

Но в смысл такого приговора стоит вникнуть поглубже.

## 2. Игра

Что наша жизнь? Игра.

*Из оперы*

Когда мы говорим о «настоящей», «первичной», «неигровой» жизни – что мы имеем в виду? Жизнь, не подозревающую ни о замысле, ни о цели? Но совершенно не подозревает об этом разве что животное (и то много ли мы знаем об этом?). Тот же Иов в конце концов вовсе не усомнился ни в существовании «режиссера», ни в конечной мудрости непостижимого его замысла – это не лишало подлинности его страдания\*. И разве он был, как зверь, забыв о членораздельной (причем

---

\* вспомнились стихи поэта И. Габая:

Как легок на Голгофу путь,  
Когда уверен, что воскреснешь.

И разве шедший на Голгофу не был исполнен этой веры? Почему же путь его не был легок? Видно, такая вера, такое знание не избавляют, не должны избавлять от мук – больно все-таки взаправду.



довольно искусной) речи? Забыв о своем месте среди людей и под небесами? Разве он не оформил свою неподдельную боль по всем правилам скорбного ритуала – с раздиранием одежд и посыпанием главы пеплом? Этот ритуал и многие скорбные речи с большим знанием дела воспроизвел потом манновский Иаков, оплакивая Иосифа. Бывает ли человеческая жизнь вообще свободна от элементов игры, стилизации, искусства (или искусственности)?

Человек всегда принадлежит к определенной культуре и уже в силу этого не может в каком-то смысле не играть. Выделившись из животной среды, он начинает существовать в мире вторичных систем, в мире знаков, символов, правил – в мире той самой ненаследственной информации, которая позволяет ему ориентироваться в сложной жизни общества, составляет ее организующий стержень, хребет, подсказывая модели поведения, обобщая и передавая совокупный опыт от поколения к поколению.

Во времена Иосифа наиболее авторитетные модели были закреплены в мифах, которые так близко помнил симпатичный герой Манна. Но не случайно термин «миф» используется и по отношению к тем повседневным, не всегда осознанным, порой эфемерным моделям, по которым лепится жизнь человека вплоть до наших дней. Речь идет не только о фундаментальных архетипах культуры, но и о самых разнообразных проявлениях игры, подражания, стилизации, в том числе и о феномене, который имел в виду, например, Оскар Уайльд, говоря о «жизни, подражающей искусству»\*.

Так, люди в эпоху Возрождения старались стилизовать по античным образцам даже собственную смерть, ритуализировать жизнь, подчинить ее известным правилам и образцам. Причем эти правила и образцы задавались теперь уже не религиозными мифами, вера в которые безусловна, а мифами историко-художественными.

---

\* У О. Уайльда множество парадоксов на эту тему, например, такой: «Великий художник изобретает тип, а жизнь старается скопировать его, воспроизвести в популярной форме».

жественными (или даже просто художественными, потому что отношение к героям Плутарха или Светония по существу не отличалось от отношения к героям Гомера или Вергилия).

Из более близких по времени можно упомянуть русских символистов, которые, пытаясь найти сплав жизни и творчества, создавали «поэму из своей личности» (выражение В. Ходасевича). «Я уже сделал собственную жизнь искусством (тенденция, проходящая очень ярко через все европейское декадентство)», – писал в 1910 году А. Блок. Впоследствии он оценил смешение жизни с искусством как некий духовный грех, провозгласив их нераздельность и неслиянность (предисловие 1919 года к поэме «Возмездие»).

С развитием средств массовой коммуникации эта проблематика приобрела особое качество. Далекие от доверчивого простодушия людей архаичных эпох, мы, однако, не всегда отдаем себе, скажем, отчет, что говорим или движемся, как влиятельные герои киноэкрана, что равняем свою судьбу по литературным судьбам и т.д. и т.п. Об этом немало писано, феномен этот непростой и далеко не сводим к издержкам «массовой культуры». «Жизнь по образцам», как бы пародийно она подчас ни проявлялась, имеет неслучайный смысл. Даже, казалось бы, самое личное, неподдельное – например представление о любви – в каждую эпоху, как известно, создается в немалой степени под влиянием читанного, виденного, слышанного на эту тему. Хорошо или плохо, но это уже подчас не меньшая данность, чем сама жизнь. Мы «живем в искусстве», в культуре с такой же безусловностью, с какой живем в искусственных постройках, а не в пещерах, и ходим в одежде, заботясь притом о ее покрое.

Все это так. Но не случайны же и возобновлявшиеся в разные времена – вплоть до наших дней – тенденции искусствоворческие, антикультурные, словно вызванные чувством некой опасности. Сравнительно недавний пример – лозунги парижских бунтарей 1968 года: «Культура – извращение жизни», «Долой культуру, да здравствует жизнь!», «Долой искусство: мы не хотим жрать труп!».

### 3. Два разговора с чертом

Разговор композитора Адриана Леверкюна с чертом, уже процитированный выше, – ключевая сцена «Доктора Фаустуса». Ее анализировали не раз и с разных сторон, отмечая, конечно, бросающуюся в глаза близость другой классической сцене – знаменитому разговору с чертом Ивана Карамазова. Здесь можно выявить немало прямых совпадений – до описания внешности черта и его манер – как будто один и тот же гость явился дважды, с интервалом в сорок шесть лет, к двум разным людям.

Но есть между этими двумя беседами одно принципиальное различие.

К Леверкюну, как и к классическому Фаусту, inferнальный коммивояжер приходит, чтобы заключить сделку. Условия сделки до деталей оговорены. Музыканту обещается творческое вдохновение, гарантия великих успехов. Ему предлагается время, «гениальное время, окрыляющее время... полных двадцать четыре года... Когда они минуют... мы тебя заберем. Взамен мы будем сейчас всячески потакать тебе и потрафлять. Ад будет тебе споспешествовать при условии, однако, что ты станешь отказывать всем сущим – всей рати небесной и всем людям... Ты не смеешь любить... Твоя жизнь должна быть холодной...».

Как видим, отнюдь не сулитесь сплошных удовольствий, напротив, не скрыта и перспектива страданий. «Великое время, сумасшедшее время, совершенно чертовское время, со взлетами и сверхвзлетами, – конечно, и не без жалких падений, даже весьма жалких, это я не только признаю, но и с гордостью подчеркиваю, ибо так уж полагается, такова уж повадка и природа артистов... Это боль, которую с радостью и гордостью приемлешь как плату за чрезмерное блаженство...».

Предложена жутковатая, поистине чертовская игра с четкими правилами, с намеченным до финала сюжетом – и Леверкюн ее принимает. Впрочем, выясняется, что он участвовал в ней давно, еще не подозревая об этом; невидимый режиссер отметил его, содействовал благоприятной болезни – музыкант подходил для такой роли по исполнительским данным.

Карамазову черт ничего не предлагает и не подсказывает, он лишь намеком проясняет, верней, подтверждает ему смысл того, что сделал Иван. Сделал сам, на свой страх и риск, не зная темных последствий во всей их полноте. Черт Ивана как бы ловит людей с поличным на этих темных (в двойном смысле слова: морально-оценочном и познавательном) делах и помыслах. Но выпутываться оставляет самих, без подсказки, гарантии и даже без соблазна. Похоже, он сам не наверняка знает, что будет потом. Его ерническая болтовня насчет загробных мук – скорей, уход от ответа на заинтересованный Иванов вопрос. Он даже – хотите верьте, хотите нет – не знает, есть ли Бог.

То есть для себя, может, и знает, но с человеком у него об этом разговора быть не может, поскольку именно в отсутствии гарантий – залог некой подлинности человеческого существования.

«Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен “отрицать”, между тем я искренне добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики... Без критики будет одна “осанна”. Но для жизни мало одной “осанны”, надо, чтобы “осанна”-то эта проходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде... Мы эту комедию понимаем... Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное... ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически, ибо страдание-то и есть жизнь. Без страданий какое было бы в ней удовольствие – все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато».

Дело, пожалуй, не просто в скуке: можно предположить, что страдание действительно зачем-то нужно в полноценной жизни (как и элементы лжи); во всяком случае, наиболее убедительная попытка смоделировать мир, исключивший страдания, – это страшноватая антиутопия Хаксли. Другое дело, что для человека недопустим такой надзвездный, отстраненный взгляд на мир, он не может навлекать на себя страдания умышленно. Это комедия для нечеловеческих сил, а для человека –

жизнь, предъявляющая каждодневные требования к его совести и чувству ответственности. Гость Ивана со скучающей миной лишь констатирует факт, не требуя от русского умника практических выводов.

С Леверкюном у него разговор другой, в этом пункте они без объяснений способны понять друг друга. Видно, какое-то развитие совершилось в известном культурном слое за 40 лет, прошедших между обеими встречами; созрело, в частности, уже упомянутое явление «декаданса» – с его ощущением всеобщей всеведомленности, пресыщенности культурой и традицией. (Сам композитор читал не только гетевского «Фауста», но, возможно, и «Братьев Карамазовых». Во всяком случае, Томас Манн, работая над романом, перечитывал Достоевского очень внимательно.) Не в пример Ивану профессиональный художник, живущий почти исключительно искусством, Леверкюн чувствует это остро прежде всего в своей сфере. «Озарение, экспромт, – похмыкивает вместе с ним черт... – Но мы-то натасканы в литературе, мы сразу замечаем, что экспромт не нов, что больно уж он отдает то Римским-Корсаковым, то Брамсом... Если произведение не в ладах с неподдельностью, как же тут работать?» Остается разве что пародия – игра «с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь», но этот суррогат Леверкюна не устраивает. А к переживанию «нефиктивному, неигровому» он сам уже не способен прорваться.

«Чтобы писать хорошо, страдать надо, страдать», – уверял Достоевский. Леверкюну эти страдания прямо сулятся, и он идет на них сознательно, если не сказать умышленно. Вот в этой умышленности и больше всего сомнительного.

Трагические герои Достоевского не имели гарантий. Напропалую лицедействуя (в самих повадках их есть что-то актерское), они, однако, не знали заранее пьесы, пробивались сквозь нее всяк по-своему, на свой страх и риск, – то есть жили, бесконечно решая «последние вопросы». Трагическая же, но заведомо обусловленная жизнь Леверкюна с самого начала приобретает оттенок нечестивой игры – не только из-за содержания договора, но из-за самого его факта.

#### 4. Дионис и Аполлон

Есть своя закономерность в том, что принятие Леверкюном дьявольских правил переплетено с отрицанием «игры» и «иллюзии» в их традиционной, узаконенной сфере – сфере собственного искусства. Сомнения в плодотворности и правомерности существования искусства как такового – вообще один из исходных пунктов всего дальнейшего развития композитора, и доводы его заставляют вспомнить другие, сравнительно недавние заявления. «Дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей науки, нашего понимания правды такая игра, – задает себе вопрос герой Т. Манна незадолго до появления на страницах романа черта, – способен ли еще на нее человеческий ум, принимает ли он ее всерьез, существует ли еще какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодовлеющим и гармоническим целым, с одной стороны, и зыбкостью, дисгармонией нашего общественного состояния – с другой, не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, и особенно прекраснейшая – ложью?» «Уже сегодня совесть искусства восстает против игры и иллюзии, – заявляет далее Леверкюн. – Искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией». «Разрыв между искусством и реальностью... «иллюзорный» характер искусства может быть преодолен лишь в той степени, в какой сама реальность приблизится к искусству и оно станет собственной формой реальности... Искусство как форма реальности означает не приукрашивание существующей, но создание новой, противоположной реальности».

Я умышленно позволил себе процитировать без перерыва вслед за Леверкюном современного философа, чтобы сделать особенно наглядной неожиданную актуальность художественно исследованной Т. Манном проблематики. Высказывание Г. Маркузе взято из статьи с характерным названием «Искусство как форма реальности», где сомнения манновского героя словно переводятся в план злободневных размышлений об «отчуждении» искусства от реальности нашего «общественного состояния». Провозглашая отказ искусства от «иллюзии»,

от «музеев и мавзолеев», Маркузе как бы продолжает весьма примечательную переключку.

В конце 60-х годов, по его мысли, молодежное движение дало образцы некоего living art – «жизненного искусства», дальнейшее развитие которого, с одной стороны, должно отменить «иллюзорные» формы традиционного, отчужденного искусства, с другой – станет своеобразной формой существования будущего, преображенного общества. «Я считаю, что “жизненное искусство”, реализация искусства возможны лишь в качественно отличном обществе... где разовьются подавленные ныне эстетические возможности людей и вещей, причем под этим подразумеваются не специфические свойства определенных объектов, а форма и способ существования, соответствующие мышлению и чувству свободных индивидуумов».

В майских выступлениях молодежи 1968 года многие увидели путь к преодолению отчуждения и в жизни, и в искусстве, поскольку они осуществлялись именно как спектакль, как некий большой хеппенинг. «Ненависть молодежи прорывалась в смехе и песнях, стирая грани между баррикадой и танцплощадкой, любовной игрой и героизмом», – писал Маркузе в другой работе.

«Необходимо пересмотреть понятие искусства, – это уже другой влиятельный идеолог направления Микель Дюфрени. – Официальному искусству нужно противопоставить искусство, которое было бы делом жизни, искусство, прославляющее жизнь с ее свободой, силой, неожиданностью, искусство, подобное невинной и дикой игре, как дионисийский танец ребенка. Да, воссоздание: отчужденный человек воссоздает себя. Игра освобождает, крушит гнетущие ценности, смеется над оскопляющей ее идеологией, раскрепощает жизненную энергию. И, главное, она возвращает человеку вкус к удовольствию. Не к тому бескровному утонченному удовольствию, которое присуще созерцанию (впрочем, и оно лучше, чем ничего), а удовольствию более дикому и глубокому, порой смешанному с тоской, – ведь смерть присутствует в жизни. Если искусство – дело жизни, оно может быть и делом смерти;

таким оно было для Ван-Гога и для многих других; игра может перерасти в страсть. Здесь действует свобода, хрупкое и яростное наслаждение, в котором желание на мгновение осуществляется.

Но чтобы искусство привело к такому результату, необходимо, чтобы оно переживалось, как игра, то есть бесконечная выдумка».

Искусствоворческим концепциям новейшего рода присущ эстетизм, парадоксальный разве что на первый взгляд – он отрицает лишь «устарелые», официально узаконенные формы, произведения, созданные в виде ограниченных в пространстве и времени «опусов». «Опусы, время и иллюзия... – они все вместе подлежат критике. Она уже не терпит игры и иллюзии, не терпит фикции, самолюбования формы, контролирующей, распределяющей по ролям, живописующей в виде сцен человеческие страдания и страсти. Допустимо только нефиктивное, неигровое, непросветленное выражение страдания в его реальный момент».

А это кто говорит? Кто этот критик, посрамляющий «игру» и «иллюзию» перед лицом «реальности»? Да это все тот же ехидный черт, продолжающий соблазнять Леверкюна своей диалектикой.

Важно отдавать себе отчет в особенностях этого «реализма», когда отрицание игры иллюзорной последовательно связывается с перенесением ее в другую сферу – и здесь самое время вспомнить Ф. Ницше, имя которого в замкнутых рамках манновского романа не могло быть упомянуто. Противопоставляя «аполлонийскому» началу начало «дионисийское» (на которое совсем не случайно ссылаясь М. Дюфренн), Ф. Ницше писал в «Рождении трагедии из духа музыки»: «Аполлон стоит передо мной как просветляющий гений *principii individuationis*, при помощи которого только и достигается истинное спасение и освобождение в иллюзии, между тем как при мистическом ликующем зове Диониса разбиваются оковы плена индивидуации и широко открывается дорога к Матерям бытия, к сокровеннейшей сердцевине вещей». Это, с одной стороны, придает новое, освежающее качество самой жизни, с другой – ведет «к новому



созданию искусства, – и притом искусства уже в метафизическом широчайшем и глубочайшем смысле».

Какие-либо нравственные, социальные, рациональные ограничения при этом, естественно, даже не обсуждаются – ведь речь идет о предельном освобождении. По мнению черта, для которого, как и для Ницше, «художник – брат преступника и сумасшедшего», желанное состояние «гениального» экстаза стоит того, чтобы достичь его любыми средствами. Более того, всего эффективней оно достижимо именно средствами, отвергаемыми «общепринятой» моралью. «Я блажен! Я вне себя! Какая новизна, какое величие! Мои щеки, как расплавленное железо! Я в неистовстве, и всех охватит неистовство в такое мгновение»... «То, что тебя возвышает, что увеличивает твое чувство силы, могущества, власти – это, черт побери, правда, будь она хоть трижды ложью с добродетельной точки зрения!»

Один из парадоксов, которые демонстрирует круг идей, связанных с проповедью высвобождения в человеке чувственного, аффективного, внесоциального, состоит в том, что в подобного рода «витальном взрыве» слишком много заданного, умышленного, чтобы говорить об истинной неподдельности чувств. Аффективный приступ можно вызвать преднамеренно – для этого существует хорошо разработанная техника, фармакология, которой без излишней брезгливости пользовались и пользуются далеко не всегда добросовестные идеологи и практики. И надо отдавать себе отчет в опасности, какую таит в себе возможность злоупотребления «витальными силами», «освобожденными» от всех сковывающих ограничений.

Идеи имеют свою внутреннюю логику, которую не всегда предвидят даже их творцы. Работая над жизнеописанием своего Леверкюна, Т. Манн не в последнюю очередь думал о том, почему эстетские и, казалось бы, элитарные воззрения Ницше оказались питательной почвой для самых низменных, варварских, бесчеловечных концепций. «Существует какая-то близость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и вар-

варством, над которой нам не мешало бы поразмыслить, – писал он в своем позднейшем эссе «Философия Ницше в свете нашего опыта» – опыта людей, переживших фашизм. – Эстетизм Ницше... вносит в его философские излияния что-то «невзправдашнее», безответственное, ненадежное»\*.

### 5. Эстетика и этика

«Только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности», – настаивал Ницше, развивая «взгляд на искусство как на высшую задачу и собственно метафизическую деятельность в этой жизни». Ему было слишком противно расхожее благонравие, не желающее знать о прекрасном.

Но вправе ли этот эстетический взгляд претендовать на полноту жизнеощущения? Пожалуй, утверждение приоритета эстетики над этикой или наоборот свидетельствует именно об утрате жизненного единства, заключенного в двойном платоновском смысле слова «хороший».

Есть своя красота и в темных безднах, в разложении и распаде; современное искусство особенно научило вникать в них; это тоже соответствует природной и конкретной сущности человека, для которого и болезнь, и смерть естественны. Более того, распад и смерть необходимы и неизбежны в круговороте мироздания, но они могут существовать лишь включенными в некое устойчивое, непреходящее, обновляющееся единство. Хаос для искусства может быть лишь частностью или средством, ибо оно (как и сама жизнь) по определению есть преодоление хаоса, то есть распада и смерти. И в этом смысле форма все-таки связана с красотой, как бесформенность с безобразием, в этом смысле красота, возможно, есть выражение устойчивости, полноты, гармоничности.

Вот почему забота об эстетической форме может иметь и этический смысл, особенно там, где мы не можем безусловно

---

\* Ср. характеристику Ницше из того же эссе: «Этот великий лицедей и мастер перевоплощения «играл “свою жизненную трагедию” – я чуть было не добавил: им самим инсценированную».

и сполна судить о правильности своих действий. Если мы не можем до конца чего-то постигнуть умом, просчитать всех последствий своего действия, надо положиться на форму – правила, запреты, предписания, не обсуждая их истинности (мысль М. Мамардашвили). Вот почему подчинение «дисциплине игры» (тоже родственное соблюдению эстетических законов) – залог ее гуманистического характера, способности противостоять тенденциям варварства (мысль И. Хейзинги). «Что от Бога, то упорядочено», – эти слова из Послания к римлянам вспоминает однажды не кто иной, как манновский Леверкюн. Впрочем, что для него означает порядок? Двенадцатитоновую систему?

Элемент частной лжи может входить в цельную истину; эти частные элементы истины могут быть саморазрушительны. Но в целом искусство, видимо, все же создано человечеством из какой-то потребности в устойчивости, самосохранении. Я уже не говорю о том, что, увековечивая в искусстве преходящие черты жизни, человек пытается противостоять страху смерти, продлить собственное существование: «Нет, весь я не умру...».

Конкретное произведение искусства не может ни изменить, ни улучшить мира; но искусство в целом и в «высоких», и в «массовых» своих проявлениях вносит в него одухотворенную организацию, без которой он не мог бы существовать. Пусть даже человек сам не всегда сознает глубинную суть этой потребности.

«Я считаю искусство изначальным феноменом, – писал одному из своих корреспондентов Томас Манн в 1922 году, – который ни при каких обстоятельствах не перестанет существовать, а художника как форму бытия – бессмертным... Было время, когда один великий человек, Шиллер, мог сказать: человек лишь тогда вполне человек, когда он играет. В такие серьезные и трудные времена, как наше, это звучит фривольно, и все-таки я уверен, что та священная и освобождающая игра, которую называют искусством, всегда будет необходима человеку, чтобы он чувствовал себя действительно человеком».

## Творчество как служение жизни

Итак, можно сказать, что, обладая свойствами бесцельной на вид игры, искусство все-таки служит каким-то глубоким и насущным человеческим потребностям – оно по-своему способствует поддержанию и сохранению жизни...

Вот, дошел до мысли, казалось бы, своим умом – но заглянул в Платона: у него давно, оказывается, есть про это:

«Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество».

Не это ли роднит искусство со всякой животворящей энергией человека, будь то любовь или культурное деяние? Продолжение рода, физической жизни есть творчество – так объясняет Сократу мудрая гетера Диотима. Но – разве мы рожаем только тела? – замечает один мой герой...

В таком случае искусство представляется одной из сил, призванных противиться энтропии, распаду, гибели. Ведь если человек был для чего-то создан, то не для того ли, чтобы теплом своей жизни, страсти, творчества поддерживать и обновлять энергию мироздания, обреченного без него?

1976–1979

# АПОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

## 1

Всевозможные похороны, отпевания и поношения литературы становятся своего рода ритуалом. Особый список грехов предъявляют конкретно русской литературе: она, оказывается, чуть ли не повинна в исторических бедах нашего общества, которое «поставило свое существование в зависимость от писателей», было отравлено литературным подходом к жизни; «литература стала властью в России», она подменила собой историю и т.п. (Цитаты из недавних публикаций, но сама тема идет по меньшей мере от Розанова.)

Примечательно, что все эти возгласения исходят из самого литературного лагеря. Комплекс вины (или неполноценности) бывает оборотной стороной мании величия – преувеличенного представления о своей роли, возможностях и целях. Что касается русской литературы, то она, как известно, волею исторических судеб отчасти была вынуждена заниматься тем, для чего в других странах существовали профессионалы: политики, парламентарии, специалисты по сельскому хозяйству, теологи наконец. «Красное колесо», по словам автора, возникло из необходимости сказать насущную правду о важнейшем периоде нашей истории – больше было просто некому. Отсюда было недалеко до известных мессианских порывов: потребности провозгласить новую, спасительную для всех истину, создать небывалое вероучение. Впрочем, для писателя это означало обычно отказ от литературы как занятия сомнительного, если не греховного.

Изменились времена, в разных областях нашей жизни объявились профессионалы – какие ни есть, но способные делать свое дело и без писателей. Отечественная литература приходится привыкать к новому положению и новой роли – заново осмысливать собственное существование. Состояние, что говорить, непростое. А тут еще проблемы, более знакомые остальному миру, чем нам, рыночного свойства прежде всего. Или экспансия визуально-электронных искусств и развлечений (больше развлечений, чем искусств), которые, при всем нашем отставании от мира, уже в обозримом будущем грозят вытеснить старомодную литературу на скромную обочину. А уже звучат разговоры и о вовсе новой культуре, которая не будет нуждаться ни в словесном выражении, ни в сложной электронике, а обойдется вообще без «материального», черпая энергию, как выразился один критик, «непосредственно из вечности».

## 2

На эти темы стоит порассуждать всерьез. Помимо словесной природы, одной из характеристик литературы можно считать ее способность посредничать, так сказать, между земным и небесным. Это, между прочим, определяет ее отграничение от духовности чисто «небесной», религиозной. Литература связана с религией генетически. Религия может пользоваться литературными текстами, каковыми являются буддийские джатаки или истории иудео-христианской Библии, но может обходиться и без них, во всяком случае, когда обращается к уже верующим, убежденным. Духовные стихи, в которых звучат лишь слова о Боге, Святом Духе, спасении и т.п., могут произвести впечатление скорей на тех, для кого эти слова уже наполнены содержанием. Необращенного нужно сначала убедить на языке земных образов, очевидных и значимых для него. Когда герой Пастернака говорит, что главное для него в Евангелии – не «нравственные изречения и правила», а то, «что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину

светом повседневности», – он, в сущности, восхищается литературным элементом в нем.

Я как-то пытался в споре объяснить, чего мне не хватает в чисто духовной словесности, почему я отличаю ее от того, что мне представляется литературой. Можно повторять «Бог» – и это мне ничего не скажет. Но можно заговорить, допустим, о корове или пусть даже о навозе – и это будет о Боге. Я тогда не знал индийской легенды о паломниках, которые сочли себя оскверненными, увидев на дороге коровью лепешку, и поспешили к реке омыться. Но тут из лепешки восстал бог Индра и сказал: «Это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого».

Бог в коровьей лепешке – вот это для литературы, это ее сфера. Кстати, можно вполне обойтись и без Бога: писать, скажем, о составе и полезных свойствах навоза, о правильном использовании его в хозяйстве, о чистоте в коровниках и конюшнях или о проблемах тамошнего персонала. Достоянейшее, полезнейшее дело, может, гораздо более нужное, чем литература. Но с литературой смешивать его все же не стоит – а такое случается сплошь и рядом. Литература начинается там, где конюшни будут хотя бы авгиевы.

Что до разговоров о «прямом соитии с вечностью» как будущем искусства и разнообразных опытов в этом духе... Можно, конечно, написать на бумаге слово «вечность» и медитировать над ним, можно медитировать над чистым листом бумаги и даже вовсе обойтись без него – все это было давным-давно и, наверное, имеет свой вполне достойный смысл. Просто не надо и это считать разговором о литературе.

### 3

Может ли грядущая электронно-визуальная цивилизация обойтись вовсе без литературы? Вполне допустимо. Литература существовала не всегда, возможно, ей не суждено быть вечной. Но пока что она обеспечивает, видимо, какую-то насущнейшую человеческую потребность, дает что-то, чего не

способно дать нам ничто другое. Словесная природа литературы вовлекает читателя в великое таинство – мистерию сотворчества. Мы, привыкшие, уже не отдаем себе отчета, какое это ни с чем не сравнимое чудо. Человек пробегает глазами череду черных значков на пластинках белого вещества – и переносится в мир иных событий, звуков, красок, лиц, страстей. Значки на бумаге для всех одинаковы, но мир возникает для всякого свой – он воссоздается на пересечении с его небывалой жизнью, опытом, интеллектом, воображением. Лица и голоса здесь не до конца выявлены, мысль при каждом новом прочтении может обогащаться: мир подлинного произведения литературы неисчерпаем и многозначен. Любая экранизация, грубая попытка материализовать написанное не просто обедняет этот мир: человеку оставляется роль пассивная, всю творческую работу проделывают за него режиссер, актеры, художник.

Отсюда вовсе не следует, что потребители этих чудес, оставшись без литературы, будут чувствовать себя менее счастливыми. Может, как раз наоборот. Но были уже попытки вообразить себе и более отдаленные последствия. Не обернется ли это доступное счастье упрощением и даже извращением психики, обеднением и иссяканием каких-то высших духовных потенций?

Не случайно же авторы антиутопий от Хаксли до Брэдбери с такой тревогой всматривались в «прекрасный новый мир» электронно-фармацевтического благоденствия, из которого оказывались изгнаны почему-то именно книги; не случайно именно к книгам тянутся аутсайдеры и беглецы из этого мира – чего-то насущнейшего им там не хватает.

Действительно ли человеку так нужна литература? Или тут говорит отчасти объяснимое пристрастие авторов, которые сами все-таки люди книги?

#### 4

У этой темы разные ипостаси, к ней примерялись с разных сторон. Вот, например: вокруг литературы (и вообще искусства) складывается уже целая область духовной деятельности,



которая с какого-то момента может в принципе обходиться и без произведений как таковых. Литературный манифест начинает значить ничуть не меньше, он даже представляется чем-то первичным – произведение может его иллюстрировать или конкретизировать. Филологическая, комментаторская, концептуалистская деятельность занимает место литературы. Мыслимой вершиной такого развития можно считать гессевскую игру в бисер.

Гессевская Касталия возникла из потребности противостоять разрушительным тенденциям эпохи, гибели искусства, духа, нравственности, языка. И вот эта «Касталия вообще отказалась от создания произведений искусства... стихотворство считалось и вовсе невозможным, смешным и предосудительным занятием».

Тема, как говорится, для размышления. Как и ее дальнейший поворот: в пору глубокого душевного кризиса любимый герой Гессе Йозеф Кнехт, Великий Магистр, не смог ограничиться придумыванием очередной игры – преодолевая запрет, тайком от окружающих, движимый какой-то неодолимой потребностью, он стал сочинять стихи и рассказы.

Объявить ли это опять всего лишь произвольным решением, профессиональной пристрастностью писателя Гессе?

## 5

Сомнения в праве литературы на существование – порождения и свидетельства кризиса. Они звучат с особой силой, когда кризис оборачивается катастрофой.

Известность получили слова Т.Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихи». Страшный опыт нашего века, пожалуй, как никогда, обострил сомнения в смысле и даже нравственной дозволенности литературы. Но этот же опыт дал, быть может, самый неожиданный в своей убедительности довод о ее необходимости.

В рассказе «Афинские ночи» Варлам Шаламов напоминает рассуждения Томаса Мора о четырех основных потребнос-

тях человека, удовлетворение которых способно доставить ему блаженство. В нечеловеческих условиях колымского лагеря выяснилось, что не менее насущной оказывается для человека пятая потребность – потребность в стихах.

«У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи – не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот, оказывается, какая потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием.

Потребность слушать стихи, не учтенная Томасом Мором.

И стихи находятся у всех».

Поразительное, не подлежащее сомнению свидетельство. Существенно, что именно в гибельных, нечеловеческих условиях стихи становятся в ряд насущных, природных потребностей.

Не подтверждает ли это мысль, что произведение литературы, вообще искусства, как порождение творческой воли, по самой природе своей есть акт преодоления хаоса, распада, а значит, акт сопротивления смерти, небытию? И не потому ли оно способно служить жизни, поддерживать ее, как о том свидетельствуют выжившие – в том числе и выжившие благодаря стихам?

«Страшные переживания, которые привели меня как человека на край смерти и сумасшествия, выучили меня писать. Если бы я не умела писать, я не выжила бы. Писать меня учила смерть». Это свидетельство Нелли Закс, пережившей трагедию в другой стране.

## 6

Нет, не просто эмоционально понятное нежелание уступить сцену побуждает нас доискиваться, зачем все-таки нужно даже нашему времени это, что говорить, довольно странное и сомнительное для взрослых людей занятие – помимо религии,

философии, помимо наглядных, куда более полезных и понятных дел. Зачем-то оно однажды понадобилось человечеству – и может, все-таки нужно будет всегда?

Забавно бывает читать новейшие сетования, что весь материализованный мир уже «закрыт» описаниями, литературе как таковой уже нечего делать. И это все было. Это, между прочим, одна из тем знаменитого разговора с чертом композитора Адриана Леверкюна в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». «Мы-то натасканы в литературе, мы сразу замечаем, что экспромт не нов». Можно разве что «поднять игру на высшую ступень, играя с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь». Тоже вполне постмодернистский разговор. И признаем опять: в нем есть своя правда.

С одной только важнейшей оговоркой: нас, таких, как мы есть, еще не было. Как не было и нашего времени. Пока мы живем, новое будет рождаться на пересечении с этим небывалым временем, с нашей общей жизнью и жизнью каждого. С нашими идеями, концепциями и находками тоже, новы они или нет, как и со всей предшествующей историей и культурой.

Все мы, в самом деле, натасканы в литературе, футуризм для нас давно плюсквамперфект. С бестрепетным почтением читаешь, скажем, теоретические рассуждения В. Шкловского – и вдруг: «Сегодня плакал в уборной. Очень обидная вещь старость».

И вздрогнет сердце. Такое будет трогать всегда, пока не переменится сама природа человека. Как трогает песня древнеегипетской девушки, вздох израильского мудреца Соломона или плач китайского историка, оскопленного по приказу императора. Это все-таки не случайно записано человечеством. И если это называется литературой – думаю, это пребудет вечно.

## ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СЮЖЕТЫ

Уже становятся общим местом повторяющиеся вздохи и сетования: нету прежней литературы. Ту, что принято называть элитарной, мало кто возьмется читать – не располагает она к чтению, массовый популярный кич настоящей литературой не назовешь, из прочей интересна разве что литературная публицистика. То ли было раньше, во времена Пушкина с Гоголем! И литература великая, и народу любезна; было что читать для души.

Можно, конечно, вспомнить, как и Некрасов, бывало, сетовал:

Эх! эх! придет ли, времечко...  
Когда мужик не Блюхера  
И не милорда глупого –  
Белинского и Гоголя  
С базара понесет.

А следом вспомнишь, как наши газеты в ответ радостно восклицали: пришло, как же! Мы, естественно, несем с базара Гоголя и Белинского. Еще бы!

Обычный тираж Гоголя у Смирдина был 2 000 экземпляров. Не западный бестселлер, как выразились бы нынче. Хотя что-то вроде бестселлеров было уже и тогда. Вспоминается резолюция одного влиятельного критика времен Пушкина, который толково рекомендовал автору переделать «Бориса Годунова» в духе Вальтера Скотта. («Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы он с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта». – *Николай I.*)

В самом деле, у великого шотландца было чему поучиться: как у него в любом романе закручена интрига, крепко выстроен сюжет, выигрышно проведена любовная линия! «Борис Годунов» до таких кондиций, честно признать, недотягивал.

Пушкин, кстати, Вальтера Скотта ценил высоко, отмечал в разных статьях его превосходство перед иными легковесными французскими беллетристами. Недаром же Скотт был едва ли не первым европейским писателем, сумевшим сделать себе состояние полноценным литературным трудом. Грешно было не воздать ему должное. Пушкин ведь тоже одним из первых в России стал ощущать себя профессионалом, которому надобно зарабатывать свой хлеб пером. Только почему-то не получалось, как у шотландца. И ведь не бездарный, что ни говори, человек, и трудился вовсю – но под конец жизни оказался, увы, сплошь в долгах, казенных и частных. На уплату казенных долгов, по условию с царем, полностью шло все жалование, доходы с болдинских имений поэт уступил сестре.

Но вот под конец жизни сумел все-таки выхлопотать издание желанного «Современника». Не только чтобы осуществить давние литературные замыслы – чтобы получить настоящий доход. Как удавалось же это Булгарину, Гречу, Сенковскому – чем он был хуже?

Первые два номера журнала были выпущены в начале 1836 года тиражом 2 400 экземпляров, третий вышел уже тиражом 1 200, четвертый, в самом конце года – только 700 экземпляров. После смерти поэта на его квартире осталось 109 полных комплектов. (Их потом удалось продать, но неизвестное количество разрозненных экземпляров постановлено было сжечь за ненадобностью.)

А ведь в этих журналах были напечатаны «Скупой рыцарь» и «Капитанская дочка», гоголевские «Нос» и «Коляска», стихи Тютчева и Жуковского. Не хрестоматийное чтение – самые горячие новинки, и подбор не назовешь скучным. Не покупали. Что ж это были, в самом деле, за читатели, что за времена? Та же «Северная пчела», та же «Библиотека для чтения», поставлявшие ходовое, как сейчас выразились бы, чтиво,

преимущественно переводное, шли нарасхват и давали издателям завидный доход.

Все было правильно, давайте хоть сейчас это признаем. В таком соревновании Пушкин был обречен на неудачу. При жизни, во всяком случае. Ведь к концу жизни и слава у него, как известно, поблекла – после блистательной ранней вспышки «Руслана и Людмилы». Даже дружественные поэту люди замечали со знакомым нам вздохом: не тот стал Пушкин, увы...

Грустно повторять еще раз столь общеизвестные вещи. Но почему мы так плохо помним прежнюю нашу литературу – и так ли на самом деле знаем нынешнюю? Чтобы судить о ней, надо по меньшей мере читать книги, и не бегло, как вынуждает темп жизни, не для служебного газетного отклика, а хотя бы чуть внимательней, вдумчивей. Вырабатывать о них свое личное, в душе созревшее мнение, а не просто ссылаться на чей-то статистический спрос, на суждения столь же расхожие, сколь безличные. Цена таким суждениям-вздохам известна, а спрос зависит, увы, зачастую от обстоятельств внешних – многие ли книги до нас просто доходят, много ли мы их читаем? (Не говорю: перечитываем.)

Знакомые, повторяющиеся сюжеты тоже не лишне бывает иной раз напомнить.

1998

# ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ

## 1. Опалиха

В октябре 1971 года, когда мы познакомились, Давиду Самойлову был пятьдесят один год – на шесть лет меньше, чем мне сейчас; но это был уже тогда знаменитый поэт. Меня привел к нему наш общий товарищ Володя Лукин, вызвавшийся показать маститому профессионалу рукопись моей повести «Прохор Меньшутин» (тогда она называлась «Сказка о Золушке»). Самойлов жил в ту пору на подмосковной станции Опалиха. После дождей развезло, мы кое-как дошли по грязи. Самойлов встретил нас на крыльце: в черной рубашке с закатанными рукавами, в замызганных грязью сапогах – только что ходил в лес. Удивила меня его седина (и щетина седая, небритая) – на известных фотографиях он таким седым еще не был. Мы посидели за бутылкой водки в прекрасной большой комнате с бревенчатыми стенами. В ней было тепло, сухо и удивительно легко дышалось. Большой рояль как будто не занимал места. Письменный стол, громадный – на многих гостей – обеденный стол, всевозможные свечи в подсвечниках, на стене портрет Пушкина – рисунок пером Нади Рушевой.

Говорили о том о сем. О Солженицыне, о Молдавии, где Давид незадолго перед тем побывал, о Польше, куда его не пускали в виде какого-то наказания, о сравнительных достоинствах русской водки, польской «выборовки» и венгерских настоек, о том, что в «Новом мире» собираются печатать поэму Цветаевой, а живых поэтов не печатают. Мне было в но-

винку услышать, что его, такого известного, тоже не печатают. Я думал, это лишь у меня так.

А в следующий раз я пришел уже в марте, когда Давид и его жена Галя прочли мою рукопись – и как же я был облакан! Необходимость рассказывать об этом подвергает испытанию, наверно, не столько мою скромность, сколько чувство юмора. Но во-первых, услышанное тогда мною вполне оказалось уравновешено впоследствии отзывами противоположного свойства, которые я тоже не намерен утаивать. Давид был человеком увлекающимся, на моих глазах его оценки не раз менялись; он мог кого-то вдруг «назначить» в гении, а время спустя сам же разжаловать. Но главное, без этих похвал не понять моего тогдашнего состояния.

Достаточно сказать, что меня назвали достойным учеником Набокова. Я заметил, что Набокова впервые прочел, когда моя работа была уже закончена.

– Вполне может быть, – ответил Давид. – Вы могли и не читать Набокова. Он сам, например, утверждал, что не читал Кафку. Наверно, что-то кафкианское носилось в воздухе. И сегодня в воздухе носится что-то общее.

И еще о том, что мое описание провинциального городка чем-то напомнило ему быт Опалихи, он даже нашел в себе самом что-то близкое с Меньшутиним, а в своей шестилетней дочке Варе – что-то общее с Зоей из моей повести. «В какой-то миг даже страшно стало: откуда он про нас знает?..»

Впрочем, последнюю фразу, возможно, произнесла Галя; как это не раз бывало потом, говорили они вперебивку. Но мнения их не расходились; чувствовалось, что они это уже обсуждали. И говорилось все это, между прочим, при других гостях, неизвестных мне людях, которые уже смотрели на меня с интересом и уже просили рукопись почитать. Давид и сам стал называть имена разных знаменитостей, которым готов был меня рекомендовать (с кем он только не был знаком!) – хотя вещь сразу же объявил совершенно непечатной.

– И не потому, что антисоветская, – объяснил он. – Она просто несоветская. Воздух здесь какой-то другой. И мысли,



и люди. Существует официальный термин, который употребил на совещании драматургов какой-то деятель ЦК, – «неконтролируемые ассоциации». Нельзя, чтобы вещь вызывала неконтролируемые ассоциации»...

Стоит ли говорить, что никаким знаменитостям я представлен не был (тем более что и сам отнюдь не рвался), ни до какого протезирования вообще за все годы нашего знакомства дело не дошло – не тот был случай. «Меньшутин» благополучно прождал публикации еще шестнадцать лет. Но разве это было для меня важно? Я получил нечто несравненно большее...

Тут вот ведь в какую всякий раз упираешься проблему: хочешь не хочешь, а совсем без упоминания собственной персоны даже в разговоре о другом человеке тоже никак не обойтись. Но надо же иметь представление и о свойствах воспринимающего объектива, чтобы хоть делать на них необходимую поправку. У Самойлова был необозримый круг знакомств; десятки, а, может, и сотни людей могут оставить о нем воспоминания – и многие уже появляются, и каждый видит со своей стороны.

Мне было ко времени нашего знакомства больше 34 лет – возраст уже куда как не юный; я годами что-то писал, но ни строчки не мог опубликовать. Испытавшие это знают, как много комплексов порождает такое состояние, как не просто бывает справляться с сомнениями и неуверенностью в себе – что бы ты сам о себе ни мнил или ни знал, как бы ни ободряли тебя доброжелательные друзья. Тем более что среди этих друзей не было таких уж литературных авторитетов. Но обращаться к «настоящим» писателям как-то не тянуло, возможно, из тех же самолюбивых комплексов. Друзья меня, впрочем, как-то сосватали к одному современному классику и во всех отношениях достойному человеку. Он отнесся к моим рукописям сочувственно, делал замечания, давал советы. Однако и замечания его, и советы скорей озадачивали меня, настолько они были «мимо» – как будто из другой системы координат. Да, если уж честно говорить, не так уж нужны мне были оценки и советы; вот если бы он меня порекомендовал в какой-нибудь журнал...

Так ведь и Давид, считай, никак мне в этом смысле не помог – но опять же: разве в том было дело! Он сделал для меня неизмеримо больше: он принял меня всерьез, на равных, совсем не как мэтр – и уже этим помог утвердиться в себе. Ни в чем другом я тогда так не нуждался. Уверенность в себе, в своей литературной правоте важна ведь не только психологически: она сказывается и на творческом уровне. «Робеющий считать значительными свои мысли рискует остаться при робких мыслях», – я записал это в дневнике как раз в ту пору.

Но главным было другое: я соприкоснулся с личностью, типом мироощущения, способом отношения к жизни, прежде мне в таком качестве неизвестными. Я увидел человека солнечного, открытого, расположенного, не просто талантливого, блистательного умницу, но способного бескорыстно и увлеченно радоваться другому таланту – и при этом без всякой табели о рангах. Несмотря на разницу в возрасте, мы довольно быстро – где-то уже в первые месяцы знакомства – перешли на «ты», хотя какое-то время оба еще сбивались. Нет, он не стал для меня мэтром – и, наверно, не только потому, что для этого было слишком поздно: мы были достаточно разными. Но я был им восхищен. Я думал о нем в первые месяцы неотступно, вел с ним какие-то мысленные разговоры; я рвался к нему в Опалиху и стеснялся приехать без приглашения, не созволившись: ни у него, ни у меня тогда не было телефона.

Но как было не восхититься, когда вдруг приходило от него письмо:

«М. Харитонов!  
Куда Вы (ты) девались?  
Или Вы (ты) зазнались?  
Приезжай(те).

Ваш Д. Самойлов  
(особенно Галя)

Что-то мы соскучились».

И я бросал все дела, бежал покупать бутылку (и для Гали цветы) и мчался к нему в Опалиху.

В дни, когда я пишу эти строки, по какому-то знаменательному совпадению появилась публикация самойловских дневников как раз тех лет. Там немало записей об усталости от общения. Например, 22 февраля 1972 года: «На общение и пьянство уходит много сил».

Однако без гостей он скучал. В той же февральской записи, дальше: «Но ведь я всегда общался и пил. А когда не пил и не общался, все равно не писал лучше и больше».

Как-то он пошутил, что в песенке Людоеда из его детской сказки «Кот в сапогах» выразилось это опалихинское настроение:

Я соседей распугал,  
Съел друзей до одного.  
Хоть бы в гости кто приехал,  
Не заманишь никого.

Сколько моих знакомств и дружеских отношений началось в этом доме – доме, где умели наслаждаться застольной беседой как высоким искусством! Кажется, что он всегда был полон людей; мне и сейчас трудно понять, как на такую открытую жизнь хватало не то что средств – сил, и это при двоих детях, один из которых, годовалый в ту пору Петя, от рождения был болезненным и требовал особых забот. Никогда и ни с кем я так хорошо не сидел, никогда не слушал столько стихов! Никогда и ни с кем я так не пил, пренебрегая всеми медицинскими запретами – в душе уже запечатлелись слова о «химере самосохраненья» – и вот эти:

О, как я поздно понял,  
Зачем я существую!  
Зачем гоняет сердце  
По жилам кровь живую.

И что порой напрасно  
Давал страстям улечься!..  
И что нельзя беречься,  
И что нельзя беречься...

Словом, что говорить, я влюбился в этого человека. Наверное, в этой влюбленности было что-то не совсем по возрасту. Она порой оборачивалась разными неточностями поведения. Едва ли не во второй или третий мой приезд Давид предложил мне

снять на лето дачу по соседству с собой, в Опалихе, и даже подыскал подходящую, и я даже сговорился с хозяином. Представить только, сколько встреч и разговоров сулило такое летнее соседство!.. Не только обстоятельства заставили меня изменить планы – сработал некий инстинкт, может быть, инстинкт самосохранения. словно я боялся утратить что-то в себе, чему-то поддаться.

Тогда я, пожалуй, не отдавал себе в этом отчета. Я говорил себе другое: надо сначала закончить «Этюд о масках», очередную повесть, над которой я тогда работал – надо оправдывать и подтверждать такое отношение к себе. И в этом уже было, наверно, что-то ненатуральное, нервное. Интенсивность первоначальных отношений словно сбивала какое-то простое равновесие. Я вдруг становился мнителен к оттенкам разговора, к перемене интонации. Вдруг начинало казаться, что я что-то не так сделал или сказал, был неправильно понят, чем-то даже его обидел, хотелось что-то исправить, объяснить, может, написать письмо. Хотя он-то, скорей всего, забывал обо мне и моих словах, едва я уезжал, и вовсе не перебирал, как я, в уме подробностей и оттенков разговора... Да, было тут, пожалуй, что-то болезненное – так ведь сама влюбленность, говорят, состояние отчасти патологическое.

Но я все-таки не о себе – тема существенна постольку, поскольку имеет отношение к Давиду. Он начал подшучивать над моими «комплексами» – опять, разумеется, в присутствии других.

– А у кого их нет, комплексов? – заметил как-то один из присутствующих.

– У меня, – мгновенно откликнулся Давид. – Я лишен комплексов начисто, от рождения, как бывают лишены слуха.

И в другой раз – тоже в ходе разговора о комплексах:

– Будь уверен в своей правоте, в себе. Что прав ты и только ты.

Я заметил, что о том же говорит Мандельштам: талант есть сознание своей правоты.

– Вот у кого не было определенности, – сказал вдруг Давид. – Он всю жизнь метался между иудейством и эллинизмом.

Тут я начал спорить (я полней, возможно, еще воспроизведу этот разговор в другом месте). Я начал говорить, что в этих метаниях между иудейством и эллинством выразилось по-своему великое мироощущение, что литература, созданная «комплексами», может быть великой...

Потом я еще продолжал этот спор по дороге домой и дома. Я перебирал имена людей, которых вряд ли можно считать совсем свободными от «комплексов»: Достоевский, Кафка, тот же Мандельштам – и думал, что, пожалуй, не зазорно оказаться в такой компании. Может, в «комплексах» следует видеть не только слабость, может, они по-своему обеспечивают богатство и полноценность психической, а еще больше творческой жизни. «Лишен комплексов, как бывают лишены слуха», – формулировка по-своему красноречивая, не так ли? Может, в гармоническом, непротиворечивом восприятии мира тоже есть своя ограниченность...

У меня потом будет еще немало поводов поразмышлять на эти темы.

Мой «Этюд о масках», кстати, Самойлов принял, в общем, благосклонно, хотя с оговорками, тоже что-то о нем говорящими.

– Я понял, что мы в некотором отношении писатели прямо противоположного типа, – сказал, в частности, он. – Ты показываешь разложение, когда общество делает из людей маски. Я, напротив, хочу показать, как, несмотря на все, люди остаются людьми.

Были еще интересные рассуждения о масках в армии; записанной оказалась лишь фраза: «Но когда этих людей посылают на смерть, умирают они без масок».

Дело не в том, насколько справедливо отнести его слова ко мне. Мне-то самому кажется, что все, написанное мной, как раз было попыткой сопротивляться разложению, показать, как люди остаются людьми. Во всяком случае, я сознательно думал об этом, особенно в последние годы, когда обычным стало воспроизведение в литературе хаоса и распада едва ли не адекватными средствами.

(Сейчас вдруг подумалось: а не засела ли у меня в подсознании давидова фраза? Не помогла ли она мне что-то для себя отчетливей сформулировать?)

Интересно другое. Тогда я еще не знал, что почти в то же самое время схожие слова были сказаны им В. Корнилову – они воспроизведены в упомянутом дневнике: «Тебя интересует деструкция жизни, а меня конструкция. Тебя – почему жить нельзя, а меня – почему можно» (24.04.1973).

Тут явно чувствуется какое-то уже сформулированное общее убеждение, которое при случае как бы прилагалось к достаточно разным явлениям.

Читавшие мою повесть «День в феврале» обнаружат сходную сентенцию в разговоре Пушкина с Гоголем. Стоит ли говорить, что я никак не проецировал одного из нас на Пушкина, другого на Гоголя. Но все же не случайно я впоследствии посвятил эту повесть Самойлову. Что-то в ней отозвалось, что-то оказалось с ним связано: мотив бурного первоначального обожания, мотив невольного противопоставления... Там восторженный, дурно воспитанный, самолюбивый провинциал добивается каких-то проясняющих слов от своего кумира – и лишь много времени спустя, после совершившейся трагедии, до него доходит, что у человека, с которым он говорил, была своя драма, своя тайна и горечь, к которой он даже не способен был проявить интерес. «Ему-то какая печаль могла смущать сердце?.. Это был другой возраст, возраст старших, учителей, которых едва ли мыслишь в смятении и одиночестве; разговоры с ними выходят неумышленно корыстными, для себя – да и с чего бы наоборот? им-то чего ждать от тебя, ты ли им поддержка и советчик?»

Мог ли я в самом деле тогда, в 1973–1974 годах, когда писалась повесть, думать что-то подобное о Давиде? Ведь у меня в ту пору, пожалуй, и представления не было о его действительных проблемах, о каких-либо драмах и тем более одиночестве – чему-то еще лишь предстояло развиваться, что-то стало приоткрываться намеками лишь в посмертно опубликованных строках. В этом смысле он был человеком сдержанным,

к откровенным излияниям не склонным – да и внешне, казалось тогда, у него было вроде все в порядке...

Вдруг вспомнился рассказ общей знакомой, какой благодарностью откликнулся Давид на ее доброе письмо по поводу опубликованного стихотворения. «Какие же мы, читатели, все-таки сволочи, – сказала она. – Нам в голову не приходит, что для него это может быть важно».

Мне, признаться, это тоже не приходило в голову. Он представлялся мне таким знаменитым, уверенным в себе, знающим цену написанному им, что всякие слова по этому поводу казались излишними.

В своем нынешнем возрасте я, пожалуй, больше способен понять его, тогдашнего, чем себя.

## 2. Разговоры

От Давида я впервые услышал про записки Л. Чуковской об Ахматовой, у него же потом впервые прочел рукопись.

– Чуковская воспитывалась в культурной семье, где понимали цену таким разговорам, понимали, что их необходимо записывать. И надо было, между прочим, самой что-то из себя представлять, чтобы удостоиться присутствия при разговоре Ахматовой с Пастернаком.

Он возвращался к этой мысли не раз, хотя сам этому правилу далеко не всегда следовал. В том же дневнике досадно бывает читать: «Долгий, интересный разговор с Н.» – и я-то могу представить, насколько это был действительно интересный разговор – но редко цитируется хотя бы фраза. Разве что за той же Ахматовой он кое-что записал и в своих воспоминаниях о ней изрядное место уделил просто воспроизведенным без комментариев разговорам.

Меня-то убеждать было не надо, я записывал постоянно, по свежей памяти стенографическими значками; все цитируемые на этих страницах разговоры воспроизводятся по тогдашним же записям. И сейчас я сижу в некотором замешательстве над накопившейся бумажной грудой: кто это все разберет

без меня? А там, право же, немало интересного. Попробую воспроизвести хоть немного из записанного, сокращая малосущественное или существенное лишь для меня (а также по большей части рассказы и суждения, которые нашли место в его собственной прозе) и, быть может, заменяя некоторые имена инициалами. Давид, правда, в собственных дневниках не стесняется называть всех своими именами – но это его право. Меня он не уполномочивал передавать свои застольные суждения о живых людях, нередко запальчивые, особенно после выпивки. Но они бывают интересны сами по себе, безотносительно к той или иной личности, поскольку характеризуют самого Давида.

17.03.1972. «Когда наше поколение пришло с войны, мы думали: нас встретят с распростертыми объятиями. Отвоевались, сделали свое дело, теперь все пути открыты. А оказалось, все места уже заняты – людьми немного более старшего поколения, марксистами 20–30-х годов. И когда началась борьба с космополитами, мои сверстники поняли, что это для них шанс пробиться. И помогли топить тех, чтобы занять их место. Ведь среди этих космополитов, если уж так говорить, были самые сволочи, те, кто выжили в 37-м году и помогали бить предшественников. Вот тогда-то на их место пришли мои сверстники. Мое поколение, я считаю, самое сволочное поколение...»

О литературном начальстве. «Они страшно ущемленные люди. Даже удивительно: кажется, у них все есть: власть, привилегии, деньги, что угодно. Но они необычайно ущемлены. Всюду им чудятся враги, за границей им нехорошо, все время какие-то комплексы. Страшная жизнь».

06.05.1972. В Опалихе местные жители уже начали отмечать День Победы, привинтили медали, пьянствуют. Заговорили о войне, о том, что люди, помнящие войну хотя бы с детства, отличаются по психологии от тех, кто родился после войны и ничего не помнит.

Давид вспомнил, как несколько раз встречали День Победы, начиная с 30 апреля. Объявляли, что война окончена, а потом



опровергали. Какой салют устроили – на полный боекомплект. И как обидно было погибать в последние дни, в Берлине, в Праге.

– В общем, – вставила Галя, – как сказала твоя мама: хорошо, что тебя не убили.

– А какая тема: бабы после войны, – сказал Давид. – Невесты, которые остались без женихов. Бабы на войне. Вообще бабы и мужики на войне. Это совершенно другое сознание...

О местных жителях:

– Эти люди совсем потеряли совесть. Водопроводчик вымогал у нас деньги, ничего не починил. А потом оказалось, что и чинить ничего не надо было – просто отвернуть один кран. Слесарь взялся чинить отопление, снял и унес все, что только можно было, теперь отопление совсем не работает. И при этом все хамски считают, что ты их эксплуатируешь, что ты не уважаешь физический труд, все жалуются, какая тяжелая работа, все требуют не только денег, но и разговоров... А в корне всего лежит ненависть к интеллигенции и хамство. В общем, иногда просто испытываешь взрыв классовой ненависти.

Почему у него не бывает денег:

– Я зарабатываю не так уж мало. Сейчас прекрасная кормушка для переводчиков – серия «Библиотека всемирной литературы». У них тираж 300 тысяч экземпляров. Сейчас должны выйти 17 томов с моими переводами. В месяц у меня выходит рублей 700. Но за службу дома всем этим ворам уходит рублей 100. Сам дом стоит много. Потом я даю маме, старшему сыну. Вот уже не питаю, не едено уходит масса денег. Потом, у нас всегда гости. Я сам человек пьющий. А главное, нерегулярность поступлений...

15.06.1972. Рассказ Самойлова, как он в 1953-м вышел на пустынную улицу Кирова купить вина, чтобы отметить со старыми знакомыми смерть Сталина, и боялся, что его сейчас арестуют. А Слуцкий ходил на похороны, его там чуть не задавили. Незадолго до этого он спросил Слуцкого: «Ты любишь Сталина?» Тот подумал и сказал: «Люблю». – «А я не люблю», – сказал Давид.

Историю с выступлением Слуцкого по поводу Пастернака Самойлов объясняет так:

– Когда начался «ренессанс» в поэзии, Мартынов и Слуцкий были поэтами № 1 и № 2. Слуцкий из скромности поставил себя на второе место. Он всерьез говорил, что Мартынов – поэт посильней Пастернака. Пастернак и Ахматова как-то выпадали из представления о ренессансе. И вдруг во все это непрошено вторгается Пастернак. Я помню знаменитую фразу Мартынова: он нам все нагадит. Мол, власти теперь испугаются, начнут давить – и пропал ренессанс. Этим и объясняется выступление Слуцкого. Он сильно потом переживал. Сразу же после того заседания, я помню, он ко мне приходил. Он, в общем-то, за это уже расплатился внутренне. И что самое паршивое: какой-нибудь подлец Е. или С. всегда может его этим кольнуть: я-то не выступал.

26.06.1972. Давид по поводу речей Саши, сына А. Якобсона: «Мыслить категориями может только зрелый ум. Незрелый ум, начавший мыслить категориями, становится отвратительным».

По поводу моей статьи об иронии у Томаса Манна прочел из дневника очень умные мысли об ироничности христианства, верней, Христа, который был терпим и двойствен, в отличие от нетерпимых церковников. Вообще о христианстве и современных христианах, которые приходят к вере не закономерным путем, путем многолетней внутренней духовной работы, а воспринимая чужое.

Вдруг позвал меня к себе в кабинет, стал читать большую поэму, над которой сейчас работает. Очень сильная глава «Моление о сыне», намного сильнее всей поэмы.

18.07.1972. Самойлов читал начало своей статьи о Солженицыне, первоначально задуманной как письмо ему об «Августе», который ему не понравился; он даже считает его вредным. После того как он упомянул об этом в письме Л. Чуковской, та рассказала о нем самому Солженицыну и передала от него

Д.С. предложение издать все критические отзывы (которых много) неким самиздатским сборником, чтобы он ответил на них сразу. «Хитрый мужик, хочет выставить всех на избиение. Не говоря о том, что там много мест, которые не понравятся властям предрержащим»...

Разговор о том, что современные поиски в духовной области все-таки заимствованы (нынешнее христианство, в частности; Давид сейчас читает Вл. Соловьева). Он считает возможным появление большого мыслителя, философа и писателя, который осуществил бы синтез и предложил новое осмысление современного состояния общества. Пока все силы были затрачены на то, чтобы отделиться от прошлого; только недавно с этим было покончено.

02.08.1972. Ехал на автобусе и загадал: будет номер билета делиться на 3, поеду к Самойлову, нет – не поеду.

Номер не совпал, но я поехал...

Давид встретил меня радостно: у нас два дня никого не было, сидим, как в берлоге. Он был в трусах, со старыми, тонкими, в узловатых белых бородавках, ногами, с большим животом, с седыми усами, которые начал отпускать и которых я так не любил, считая, что они делают его похожим на Безыменского.

– Хочешь английского джина?

– Не хочу, жарко.

– Зато я хочу. Нет в тебе чувства солидарности.

– Тогда и я хочу, – опомнился я.

На столе появились полбутылки джина, но там оказалась вода.

– Я решил доказать Гале, что женщина все-таки глупа. Как может стоять открытая бутылка джина, и чтобы я не выпил? Я выпил ночью, и мне было хорошо.

– А воду-то зачем было доливать? – хмыкнула Галя.

Появилась новая, непочатая бутылка, отличный белый джин. Давид привез его из ЦДЛ вместе с цыплятами-табака, шашлыком, орешками и прочим. Он сказал буфетнице: дайте

мне что-нибудь для дома, для семьи – и взял пакет, который ему соорудили, не глядя.

Что нового? «Самым значительным событием за последние три дня была смерть гениального комика Енгибарова. Он умер 37 лет. Это был мим не ниже Марсея Марсо, прекрасный эквилибрист – и гениальный клоун. Я знаю женщину, которая была его первой женой, сейчас она жена прозаика В. Прозаик сманил жену у клоуна. Как она могла поменять гениального клоуна на рядового прозаика?»

Выпили за клоуна. Разговор пошел уже немного пьяный. Говорили о Белле как о клоуне. Я еще никогда не видел Давида таким разморенным.

– Я последнее время не мог работать. Переводы. А если я с утра посидел над ними, писать свое я уже не могу. Тем более, что я не умею делать усилий.

Рассказывал, как читал Слуцкому главу о нем из своей книги, и Борис принял ее с большим благородством, хотя там есть много горького для него. Кое с чем поспорил по частностям, засомневался: неужели я так говорил? Потом согласился, что мог и так сказать. «А я и не знал, что имел на тебя такое влияние. Я был провинциал, я всем завидовал».

Поговорили о Слуцком как прекрасном человеке.

Я довольно сильно окосел – от жары и на голодный желудок. Давид надписал мне книгу и вышел в сад жарить шашлыки.

Когда я вышел к нему, он играл с Петром.

– За что он меня так любит? Ведь я ему ничего хорошего не делаю, не кормлю, не меняю штанов. А правда, милый типус?..

Мы жарили шашлыки. Давид ушел в дом и вдруг вышел в коричневой куртке с целым комплектом боевых медалей и орденов: орден Красной Звезды, значок «Отличный разведчик», медаль «За отвагу», «За взятие Варшавы».

– Я хотел произвести на тебя впечатление, – сказал он.

Остался у них ночевать. Утром Давид вышел веселый. Вдруг сел надписывать мне книгу. «Ты же вчера уже надписал». – «Забыл»... Потом: «А я тебе рассказывал, что читал Слуцкому главу о нем?»

12.10.1972. Разговор с Самойловым, может ли талант быть жестоким и подминать других. (Я перевел разговор на своего Прохора.)

Давид: «Талант, как явление природы, как деревья, вода или солнце – не может никого подминать. Талант не может быть безнравствен, ибо по идее, по определению соотнесен с представлением о бессмертии души – в отличие от дарования, которое есть ремесленная способность».

Рассказывал о своем пребывании в Тбилиси. «Зачем тебе ходить по городу? – говорил он Гале. – Видишь эту гору? Ну, и достаточно. А ходить на нее незачем». И все время в Тбилиси провел за менявшимися пиршественными столами. Но при этом пишет прекрасные стихи о городах, в которых бывал.

Говорит, что в нем нет специального интереса к природе, его не тянет идти в лес, любоваться закатом, он не увлекается рыбной ловлей или купаньем. «Я живу в природе», – говорит он – и пишет прекрасные стихи о природе.

«Стихи не пишутся, а записываются», – говорит он, но записывает тотчас и точно, и не только стихи, но и мысли для прозаической книги. За письменным столом у него рождаются лишь переводы – это действительно работа, которая высиживается задом.

31.10.1972. Спросил у Давида, какое свое стихотворение в «Дне поэзии» он больше всего ценит.

– По-моему, там всего только одно стихотворение, – сказал он, – «Мне снился сон». А остальное – так...

08.01.1973. Приезжал ко мне Якобсон. Ни на минуту не мог присесть, все время ходил возбужденно... Он думает над отъездом в Израиль – ради сына. Для себя он ничего хорошего от этого не ждет... С Д. Самойловым у него по этому поводу было объяснение, дошедшее, как сказал Тоша, чуть не до истерики с обеих сторон. Давид, по его словам, не только лично привязан к нему, он в нем нуждается, потому что проверяет на нем каждую строчку своих стихов и своей прозы.

17.01.1973. У Самойлова. Читал мне три новых стихотворения и отрывок из прозы: о правдолюбцах, правдознатцах и праведниках. Умно. Ему сейчас предлагают печататься, но слишком много звучать он не хочет. «Мне достаточно двух-трех стихотворений в год, я не хочу 20–30.» Написал несколько заявок на издание уже готовых стихов и переводов – надеется некоторое время прожить, не печатая ничего нового.

24.02.1973. У Самойлова... Разговоры о Якире и Красине... Ю. Даниэль говорил о том, что нельзя разделять нравственную сторону личности и дело, которое он делает.

Давид сказал:

– У этих людей всегда сильная табель о рангах. Они считали себя руководителями, вождями. Следовательно, наверно, сумел повести с ними речь именно как с руководителями: мол, с вами ведут переговоры высшие уполномоченные со стороны государства. Им показалось лестно почувствовать себя высокой договаривающейся стороной.

Один раз он сделал оговорку: «Я, конечно, сам не сидел и не вправе судить...». Ю. Даниэль даже всплеснул руками: «Как ты можешь так говорить? Какое имеет значение, сидел человек или не сидел. Право судить определяется нравственным обликом человека...».

Из шуток Давида: «Я отпустил усы. Теперь у Слуцкого усы, у Левитанского усы – можно говорить о поэтическом направлении».

12.04.1973. Циля Израилевна, мать Давида, ревниво относится к его болезням. «У меня гипертония». – «У меня тоже, еще посильней». Но вот он чуть было не вырвался вперед: у него нашли катаракту, прогрессирующую; видно, придется делать операцию. Маму это на некоторое время озадачило. Но недавно в разговоре она произнесла: «Да, а что касается катаракты, так у меня их две».

01.06.1973. День рождения Самойлова. Я сумел освободиться поздно, приехал, когда все были уже пьяны. Давид вначале меня как будто не узнал. Он был в темных очках, его катаракта прогрессирует, на сильном солнце он совсем не видит. Заплетающимся языком читал стихи Копелеву.

Сказал: «Старик, я по тебе соскучился»...

Я переночевал у них... Утром зашли с ним в новый ресторан «Опалиха», посидели за рюмкой коньяку. Давид упомянул, что Якобсону не понравился «Ночной гость» и стал мне читать, комментируя. До меня впервые дошел смысл этих стихов: возможность найденной гармонии, которая так и осталась пока неопределенной. «В этих стихах я впервые позволил себе употребить ассоциации из прошлых стихов, не заботясь о том, поймут ли это читатели или нет»...

О Мандельштаме. «Мандельштам – первый поэт, показавший, что в России существует великая поэзия. Великая русская поэзия стала складываться сравнительно недавно – лет 150 тому. Мандельштам первый овладел огромным богатством ассоциаций, созданных этой поэзией. Он первый стал писать знаками, как французы, у которых традиция накоплена издавна. Сложность Пастернака на поверку оказывается не такой уж сложной, ее можно расшифровать, исходя из самого же стиха (он на ходу объяснил какую-то сложную строфу Пастернака). Но когда Мандельштам говорит: “Я трамвайная вишенка страшной поры” – за этим огромное богатство ассоциаций»...

О Цветаевой. «Одно время она некоторым казалась сложнее Ахматовой, хотя как раз наоборот. Цветаева мне кажется холодным и рассудочным человеком, который искусственно себя возбуждает. Проза ее быстро надоедает»...

Он в хорошем состоянии, в мире с собой и с жизнью. Белль прислал ему в подарок книгу о Нюрнберге; он сейчас в США.

– Они все великие писатели, – хмыкнул Давид. – А я нет, но мне и так хорошо.

08.06.1973. У Самойлова. Остался у них ночевать. Утром разговор, в числе многого прочего, о литературе.

Давид: «Есть два типа художников. Одни получают удовольствие от своей работы. Если их ругают, они думают: ну и дураки. Пушкин совершенно лишен параноидальных комплексов – как мании величия, так и мании преследования. В нем сочеталась гениальность с самочувствием и поведением обычного человека. Вот кто параноидален – это Р. Он не получает удовольствия от работы, а постоянно думает, что кому-то этим вставит фитиль. И колеблется между самоуничижением и непомерным честолюбием. Он артист, поэтому у него это проявляется особенно наглядно. Или вот М. Он отгородился в своей скорлупе, потому что боится мнений, оценок. И он создал вокруг себя окружение, которое его оберегает. “Ах, знаете, он такой ранимый!” По-человечески он несчастен. Легко говорить со стороны, но это, очевидно, дано от природы. Или В. Это несчастный человек. Для него любая чужая публикация – удар по самолюбию. Как будто все, что удастся другим, отнимается у него»...

Я заговорил о Пушкине и о Гоголе.

Давид: «Выработались штампы в понимании литературного процесса. Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил. А что было? Просто услышал на экзамене способного мальчика, похвалил, тем более что писал тот в его, державинском духе. А никакой передачи лиры не было. Думаю, что и разговоры о влиянии Пушкина на Гоголя преувеличены. Они развивались самостоятельно... Пушкин мог приветствовать и поддерживать даже тех литераторов, которые ему были не очень интересны. Думаю, Гоголь был для него провинциальный писатель школы Нарезного»...

### 3. Трудное время

Прерву на время цитирование: разговор исподволь подходит к другим временам, другому этапу его жизни. У самого Давида Самойлова было отчетливое чувство таких этапов:



у поэтов они нередко документируются книгами стихов. Давно ведь замечено, что книга – все-таки не случайное собрание отдельных стихотворений.

«Формировался я долго, – можно прочесть сейчас в дневнике от 5 мая 1977 г. – В 38 лет (“Ближние страны”) я еще – ранний Самойлов. Во “Втором перевале” – (43 года) я “средний”. Только с “Дней” что-то начинается. А я все удивлялся, что нет признания (где-то видел в себе больше, чем было, и думал, что оно уже наличествует в стихе). Но публика – она не дура. С “Дней” и начала меня замечать».

Можно бы тут поспорить: его заметили и после «Ближних стран», и особенно после «Второго перевала». Но, пожалуй, время между книгами «Дни» и «Волна и камень» – как раз, когда я с ним познакомился – было в самом деле порой наивысшего его расцвета. Он не поощрялся официальным начальством, публиковался не часто и почти каждый раз со скрипом – репутации его это лишь способствовало. Книг его было не достать, на вечера в ЦДЛ спрашивали билеты от самого Садового кольца...

Правда, едва ли не четверть зала казались мне теперь знакомыми – по встречам у Самойлова или по другим вечерам; это была отчасти «своя» публика. Тут, к слову сказать, была определенная проблема. Давид, как уже здесь было замечено, сам прекрасно сознавал, какими опасностями для трезвого творческого самоощущения чревата замкнутость в среде «своих», слишком уж безоглядно преданных, заранее восхищенных читателей.

В уже цитированной записи 22 февраля 1972 года после слов об усталости от общения можно прочесть: «Выход из круга прежних друзей, создание нового круга, новое самосознание». Я в самом деле мог убедиться, что лишь немногие из тех, кто упомянут был в дневниках предыдущих лет, появлялись теперь за опалихинским столом – у него и в этом смысле было чувство, а верней, четко сформулированное осознание некоего нового этапа.

И вот снова что-то менялось, начинало как бы себя изживать. Отчасти, конечно, дело было в возрасте и уху-

шавшемся здоровье; он уже не так хорошо выдерживал прежние нагрузки. Я еще застал времена, когда выпивший Давид не особенно отличался от трезвого – был так же умен, воспринимал собеседника и отвечал за свои слова. При всех физических недугах психологически он был устойчив невероятно; наутро после бурного застолья садился за работу как ни в чем не бывало. Последнее время его, выпившего, все чаще «заносило»: «А я говорю, что никакого отчуждения нет! Все это вздор!». Или: «Т. не может хорошо писать. Ты посмотри, как он ест. Он ест, как человек, которому надо выкакать то, что он съел».

Впрочем, так все чаще случалось, увы, не только после выпивки. А. Якобсон как-то сравнил мысль Самойлова с танком, который прет напролом, сметая возражения и преграды. Он всегда любил (если не говорить о стихах) формулировки четкие и даже категоричные – эта категоричность начинала мне порой казаться чрезмерной, в ней появлялся оттенок вещания, все чаще хотелось с ним спорить, но все меньше это имело смысл. Он нуждался в собеседнике, но скорей для того, чтобы отточить собственное, уже непоколебимое убеждение. И мнение свое умел внедрять.

Но, может, тут дело было скорей во мне. Я переболел первоначальной безоглядой увлеченностью и становился поневоле критичней. И самым-то главным, самым трагичным было другое – он все ощутимей слеп.

Мужество, с каким он переносил и саму болезнь, и угрозу утраты зрения, было поразительно; жаловаться он себе не позволял. Ему пришлось перенести не одну, а серию операций, исход каждой был под вопросом. Я навещал его в больнице. Доходили сведения, что он написал завещание – и тогда все сжималось внутри, и я понимал, что значит для меня этот человек.

Между тем летом 1973 года у него родился сын, Павел. Мы встретились с ним в роддоме у Гали, расцеловались.

– После Петра мне не советовали ребенка, – сказал Давид. – Но я фаталист...

Требовалось все больше работать, чтобы прокормить семью, а работать становилось все труднее. Некоторые записи тех лет приоткрывают кое-что в тогдашнем его самоощущении\*.

«Ощущение клячи, безнадежно тянущей воз. Нужно думать о деньгах и прочем. Ощущение тупости в мозгу» (11.05.1974). «Видимо, жизнь моя сейчас может состоять только в зарабатывании хлеба насущного. Большое семейство и здоровье заставляют отказаться от всех остальных планов» (30.10.1974). «Настроение тяжелое. Чем дальше, тем труднее работать, чтобы обеспечить семью. На остальное времени нет. Стихи как будто вовсе отпали. Надо мной властвует волевой момент: надо! А я иногда кричать готов: не могу» (16.06.1975). «Пробовал сочинять стихи и понял, что не могу выдать того усилия, которое, оказывается, требуется при сочинении простейшей строки. Недаром врачи запретили Ахматовой сочинять после инфаркта» (18.07.1975).

Тогда я этих строк, конечно, не знал. Кое-что прорывалось лишь иногда, намеками, по настроению. На необходимость заниматься переводами, например, он, в отличие от многих (от меня в том числе), как правило, не жаловался, наоборот, уверял, что переводы в свое время помогли ему «нарастить поэтические мускулы».

И внешне – для других – продолжалась как будто прежняя жизнь. Он сам еще поддерживал эту инерцию. «Жить в пробирке я не умею и не хочу. Это значит только беречься, не писать стихов, не пить вина, то есть быть машиной для удобства окружающих, вроде стиральной машины», – записа-

---

\* Надо только иметь в виду, что в дневниках вообще фиксируются чаще моменты слабости и уныния, чем моменты ровного самочувствия. И это понятно: дневник в известной мере служит психологической самотерапией. Смутные тревоги, сформулированные и проясненные словом, начинают казаться не столь серьезными, не столь гнетущими; слово помогает овладеть своим состоянием. «Дневники чаще всего напоминают прерывистую кривую барометра, который регистрирует лишь моменты самого низкого давления, а высокое не отмечает», – пишет Макс Брод по поводу дневников Кафки.

но там же, в дневнике 10 июня 1974 года. Можно, конечно, покачать головой над тем, что в один ряд оказались поставлены вино и стихи, но смысл-то ясен.

В мае 1975-го мы с друзьями перевозили его имущество из Опалихи в новую квартиру на Пролетарском проспекте. Перед тем, как занести рояль, грузчики устроили хорошо, наверно, известный спектакль: стали говорить, что рояль невозможно поднять по узкой лестнице. Мы по интеллигентской своей неопытности не сразу поняли, что они просто требуют дополнительные деньги, стали вести какие-то нервные переговоры: не оставлять же было рояль на улице. Давид сидел в еще неустроенной комнате мрачный, не желающий ничего знать обо всей этой мерзкой суете. Переезд вообще получился нервный, чересчур поспешный; в Опалихе пришлось оставить не только часть вещей, но и часть архива, многое пропало. Наконец, мы сообразили, что от нас требуется, и грузчики чуть ли не бегом, как перышко, внесли рояль через все этажи...

Воссоздать на новой квартире Опалиху не удалось, это было и невозможно. Слишком многое изменилось, Давид прежде всего. По-настоящему новым домом стал для него уже лишь дом в Пярну.

21.06.1973. Давид все больше слепнет. Приезжала Л.К. Чуковская, привезла лупу с сильным увеличением, толстые фломастеры, чтобы лучше было видно написанное, обещала похлопотать насчет хорошего врача.

19.09.1973. Давид совсем ослеп. Переутомил второй глаз и теперь просто ничего не видит, писать не может совсем... И при всем этом такой же веселый и открытый. Через месяц ему должны сделать операцию, сначала на одном глазу, месяца через три на втором... Жалуется, что потерял свою лабораторию: есть строчки, обрывки, которые, может, плохи и никогда не пойдут в дело, их трудно диктовать даже Гале, это интимные вещи. Кое-что он все-таки ей диктует. Предложили

ему магнитофон, он сомневается, что сможет говорить вслух: некоторые вещи вслух не произнесешь, это интимно.

Сочинил стихи про слепого:

Поводырь ведет слепого

Любопытного такого.

– Что там, что там, поводырь?

– Это город Алатырь.

Очень скоро он отключился, пробовал читать с запинками стихи. Говорил, что Л. Чуковская особенно оценила строчки: «Не склоняй доверчиво слуха к прозревающим слишком поздно».

– Я не люблю прозревающих слишком поздно.

Та же мысль и в его главе о Пастернаке: человек формируется однажды и навсегда, время уже ничего не изменит.

Я попробовал ему напомнить, как он хвалил В. Максимова именно за мысль: никогда не поздно начать сначала. Но говорить с ним нормально было уже невозможно.

В подпитии о Есенине:

– Негодяй, хам, сволочь, от него пошло все хамское и сволочное в нашей поэзии – но поэт гениальный!

08.11.1973. Навестил Давида в больнице. Говорили главным образом о Габае. Он настойчиво, после каждой реплики повторял мне: «Я считаю, ты должен написать о нем. Стихи его, которые я прочел, показались мне не поэзией, но личность это, видимо, была замечательная. Это гораздо более важно, чем стихи. Если бы у меня был такой прототип, я бы отложил все дела и сел писать о нем. Житие праведника – не правдоискателя и не правдолюбца (он напомнил о своем подразделении; сказано это было в ответ на мое разъяснение, что Илья сам понимал тщетность своих усилий, но действовал независимо от этого) – это сейчас нужней, чем когда бы то ни было. Тебе придется затронуть вопросы, касающиеся многих других людей, без этого не обойтись».

И опять: «Я считаю, ты должен отложить все остальное и написать о нем. Может быть, немного».

Я попробовал ему объяснить, как понимаю стихи Габая, напомнил о связи с традицией пророков, прочел «Язык псалмов, пророчеств, притчей».

– Ну и очень плохо, что он сам выбрал себе школу. Когда поэт говорит, к какой школе он принадлежит – это плохо.

Я принялся объяснять, что он не выбирал, а лишь задним числом констатировал свою связь с определенной традицией. Вот Мандельштам, например, написал о своей привязанности к немецкой речи...

– Мандельштам в 17 лет написал: «На стекла вечности уже легло мое дыханье и мое тепло». Это мироощущение сильней, чем «язык пророков».

08.12.1973. Поехал к Самойлову. Он выглядит хорошо, врачи обещают 100 % зрения, но полгода надо будет беречься, не пить, не поднимать тяжестей. Быстро устает. Говорили о слухах, будто Сахаров собирается уезжать. Давид относится к этому неодобрительно. У Сахарова была уникальная и очень сильная позиция, он был моральным судьей, защитником, и вдруг окажется, что результат всего – устройство своей судьбы...

Читал ему стихи Ильи. После молитвы Бога («Не предавай меня, Иов») он сказал: «Это интересно». «Волхвы» тоже местами нравились. Но в целом отношение не изменилось: это прекрасный человек, но нет «шкуры», живота; он по устройству своему не поэт. Слова у него взаимозаменяемы. Разговор о близости к библейской традиции отвергает. «Нет, в Библии непосредственная мощь, и это крепко сделано. А тут интеллигентские размышления. И ссылка на Радищева не верна, у Радищева не было косноязычия, у него был мощный, действительно библейский язык, недаром им так восхищался Пушкин. Он просто старомоден, это другое дело. Но в любой прозе об этом человеке стихи Габая будут звучать чрезвычайно убедительно»...

30.12.1973. У Самойлова... Он говорил о Мандельштаме, которого сейчас читает. Очень ему не по вкусу разно-

чинное самоощущение Мандельштама. «И нападки на власть, на время, на людей за то, что не признают его гениальности. Он в 17 лет написал: «На стекла вечности уже легло мое дыхание и мое тепло». А в «Четвертой прозе» стал ругаться за то, что ему не воздают по заслугам. Ахматова не ругалась. Пастернак не ругался. Не было у него аристократизма. Ругается на бедного Горнфельда всякими словами, хотя, в сущности, сам виноват. Нет, стихи его прекрасны, но чем дальше, тем больше в нем неприятного. О письмах я не говорю. Почему он набрасывается на Иван Ивановича за то, что тот не понимает его стихов? Если не понимает, незачем с ним разговаривать, и не виноват он, что не понимает»...

03.05.1974. У Самойлова... Его сборник подвергся сильному цензурному вмешательству, выкинули «Ночного гостя», еще раньше «Блудного сына»; «Поэт и гражданин» называется теперь «Поэт и старожил». Давид переживает, но соболезнований не слушает.

– Если хочешь печататься в этой стране, надо делать выбор. Почему мы должны ждать лучшего отношения от власти, к которой сами не сделали навстречу ни одного шага?

О Даниэле, книгу которого мне дал:

– Литературной фактуры у него нет, но личность чувствуется и подтверждается. Он не политик, не правдоискатель и не правдолюб, но у него есть ощущение нравственного порога, дальше которого нельзя. Этот звоночек, зуммер у него очень четко работает.

08.06.1974. Читал своего «Гоголя»\* вслух Давиду. Он принял это всерьез, но хочет перечитать.

01.06.1975. День рождения Самойлова. Впервые он жаловался:

---

\* Повесть «День в феврале».

– Хреновое у меня состояние, никогда так не было. Совершенно не получается работать. Мне надо недели две спокойно поваляться на диване, чтобы пошло. А у меня нет такой возможности. Мне говорят: надо писать. А я не могу. Очень хреново. Заработки-то, конечно, я делаю, а работать не могу.

16–17.07.1975. Поездка из Нарва-Йыэссу в Пярну\* к Самойлову... Давид лежал больной, с рассеченным лбом: несколько дней назад в номерах семейных бань у него поднялось давление, он потерял сознание и ударился лбом о дверь. Сейчас приходит в норму, пытается снова работать.

Прочел у него воспоминания Чуковской об Ахматовой.

– И какой у нее интерес ко всему, – сказал Давид, – как она судит о политике! Никакой отрешенности от жизни. Какая постоянная энергия и отточенность мысли, постоянная работа. Вот собрались Ахматова, Чуковская, Эмма Герштейн – какие были разговоры! А о чем могут говорить, собравшись, В. с Е.?.. А ты заметил, как Анна Андреевна ценила читателя, возможность говорить с ним? А какой-нибудь А.Н., вертевшийся возле нее, мне говорит: «Как вы можете печатать свои стихи и выступать перед аудиторией? Мне достаточно 2–3 читателей». А Ахматова понимала, что оторванность от читателя – трагедия для писателя.

А ты заметил, как она пишет: не может быть поэта без техники? Галя, ты заметила?.. А тут мне М. начинает говорить, что дело не в технике, достаточно взлета таланта...

И вот говорят: аристократка, королева. А она самого простого происхождения. Из небогатой семьи. Просто она сама так держалась, так себя поставила.

О сохранении преемственной интеллигенции. Давид повторил свою мысль о несогласии с Солженицыным: оставалась и остается средняя прослойка интеллигенции, которая сохранила традицию культуры.

---

\* Этим летом Самойловы впервые отдыхали в Пярну и тогда же присмотрели для себя там дом. Я отдыхал в другом конце Эстонии, в Нарва-Йыэссу.



– Высший представитель интеллигенции сейчас – Сахаров. Пусть он, может, и не так хорошо разбирается в искусстве или литературе...

– Я убежден, что нельзя научиться понимать искусство. Это должно быть воспитано с детства. Человеку нужна среда. Не обязательно, чтобы он что-то писал или делал – нужна атмосфера разговоров, уровень.

12.10.1975. Давид приехал от друзей сильно пьяный. Странный разговор. Иногда он садился за рояль.

– Надоело все, – повторял он время от времени. – Надоело. Я медведь, ты понимаешь, Марик? Я медведь, и мне ничего не надо. Только написать поэму «Снегопад» и можно умирать. Надоело все.

Потом опять:

– Мне никого не нужно. У меня никакой табели о рангах. Мне нужно 10–15 человек... Я тебя люблю, Ю., В., мне это поколение нравится. А больше я не хочу ничего.

Вдруг взял лист бумаги, стал выстраивать окружающих по степени любви к ним. На первом месте оказался, конечно, Петр, я – где-то на пятом-шестом.

– А Тоша уже никакого места не занимает? – спросил я.

– Никакого, – ответила за обоих Галя.

22.10.1975. Давиду очень понравилось переданное мной «мо» Гершуни: «Достал “День поэзии”? – А что там? – Самойлов, “Письмо к вождям”<sup>\*</sup>».

Разговор об интеллигенции.

– Со времен Чехова существует убеждение, что русская интеллигенция должна испытывать чувство вины перед народом. Я, может, первый из нашего поколения, кто не испытывает никаких этих комплексов. Я соль русской земли. Интеллигенция. Пусть мне народ кланяется, а не я ему за то, что он меня хлебом

---

\* Речь шла о поэме Д.Самойлова «Струфиан», где отчасти пародировалось солженицынское «Письмо к вождям».

кормит. Тем более что он меня и не кормит. А чем не докормит, у Америки купим. – (Это говорилось уже в сильном подпитии.) – Кому я должен кланяться? Дяде Васе? У меня нет никаких комплексов.

Вдруг перевел разговор на меня:

– Что тебе нужно, чтоб была хорошая проза – избавиться от комплексов. Будь уверен в своей правоте, в себе. Что прав ты и только ты.

Я заметил, что о том же говорит Мандельштам: талант есть сознание своей правоты.

– Вот у кого не было определенности, – сказал Давид. – Он всю жизнь метался между иудейством и эллинством. Последние его стихи мне очень нравятся: «Мне на плечи кидается век-волкодав» – это замечательно. Он очень изменился к концу жизни. А вот Ахматова не изменилась.

Я все время спорил. И что Ахматова менялась гораздо больше. И что в этих метаниях между иудейством и эллинством выразилось по-своему великое мироощущение. Что литература, созданная «комплексами», может быть великой. Что стихи с ощущением эпохи появились у Мандельштама не к концу жизни, а были всегда...

Давид сказал, что для него Ахматова неизмеримо выше Мандельштама. Составил перечень гениальных поэтов: Маяковский, Ахматова, Пастернак, Хлебников. Цветаева туда не вошла, ее он поставил во второй ряд вместе с Заболоцким, Ходасевичем, Кузминым.

Очень резко отозвался о книге Синявского («Голос из хора»). Она показалась ему отвратительной...

– Лучше всех сформулировала Лидия Корнеевна: «Кого любят, того не покидают.» – (Он повторил эту фразу несколько раз.) – Я разлюбил Толю Якобсона, он для меня не существует. Кого любят, того не покидают. Человеку, который способен написать: «Россия – сука, ты мне за это ответишь», там и место. Там, в эмиграции, привыкли на все смотреть через жопу. Он эстет, сноб, ему все равно, где собой любоваться... Был процесс Синявского–Даниэля, сейчас он стал процессом Даниэля–Синявского.

Дал почитать повести Е. Носова: «Вот это настоящий писатель. У него есть уверенность». Я стал читать в метро: нет, это не для меня. И думаю: что же его три года назад пленило в моей прозе?

16.01.1976. Давид собирается поехать в Пярну оформлять покупку дома.

Разговор о современной прозе:

– Деревенская проза живет последнее десятилетие, скоро придет новое поколение, которое никогда не жило в деревне и не пережило процесс урбанизации, для них все это не будет звучать. Новое поколение будет ездить в деревню туристами. Деревенская проза сейчас сильнее, потому что деревенские проблемы разрешены. Сейчас можно написать и напечатать о том, что в деревне голодали и работали на истощение, как у Тендрякова («Три мешка сорной пшеницы»). А попробуй написать, как эксплуатируют рабочих на заводе. Городские темы все еще не разрешены.

О переводе:

– Поэт всегда переводит лучше переводчика, который не пишет своих стихов. Так, Лозинский – тупой переводчик. Поэзию он переводил безобразно и «Божественную комедию» перевел плохо. Шекспира, «Двенадцатую ночь», я, с моим посредственным знанием английского языка, переводил, имея перед собой его перевод, и местами это был просто подстрочник. Он переводил, например: «Мне все равно», а я видел, что надо сказать: «Мне это до фени».

О разговорах с поэтом М.:

– Этот человек боится всего: властей, КГБ, победы левых, победы правых, системы, и весь от страха перекручен, постоянно врет. Слушаешь его, слушаешь, и очень даже интересно, потом вдруг думаешь: а ведь это брехня. Когда он был помоложе, это воспринималось как талантливое фантазирование, он очень талантлив, но теперь это неинтересно. Он сам перед собой выкручивается, боится; таковы и все его романы, и в стихах чувствуется.

31.01.1976. Я сказал Самойлову, что пробовал читать моего «Гоголя» глазами цензоров или членов редколлегии и не нашел ничего, почему можно было бы не пропустить\*.

– А ничего и не нужно, сказал Давид. – Просто раз не похоже на других – этого достаточно.

О психологии начальства Союза писателей:

– В Доме литераторов для начальства есть бесплатный буфет. У меня все-таки не укладывается: и им не стыдно? Все же писатели. Вот в Доме творчества, в Малеевке, председатель Литфонда, вообще не писатель, административный работник, обедал не вместе со всеми, а в отдельной комнате. Так это еще понятно, он не писатель и в конце концов сам себя изолирует в гетто, теряет возможность общения – и кому он нужен? Во время поездок простые писатели едут в четырехместном купе, а начальство в двухместных. Они, избранные мной же, на мои же деньги едут. Это уже люди с извращенными ценностями.

Говорит, что готовит три новых сборника. Я спросил, а почему не сделать однотомник или двухтомник «Избранного».

– А мне не положено. У них точный распорядок, кому можно, кому нельзя. Секретарям Союза да еще Евтушенко можно, а мне нельзя.

---

\* В 1975 году зашел разговор о возможности впервые напечатать мою прозу: в «Новом мире» понравился «День в феврале», но требовалось снабдить его чьим-то авторитетным предисловием. Со мной посоветовались, кто бы мог это сделать, и я – перебрав несколько кандидатур, которые тут же были отвергнуты, – предложил Д. Самойлова. (Почему-то не сразу о нем подумал.) Он с готовностью согласился, только попросил, чтобы текст написал я сам.

– Оставь только места для эпитетов: талантливый, гениальный, это я сам впишу.

Я не без труда сочинил небольшой текст; помню, там цитировалась замечательная мысль Бахтина о «катарзисе пошлости» у Гоголя. Самойлов похерил все, оставив лишь несколько фактических данных, остальное все-таки написал сам, и мы стали ждать выхода журнала.

Странно, мы не всегда замечаем, как изменилась жизнь; мы забыли о временах, когда о публикации нельзя было говорить с уверенностью, пока уже готовый сигнальный экземпляр не будет подписан цензором.

Они с Галей только что приехали из Пярну, где купили дом. Показывали план. Я сказал: «Начинается новый период».

20.02.1976. Упомянул среди своих стихов неизвестного мне «Дезертира». Услышав, что я его не знаю, тут же прочел.

– Неожиданное стихотворение, – сказал я. – Меня всегда интересует, как возникают такие темы.

– Это стихотворение про Тошку Якобсона, – усмехнулся он... Что мне самому нравится – что здесь, по-моему, удался верлибр. Верлибр очень трудно писать. А здесь не переставить ни одного слова.

Говорит, что хочет менять паспорт (на Самойлова вместо Кауфмана). «А то возникает много неудобств. Деньги переводят на Самойлова, в гостинице номера заказывают на Самойлова. Правда, у меня есть билет Союза писателей, где я Самойлов. но каждый раз приходится объясняться. Очень неудобно. И Варьке хочу поменять фамилию. Ей лучше быть Самойловой».

Заговорили о том, можно ли прожить на литературу без переводов. Он стал подсчитывать: с 1958 года у меня вышло 5, ну будем считать, 6 книжек. Общим объемом столько-то листов, столько-то строк, по 1 рублю 40 за строку, практически все прежде печаталось в журналах, все это перемножим... Получается примерно 100–120 рублей в месяц.

Я сказал:

– Но если бы ты не занимался переводами, ты бы больше писал своего. Душа все-таки занята.

– Нет, – сказал он. – Вот сейчас я вполне могу не заниматься переводами. Но больше, чем могу написать, не напишу. Я в год вряд ли пишу больше 500 строк. Это, конечно, индивидуальный случай. Есть люди много пишущие. Вот Евтушенко – много пишет. А Белка Ахмадулина не занимается переводами и все равно мало пишет.

Он член редколлегии «Дня поэзии», читает множество стихов. «До чего все плохие стихи. Никому не хочется писать». Я передал мнение Озеровой, которая читает самотек, что «земля рождает».

– В прозе может быть. А стихи очень плохие. Есть хорошая деревенская проза, а деревенской поэзии нет.

– Странно то, – сказал я, – что поэзии по содержанию проще обойти цензуру.

– Не скажи. «Наш современник» распутинскую прозу про дезертира напечатал, а мое стихотворение про дезертира не печатают. Хотя у меня куда более безобидно.

06.04.1976. Прочел Самойлову начало «Габая» (дальше он слушать не мог, был выпивши). Он заявил, что это самая лучшая моя работа. По пьянке наговорил кучу комплиментов, вроде того, что это второе в русской литературе житие – после «Жития Симеона Ушакова». «А ты знаешь, что такое быть в русской литературе вторым?» – и т.д.

08.04.1976. Вечером позвонил Давид. Он прочел до середины.

– Очень интересно. Ты молодец. Создается образ личности, образ поколения. Может, хорошо бы немного больше вещных деталей, аромата: портреты, описания, пирушки. Ты здесь скорее концептуален. Это же повесть. Хотя ты явно любишь его, ты все же способен описать его объективно, как повествователь. Стихи его... но ты и не старался убедить, что это хорошо. Он, конечно, поэт по природе своей, но поэт без стихов. Бывает же музыкант без музыки, глухой, как Бетховен... В общем, это этапное произведение.

13.04.1976. Встретились в Гослите, Давид отдал мне «Габая». Получили деньги, зашли в ресторан у Земляного вала.

Из разговоров. О «Прогулках с Пушкиным» Синявского:

– Умно, талантливо, но... противновато. Неприязнь к традиционному пушкиноведению с его долбоебством понятна, оправданна. Но для меня, например, образец отношения к Пушкину – Ахматова. А он Пушкина готов через жопу ебать.

Заговорили о перспективах нашего развития. Я заметил, что от возврата к Сталину верхи должно бы остеречь

чувство самосохранения: история чему-то учит и потому не повторяется.

– Я считаю, история вообще не повторяется, – сказал Давид, – и это доказывает, что Бог есть. Если бы событие могло повториться дважды, оно могло бы повториться бесчисленное множество раз, и это бы доказывало, что правы материалисты.

О солженицынском «Теленке» вдруг сорвалось: «Это житие хама».

В ресторане я заказал 250 грамм коньяка, он поправил: 300. «Никогда не заказывай неровные числа». После чего официантка прониклась к нему уважением и обслуживала нас особо предупредительно. «Это молдавский коньяк, – угадал он. – Он не так сладок, как армянский или грузинский». Потом мне пояснил: «С профессионалами надо показать свое профессиональное знание. А знаешь, как я угадал?» – «Как?» – Но тут он перевел разговор.

– Ты, я вижу, не ресторанный человек. А я ресторанный. Я люблю саму атмосферу ресторана. Я предпочту пообедать в ресторане, даже если могу пообедать дома...

#### 4. Врозь

Это была одна из последних наших встреч перед отъездом Самойлова в Пярну, теперь уже в собственный дом. Начинаясь действительно новая глава в его жизни, для меня во многом закрытая. Мы встречались теперь лишь во время его редких приездов в Москву, да понемногу переписывались.

От одного из друзей я тогда услышал суждение, что жизнь в Пярну стала для Давида чем-то вроде полуэмиграции; она среди прочего избавила его от необходимости опасно вмешиваться в общественную жизнь. Пока он жил в Москве, для него это составляло известную проблему.

В дневнике Самойлова от 30 мая 1974 года есть запись о разговоре с молодым киевским поэтом И. Померанцевым. «Он говорил, что меня читают и, главное, уважают за позицию. Этим обязательно надо дорожить. И думать об этом на

всяком жизненном повороте». Но в тогдашней сложной жизни поддерживать общественную репутацию бывало весьма не просто. Как-то он рассказал мне о разговоре с В. Максимовым, который был обижен, что друзья-писатели никак не поддержали его в его противостоянии властям. «А чего он ожидал?» – сказал Давид. Но вот исключили из Союза писателей совсем близкого человека – Л.К. Чуковскую. «Она на это шла, ожидала и т.д., – записывает Самойлов 10 января 1974 года. – Все же каждый раз тревожно и неприятно. Каждый раз вопрос: правильно ли выбрана линия? Не пора ли возопить?» И пытается обосновать для себя, почему он этого не делает. Тот же оттенок – в постоянной внутренней полемике с А. Солженицыным: «И тошно, оттого что сам так не умеешь, и смелость завидна, и какой-то мрачной гнилью веет от всего» (16.09.1975).

Однажды я завел с ним речь о возможности пристроить к себе в секретари только что вышедшего из заключения Илью Габая – но понял, что совершил бестактность. Много лет спустя, живя уже в Эстонии, он оформит своим секретарем тоже отбывшего срок И. Губермана – но это будут уже другие обстоятельства, другие времена и, между прочим, все-таки немного другая страна.

Нет, конечно, эмиграцией это можно было называть только в шутку. (Впрочем, само понятие теперь видоизменилось, мы дожили до времен, когда бывшие эмигранты получили возможность, живя в другой стране, наведываться в метрополию, поддерживать с ней связь и даже печататься в Москве). Как-то я написал ему шутивное письмо – якобы уже за границу, в отделившуюся вдруг Эстонию. Поосторожнее бы нам с такими шуточками!..

Как бы то ни было, тут был не просто переезд в другой дом, тут был элемент сознательного выбора. Самойлов сам напишет об этом в стихах:

Я сделал свой выбор. Я выбрал залив.  
Тревоги и беды от нас отдалив,  
А воды и небо приблизив,  
Я сделал свой выбор и вызов.



Не просто выбор, но вызов – кому? Здесь все примечательно – как и последующие строки:

И куплено все дорогою ценой.  
Но, кажется, что-то утрачено мной.

Тут поневоле наостряешься: что же? Однако вместо объяснения:

Утратами и обретением  
Кончается зимняя темень.

Пожалуй, не очень внятно. Да, может, от поэзии и неверно требовать логической ясности и завершенности мысли? Может, чего-то и не следует договаривать – даже самому себе? Пусть размышляет читатель.

В суждениях друзей был, возможно, оттенок ревности – как будто он изменил нам с Пяру. Кое-кто покачивал головой, уверяя, что Давид долго не выдержит тамошнего одиночества, ведь он нуждается в постоянном общении, он человек беседы, его идеи всегда формировались в разговорах, это был его способ мыслить. Теперь у него не стало полноценного общения, хоть он и говорит, что в Пяру ему хорошо.

Наверно, общения в самом деле стало меньше – так ведь и сил прежних не было. Я потом имел возможность убедиться, что Давид и в Пяру не особенно себя берег – но в Москве он, может, и вовсе уже не выдержал бы. Может, пярусские годы все-таки хоть немного продлили ему жизнь.

Даже тамошнее общение, особенно летом, в курортный сезон, казалось ему теперь чрезмерным.

– Раньше у нас были хоть утренние часы, когда мы могли с Галей обговорить свое, – сказал он мне в одну из наших московских встреч. – Теперь мы и этой роскоши лишены.

«Крайнее утомление от людей», – записано у него 25 июля 1977 года. И немного позже, уже в Москве: «После суматошного, утомительного лета, о котором следует еще поразмыслить, – Москва. То же ощущение безумия, возбуждения и усталости, к которой все привыкли». И 15 сентября того же года: «Знако-

мые отпали после лета, обидевшись, видимо, что мы живем в отдалении и уже не принадлежим им».

До меня действительно доходили разговоры о разных пярнусских обидах и чуть ли не ссорах. Кто-то жаловался, что он там «всех раскидал». И в Москве теперь приход в гости без приглашения расценивался как бестактность, это давали понять. Говорили, что он теперь предпочитает ограничиваться лишь «престижными» визитами. Я сам не без ревности узнавал о его приездах в Москву: позвонит ли? Нет, чаще всего не звонил.

Но когда вдруг звонил – я видел прежнего Давида, и все досужие толки представлялись пустыми.

03.11.1976. Утром позвонил Давид, позвал в гости, сказал, что у него в Москве неприятности, что он написал мне письмо в драматической форме, но не закончил и прочтет его вслух...

Письмо оказалось довольно большим, очень забавным – целая пьеса, где я – персонаж. В руки не отдал, обещал прислать, как допишет.

Из разговоров:

– Я Лидию Корнеевну люблю и уважаю, но мы с ней разошлись. Первые 50 страниц 3-го тома («Архипелага») для меня эмоционально неприемлемы. Солженицын исходит из того, что советская власть никак не утвердилась в народе и держалась только на терроре. Это в полном противоречии с моей мыслью, что Сталина во время войны спас идеализм народа. А по Солженицыну выходит, что его спас страх.

Что до неприятностей: в раковом отделении лежит его первая жена Лиля, и дела его плохи.

О больных раком:

– Все дело в том, что действительно больные раком не чувствуют себя больными. Другие вокруг действительно больны, а у них недоразумение, скоро выпишут. Если бы они действительно все знали о себе, они кончили бы с собой... Нет, а мне все-таки хотелось бы дождаться естественной смерти. Все-таки интересно, как это происходит. Писатель, который

каждый день не думает о смерти – не писатель. У меня и стихи об этом есть: «Надо готовиться к смерти так, как готовятся к жизни».

В один из его приездов, в апреле 1977 года я помогал перевозить имущество Давида опять в новую, теперь уже пятикомнатную квартиру по Астраханскому переулку: 100 с лишним кв. м жилья. «Теперь видно, что ты большой писатель», – пошутил я. Заходившие в гости рассказывали, как новоселы-писатели стараются перещеголять друг друга обстановкой, туалет бархатом обивают. Убогая мебель Самойловых выглядела здесь чужеродно. По сути он на этой квартире не жил – останавливался на время приездов... Нет, в самом деле, долгой жизни в писательском доме он бы теперь не осилил.

«Московские впечатления в последние приезды примерно одинаковые, – писал он мне 27 июня 1978 года (дата по штемпелю). – Событий не происходит, но что-то неуклонно худшает. В общении это выражается в той же неуклонности, с которой отдаляются люди, прежде жившие рядом, и так же неуклонно приближаются другие, бывшие прежде в отдалении.

Я, видимо, уже пережил (слишком долгий в моей жизни) период чистого общения или чистой взаимной информации. Общение, как таковое, мне стало скучно и утомительно. А отношения возможны лишь с небольшим кругом лиц».

Прочитую еще одно из его писем:

20.07.1978 (дата опять по штемпелю)

«Дорогой Марк!

О катаевском “Венце” ты пишешь очень точно. Но кажется мне, что с точки зрения литературного процесса он выполняет функцию, сходную с либеральным “Стариком” Трифонова.

У нас уже есть литература “сытой” деревни – развившаяся «деревенщина». Это литература деревни, дорвавшейся до власти и до города и потому испытывающей необходимость канонизировать трудности своего пути: мы все получили не задаром. Такова их индивидуальная правда и мера правдивости их ретроспекции. Они прошлое не отвергают и не осуждают, а напротив, как бы принимают, как бы выстраивают некую зако-

номерность и некую дидактику: ничего не дается без трудностей, через страдание – к благу. Рядом с правдивостью была у них всегда и романтизация среды.

На тех же основаниях будет строиться литература “сытого” города, к которому принадлежит и Катаев, и Трифонов. Один из них растленный, другой – честный, но функция одна и та же: через критику ретроспективную к утверждению действительности. Эта литература будет развиваться, ибо городу тоже нужна своя легенда и обоснование своих прав на кусок пирога.

Как ни странно, “обскуранты” более реально подходят к оценке нравственного состояния нации, но пути предлагают дикие.

Все это и будет в ближайшее время нашей полулитературой».

К слову сказать, мою очередную работу, повесть, которая называется теперь «Провинциальная философия», Самойлов отверг полностью, назвал ее «игрой в бисер».

– Это талантливо, умно и т.п., – сказал он при встрече в Москве. – Если это будет напечатано (чего искренне можно пожелать), это найдет своего читателя, и читателя не худшего. Но мне это совершенно не нужно... В русской литературе есть два направления, исповедальное и учительское. Ты не принадлежишь ни к одному из них. Вначале казалось, что это даже хорошо, ты создаешь какой-то свой, третий путь...

Дальше – о разочаровании... Я слушал его на удивление бестрепетно. Слова о «игре в бисер» не казались мне на самом деле упреком, предложение учиться у Е. Носова давно уже заставило пожать плечами. И почему только два направления?.. Но главное, к той поре я уже справился с юношеским, задержавшимся во мне непозволительно долго комплексом самосовершенствования: мол, буду слушать, что думают обо мне и о моих книгах, даже просить критики – и исправляться, и совершенствоваться. Я бы назвал это «гоголевским синдромом» – Гоголь отчасти надорвался на чем-то подобном. Я уже знал, что это происходит не совсем так...

В доходивших время от времени публикациях, статьях, интервью Самойлова все чаще звучали нотки, заставлявшие меня в недоумении качать головой. Что-то я переставал понимать. В рассуждениях о народе, о русском национальном характере, о идеализме и национальном идеале начинало слышаться что-то расхожее, не совсем свое – и для меня сомнительное. В статье к пушкинскому юбилею смутил какой-то уж слишком благонаправный пассаж о народе как о творце истории: «Знаешь ли, чем мы сильны?.. Мнением народным», – словно забыт оказывался контекст: ведь, по Пушкину, это «мнение народное» привело в Россию самозванца с интервентами. И то и дело опять же какое-то пристрастие к категорическим, на мой вкус, произвольным схемам...

Чувство смущения подкреплялось и некоторыми рассказами о разных пярнусских разговорах с ним. Говорили, будто он написал главу об эмигрантах, очень раздраженную; смысл ее мне был пересказан так: вы уезжаете, бросаете, как труссы, поле боя, начали дело и не докончили, а мы теперь отдувайся. Я не читал этого текста, но тут важно, что он так был воспринят. И когда один из слушателей осмелился сказать ему, что по сути именно такое отношение к отъезжающим хотело бы создать КГБ, что он не вправе так говорить об этих людях, Давид, – так передавали мне, – чуть ли не буквально швырнул в него стулом...

Надо было самому к нему, наконец, съездить. Рассказы рассказами, но кроме статей и интервью доходили время от времени стихи, и среди них были пронзительные. Никакой категоричности, никакого вещания: сомнение, вопрошание, грусть, проникновенное прощание с жизнью – к счастью, преждевременное. Может быть, слишком преждевременное – ему было, слава богу, еще жить и жить.

Хотел мне дать забвенье, боже,  
И дал мне чувство рубежа  
Преодоленного. Но все же  
Томится и болит душа.

## 5. Пяру

9 мая 1980 года, созвонившись с Давидом, я повез ему в Пяру свою только что завершённую повесть «Два Ивана».

Разыскать дом на улице Тооминга удалось без труда. Я вошел без стука. Вся семья сидела за обеденным столом.

– Хоть поздно, но все-таки доехал, – сказала Галя.

Оказывается, Давид перепутал дни и они ждали меня еще накануне. Какая-то их знакомая, любительница готовить, даже приготовила для меня вчера специальный обед, и со вчерашнего же дня мне был заказан номер на отличной турбазе, в нескольких шагах от их дома.

Мы расцеловались. На столе была бутылка коньяка, я выставил еще одну – и все опасения, какой окажется встреча после столь долгого перерыва, сразу потеряли смысл. Как будто и не было никакого перерыва: попрощался, а теперь приехал. Пошел разговор, как в лучшие опалихинские времена, обо всем, о детях, обо всех знакомых, перемежавшийся чтением стихов.

Я вряд ли смогу воспроизвести разговоры этих трех дней в какой-либо временной последовательности – да и не было никакой последовательности. Мы после обеда гуляли с детьми к морю, катали мальчиков на каруселях. Дети выросли, я их едва узнал. Младший, Павлик, оказался, слава богу, здоровым живым мальчишкой, открытым, расположенным. На другой день я с ним прошелся до самого конца полуторакилометрового мола и почувствовал, как ему не хватает полноценного товарищеского общения: быть все время только с болезненным Петей – не слишком просто и не слишком, наверно, благотворно для психики. Я спросил его, любит ли он Петю. «Не знаю», – ответил он. И после некоторого раздумья: «Когда болеет, люблю. Я ему даю все свои игрушки». Старшая, Варя, жила теперь одна в Москве со знакомыми, и этот отрыв от семьи, считали они, вроде бы пошел ей на пользу. Давид показывал забавный бланк сочиненного им типового письма Варвары родителям, ей там нужно было лишь вставлять: сколько она

получила пятерок и четверок, какие видела фильмы (с вариантами в скобках: понравилось, не понравилось) – и т.п. Показал мне сочиненные ею стихи – они удивили меня не только незаурядным владением формой, но и неожиданно серьезным содержанием.

– Я тоже был поражен, – сказал Давид. – Я в 14 лет так не писал. Я не постыдился бы поставить под этими стихами свою подпись.

При этом они с Галей, разумеется, трезво сознавали: еще неизвестно, что из этого выйдет и выйдет ли что-нибудь вообще. Обсудили общие проблемы, связанные с детьми, которым хотелось одеваться не хуже знакомых и иметь то же, что другие. Самойловы жили в Пярну (по эстонским стандартам) более чем скромно. Давид рассказывал: когда сюда впервые приехало Таллинское телевидение, режиссер тихонько спросил сопровождающего: а это действительно знаменитый писатель?

Когда я сказал Давиду, как многое в этом доме и в его здешнем образе жизни напоминает мне Опалиху, он ответил:

– В Опалихе я был для тамошнего начальства никто. А здесь я местная знаменитость. Я поэт, причем единственный в городе. Когда мне что-то надо, я могу сразу обращаться к начальству, и мне все сделают.

Его действительно здесь знали. Когда я заказывал телефонный разговор с Москвой, Давид напомнил: «Скажи, что говорят из квартиры Самойлова», – и действительно, соединили почти мгновенно. Так же сразу пришло по вызову и такси, что вообще не всегда бывает. Давид рассказывал, как один приехавший к нему знакомый, будучи пьяным, попал здесь в милицию, но стоило ему сказать, что он приехал к Самойлову, как милиционер сразу доставил его по адресу. Он был в дружеских отношениях с администраторами гостиниц, в частности, той турбазы, где устроил меня. Он был знаком даже со всеми бригадами проводников вагона СВ поезда № 34 «Таллин – Москва», где они обычно занимали двухместное купе. Тем более что однажды он ехал в этом вагоне с местным начальством, проводники видели, что он пользуется почетом – они такие вещи понимают.

– А кроме того, Пярну – это город, где я, полуслепой старик, могу сам ходить в магазин, – добавил он, когда мы на другой день пошли с ним за покупками. Здесь такие походы совмещались с неспешной прогулкой. По пути мы раз-другой заглядывали в кафе или буфет, по-местному *einelaud*, и в каждом его тоже знали, без разговоров принесли по сто грамм коньяка, бутерброды с семгой. По словам Давида, он мог здесь сидеть за столиком и работать, к нему никого не подсадят, чтоб не мешали.

Выносливость его к выпивке меня опять поразила, как в лучшие времена: в первый день мы распили на троих три бутылки коньяка, не считая рюмочки в *einelaud*, а на другое утро Давид предложил опохмелиться, и потом мы пили еще дома и вечером в *einelaud*. Я поддерживал такой темп с трудом, а сам думал: неужели он может так каждый день?.. Впрочем, был праздник. На городском валу играл оркестр.

Но что все о быте! Главное были, конечно, стихи. Он читал их мне каждый раз за столом и во время прогулок вдоль моря, потом я несколько раз перечитывал машинопись у себя в комнате на турбазе. Это была уже сложившаяся книга «Залив». Некоторые стихи я прежде читал в печати («Хлеб» и др.), они не произвели на меня особого впечатления, показались несколько дидактичными что ли. Сейчас я услышал другие – возникало чувство действительно новой книги.

Тем более что иные стихи совсем по-особому воспринимались в этой обстановке, на морском берегу. «Деревья прыгнули от моря», – читал по пути Давид, показывая на группу прибрежных сосен, как бы сформированных ветром: они наклонились в сторону от моря, будто действительно хотели бежать. «Чайка летит над своим отраженьем в гладкой воде»... Эти стихи, оказывается, были написаны перед отъездом в Ялту, где умер наш общий друг Исаак Крамов. Там было все так неправдоподобно хорошо, – рассказывал Давид; но в стихах уже прозвучало: «Тихо, как перед сраженьем. Быть беде». («Вот и не верь после этого поэзии», – сказала Галя.) Знакомым было еще одно стихотворение, которое Давид читал на



похоронах Крамова («Мы не меняемся совсем»). Я был уверен, что оно написано на смерть Крамова. Оказывается, нет, оно было посвящено ему ко дню рождения – а там уже прозвучало: «Живем взахлеб, живем вовсю / Не зная, где поставим точку»... Вспомнили по этому поводу предостережение Пастернака: не надо писать о смерти, своей и предстоящей чужой, потому что поэзия – вещая, она может накликать смерть.

В другой раз он мне читал несколько совсем новых стихотворений. Я сказал, что тут уже другая интонация, она не ложится в старую книгу, это начало новой. Галя была очень довольна: «Скажи, скажи ему. А то он твердит, что у него кризис, что он больше не может писать. Я тоже считаю, что это начинается новая книга».

Показал мне толстую красивую тетрадь, где теперь записывает стихи.

– Раньше я писал на отдельных клочках, иногда их куда-то засовывал, забывал, потом случайно находил. Теперь я все записываю подряд и, когда открываю тетрадь, все хозяйство под рукой, вспоминаю, что было записано, иногда продолжаю...

Не помню, в какой связи зашел разговор о вдохновении.

– Признак вдохновения – когда сами собой идут рифмы, – сказал Давид. – У меня уже достаточный опыт, я рифму всегда найду. Но бывает, их нужно искать, вспоминать – значит не идет работа. А когда они сами идут, тянут за собой другие, а с ними новые повороты мысли – это и есть вдохновение.

Еще он читал новую для меня прозу. Это были главы «Дом» и «Квартира» – о детстве, семье, родителях. Впервые мне приоткрылась очень еврейская атмосфера его детства: дед, который молился в талесе, дядя-нэпман и др. Стал говорить, что хочет написать об отце, но это очень сложно.

– Он был субъективно состоявшийся человек, хотя объективно не состоявшийся. Он много занимался мной. В частности, от него я впервые услышал библейские легенды. Он повлиял на мое понимание национальной проблемы. Он был очень еврейским человеком. Он считал, что в этом государстве евреи

не должны быть на первых ролях. Как, скажем, в Израиле не должны быть на первых ролях арабы. Он считал большой ошибкой участие евреев в Гражданской войне, в ролях комиссаров и т.п. Когда живешь в стране среди другой нации, нельзя брать на себя расстрелы, приговоры и прочее. Он очень любил тип русского мужика, ценил этих людей, всегда умел найти с ними общий язык.

Уже поздней мне подумалось, что эта несомненно достойная позиция обозначает все же самоощущение человека, живущего как бы не совсем в своей стране. С этой темой был связан еще один эпизод, рассказанный Давидом, когда к нему пришли поздравить с праздником две местные дамы-учительницы. Сосед Самойловых, владевший верхней частью их дома, пришел к нему как-то с претензией: его жену, гулящую пьяную бабу, вызвали в отделение милиции и предъявили обвинение в тунеядстве, сосед заподозрил, что это Давид написал на него заявление. Получив в ответ заверения, что это не так, заодно поинтересовался, сколько бы дал Давид, если бы ему продали и верхний этаж. Давид уловил тут нечто вроде попытки шантажа и прогнал его.

– Надо вообще пожаловаться на него, – сказала одна из дам. – Его давно пора выселять.

– Нет, я так не хочу, – ответил Давид. – Все-таки я живу среди эстонцев. Я не хочу, чтобы говорили: вот, приехал русский, выселяет эстонцев. Надо помнить, что ты живешь в чужой стране.

Вообще разговоров на национальную тему было немало. Он рассказывал о работе Ю. Абызова по этнопсихологии, и я по этому случаю изложил ему концепцию Л. Гумилева, тогда мало кому известную. «Но это же фашизм», – сразу же прокомментировал Давид. (Думаю, тут дело не в моем изложении, я излагал достаточно объективно.) Потом прочел свою поэму «Канделябры» – об иррациональном и злом националистическом шабаше. Я слушал ее единственный раз уже в состоянии некоторого подпития и потом не перечитывал, но сохранившееся ощущение кажется мне как раз адекватным содержанию:

ощущение хмельной, недоброй мути, без четких мыслей, с одним лишь откровенным стремлением – стремлением к власти. «Заенделилась енделя, заендилась ендова»...

– Они же, как Емельки Пугачевы, – пояснил Давид. – Им хочется бить, резать, что угодно, но только чтобы потом самим в цари...

А еще говорили о друзьях, о знакомых. Вспомнили Копелева, который все-таки собрался уезжать. Давид посвятил ему стихотворение «Нельзя не сменить часового». Заговорили о его жене Рае Орловой, которая написала в своих мемуарах, как ей теперь стыдно за некоторые свои прошлые поступки.

– Я с ней не согласен, – сказал Давид. – Почему стыдно? Разве она поступала против своей совести, считала, что поступает подло, и все-таки делала это? Нет, она была убеждена в том, что делала, считала, что это правильно. Я не считаю, что мы были тогда глупы. У нас были ложные идеи, но понятия были правильные.

Я попробовал задать ему вопрос, как он поступал, когда на собрании надо было голосовать за что-то или против кого-то, а это ведь нередко значило либо кого-то погубить, либо самому чем-то пожертвовать. Однако он не понял вопрос или уклонился от ответа. Тогда я выразился иначе: перед тобой до войны все-таки не вставало самого драматического выбора, судьба в этом смысле не предъявила тебе самых крайних испытаний. Тут он согласился: да, это досталось другому поколению...

Я вспоминал этот разговор, перечитывая некоторые стихи из книги «Залив»: «В тридцатые годы я любил тридцатые годы, в сороковые любил сороковые»... Это желание жить в ладу со временем несмотря ни на что (или все же – какой ценой?) заслуживает особого размышления.

При этом ему самому как будто казалось, что он сформировался сразу и ему потом не пришлось в себе ничего преодолевать.

– Когда после революции оказалась уничтожена интеллектуальная элита общества, дворяне, духовенство, высшая

интеллигенция, – повторил он в том же разговоре уже знакомую мне мысль, – их роль взяла на себя средняя интеллигенция, врачи, учителя. И они сумели сохранить некоторые ценности, дать нам основные понятия. Я нашел свои старые дневники, это очень интересно. Я многое правильно понимал, многому знал цену.

Действительно, когда он читал свои воспоминания с цитатами из юношеских дневников, можно было лишь удивляться его ранней зрелости. Я познакомился с ним сравнительно поздно и не могу судить, насколько он в самом деле менялся или оставался неизменным. Многое, наверное, определялось еще и способностью быть «счастливым по природе при всяческой погоде», как выразился он в стихах. (А может, не просто способностью, но желанием – когда предпочитаешь что-то отстранять от себя, чтобы не смущало?..) У меня потом опять же будет еще возможность поразмышлять о том, что здесь, пожалуй, обозначена и некоторая граница, за которую он не хотел и не стремился заглядывать.

Помянули, между прочим, известного литератора Ф.С.:

– Вот у него понятий не было, – сказал Давид. – Он всегда жил идеями и потому мог менять их как перчатки. Был убежденным партийцем, потом убежденным новомировцем, потом убежденным сторонником идей Солженицына, потом убежденным христианином. Потому что понятий на самом деле нет...

Было трогательно наблюдать его в домашней обстановке. Утром он вставал и готовил кашу для детей. «Когда готовишь манку, – объяснял он мне, – важно, как ее засыпать, чтобы не было комков». Потом варил кофе. Кофе то и дело переливалось из кофейника, потому что он по слепоте не всегда успевал заметить момент закипания. После обеда он обычно шел вздремнуть. В последний день моего пребывания там похолодало, он затопил печку, сел у дверцы; я заговорил с ним, он ответил не сразу – оказывается, вздремнул сидя.

У него в ту пору не было передних верхних зубов. Забавно рассказывал, как пошел было к протезисту, но это оказалась

женщина такой ослепительной красоты, что он не смог раскрыть перед ней рта. К усам все время прилипали крошки, он то и дело подкручивал их пальцами. На стене висела фотография, когда он был без усов – по-моему, так все-таки было лучше.

Как-то днем постучался в дверь молодой человек – поэт из Тарту, – принес стихи. Давид как раз отдыхал, и Галя приняла стихи сама. «А то бы Дезик завел разговор на два часа», – пояснила она мне. По ее словам, к нему сюда едут отовсюду, без конца шлют стихи. Я мог сам убедиться, какая у Давида обширная переписка: в один из дней он получил добрый десяток писем и столько же отправил...

Перед прощанием Давид стал говорить мне, что напишет о моей повести Наровчатову (тогдашнему редактору «Нового мира»).

– Ты сначала прочти, – сказал я.

– Я, конечно, прочту, – ответил он, – но напишу все равно. Мне не надо ему писать специально, мы же с ним переписываемся регулярно. Просто упомяну в очередном письме, что прочел очень хорошую повесть.

## 6. «Два Ивана»

Я всякого ждал после этой встречи (Давид читал медленно и успел в промежутке сообщить мне, что первые страницы ему нравятся) – но не того письма, какое получил.

20.06.1980 (даты в большинстве случаев указываются по штемпелю на конверте, он, как правило, не датировал писем): «Дорогой Марк!..

После всех юбилейных возлияний я засел за твою повесть и прочитал ее медленно и внимательно. Если говорить о слове и изобразительности, она написана замечательно. Но чем дальше читаешь, тем больше нарастает сопротивление прочитанному и возникает ощущение однообразия. Ты столько ужаса, крови, вони, уродства, мучительства нагромоздил, что

где-то они переступают порог восприятия. Возникает что-то вроде привычки к ужасам, равнодушие к ним. Может быть, ты этого и добивался. Тогда цель достигнута, но верная ли это цель?

И самое главное, конечно, это отсутствие любви и жалости, иначе откуда такое роскошество стиля и такая скрупулезность в описании пыток и убийств.

Ты верно определил композицию вещи как поэтическую. Но поэтическая композиция не искушает отсутствия поэзии внутренней, противовеса апокалиптическому ужасу.

Не стану с тобой спорить, такова ли истинная история России, так ли было на самом деле. Кажется, и тебе это не важно. Ты рассматриваешь пытку, убийства, уродство и юродство как вечные категории нашей истории и без сомнения подставляешь Ивану или Никанору рассуждения 37-го года.

Аллюзионная история мне чужда. Она мало дает для познания прошлого и настоящего. На самом деле история уникальна, ничто не повторяется, все обосновано конкретной психологией масс и деятелей. И опричнина вовсе не 37-й год. А что было страшней, мы не знаем, ибо страдание тоже единично и конкретно. И когда оно таково, оно неминуемо приводит к жалости, к сопереживанию. А жалость – уже и способ понимания. В русской духовной традиции есть идея жалости к руке карающей. Это особенность русского христианского мышления, ставшего потом внерелигиозным мышлением русского интеллигента. Твоя повесть язычески-груба. В ней нет бога.

Таково мое главное впечатление.

И еще одно: несмотря на сугубо оригинальный твой авторский почерк, в способе восприятия есть что-то узнаваемое, слышанное и даже раздражающе-банальное.

Прости за все сказанные слова. Я думаю, что нам друг с другом не надо играть в комплименты. О качествах прозы ты сам хорошо знаешь. Но здесь оно превосходит качество мышления. А любоваться одним стилем я, например, не умею. Это, наверно, умеют пересытившиеся французы.

Отсутствие любви и жалости отметил не только я, но и Галка, и Юлик Ким, значит, это не только мое впечатление.

С другой стороны, этого не вставишь и не исправишь. Это может быть только дано или не дано.

Вот теперь, кажется, изложил все основное.

А по деталям у меня замечаний нет.

Не обижайся. Пиши. Какие есть другие мнения?

Привет тебе и твоим от Галки.

Будь здоров.

Твой Дезик».

Сейчас-то мне просто переписывать эти строки – когда повесть моя напечатана, переведена на другие языки и читатель имеет возможность сам составить мнение о правоте или неправоте этой скорей инвективы, нежели критического отзыва. Тем более читатель нынешний, которого последующее развитие литературы – да, главное, не только литературы, а самой жизни – успело приучить к такой чернухе, к такому – действительному – живописанию ужасов и уродств, по сравнению с которым моя проза выглядит робким стыдливим сентиментальничаньем. Один очень умный читатель упрекнул меня как раз наоборот в попытке оправдать в русской истории то, что в ней оправданию не подлежит. Тогда еще не начались дискуссии о чрезмерном якобы благонравии русской литературы, предпочитавшей умалчивать о зле и жестокости реальной жизни и оставившей читателя беззащитным перед этой реальностью. Но надо представить себе самочувствие автора только что законченной вещи, еще не утвердившегося в себе, потому что он лучше других знает, сколь много на самом деле не удалось – а его обвиняют не в частностях и не в литературных слабостях, но в грехах, по сути, личных, в отсутствии жалости и любви, не более не менее (не говорю уже об отсутствии бога – с маленькой буквы!) – когда ему приписывают идеи, прямо противоположные всему, что он хотел сказать, да еще так, казалось мне, бездоказательно, так безапелляционно! Приезжавшие из Пярну общие друзья уже говорили мне о «Двух Иванах» чуть ли не цитатами из этого письма – даже те, кто до этого повесть хвалили: я-то знал, как умел Давид

внедрять свое мнение и чего стоил высказанный им будто бы интерес к «другим мнениям». Надо представить себе самочувствие непечатающегося писателя, знающего, что и эта его книга скорей всего останется никому не известной. А чего стоили хотя бы слова о «пересытившихся французах» – скорей всего, тут была опечатка, но уж я не отказал себе в удовольствии на ней поплясать.

Словом, я написал ему очень резкий ответ. Моя жена запретила мне его отправлять, и я ей благодарен за это. Копии некоторых отправленных писем у меня сохранились. Я воспроизведу эту переписку, опуская лишь не относящиеся к делу житейские подробности, приветы близким и т.п.: что ни говори, а она теперь уже факт недавней литературной истории – как все, относящееся к Самойлову. Даты своих писем восстанавливаю по дневнику.

«27.06.1980

Дорогой Давид!

Спасибо за откровенное письмо. Неприятие столь полное и безоговорочное в каком-то смысле упрощает разговор. Речь явно идет не столько о литературных оценках, сколько о взгляде на мир, на историю и современность, на литературу. И тут стоит объясниться.

Ты пишешь: “Не стану с тобой спорить, такова ли истинная история России, так ли было на самом деле?” Отчего же и не поспорить? Увы, история была не совсем такова. На самом деле все было страшней, грубей, кровавей. Я обошел хотя бы Новгородский погром, когда ежедневно пытали и убивали тысячами, младенцев привязывали к матерям и бросали в Волхов, и длилось это пять недель, а потом перешли к Пскову. Духу не хватило, но во время работы я не раз спрашивал себя: не от робости ли душевной все смягчаю, сглаживаю, поэтизирую?

Я слишком хорошо понимаю, как тянет отвернуться от страшных картин – и в жизни, и в искусстве; сам откладывал в сторону иные описания. По-человечески это более чем



понятно и оправданно. Нам по природе свойственно щадить себя и отгораживаться от отрицательных эмоций. Но для писателя – честно ли это, нравственно ли? И когда дети у меня играют в казнь – можно ли не услышать здесь боли, стоны и говорить о смаковании жестокостей?

Я заглянул в трагические времена, когда половина населения погибла от казней, голода, мора, войн, набегов, а для другой половины страх и смерть стали повседневным бытом. Это был непростой душевный труд, который много мне дал и в чем-то меня изменил. После него невозможно стало, в частности, читать иную историческую беллетристику: режут ухо облегченность, условность, неподлинность. Я уже слишком знаю, что реальный Василий Блаженный ходил не в рубище с картинными заплатами, а нагой (таким его и рисовали на ранних иконах) и испражнялся среди площади, что реальные пустынноики годами не умывались и не меняли платья и т.п. Когда по-настоящему вживешься в эпоху, перестаешь зажимать нос и находишь в этой жизни свою (не нынешнюю) полноту, истину, поэзию.

Возьми хотя бы документальное описание Угличской драмы. Увидев мертвого сына, Мария Нагая схватила из пленницы полено и, простоволосая, стала бить им по голове мамку Василису Волохову. Прискакал пьяный Михайла Нагой, дьяк Битяговский, который незадолго перед тем урезал Нагим денежное содержание. Михайла натравил на Битяговского толпу. Попутно растерзали еще несколько человек, кинулись на подворье Битяговского, разбили там винные бочки, упились, с жены Битяговского сорвали одежду. Звонарь звонил, запершись на колокольне.

Таков пересказ – еще без множества сочных подробностей – известного эпизода:

Вдруг между их свиреп, от злости бледен  
Является Иуда Битяговский.  
“Вот, вот злодей!” – раздался общий вопль,  
И вмиг его не стало – и т.п.

Это, впрочем, не Пушкин, это Пимен. Для меня существенны и полено, и простоволосая баба, и попутное пьянство:

глубина грубой жизни. Все это отнюдь не детали и не стилистические роскошества, это плоть прозы, как и лес, озеро, дорога, колыбельная и молитва.

Мне жаль, что в твоём восприятии многое слишком светлось к расхожим схемам: языческая грубость – христианская жалость и т.п. Насчет пересытившихся французов, которые якобы умеют любоваться одним стилем – по мне это одно из общих мест, вроде деловитых англичан, грубых немцев и загадочной славянской души. Современных французов я просто не знаю; была старая французская традиция, сказавшаяся на русской исторической беллетристике: традиция исторического анекдота в духе Таллемана де Рео – занятные происшествия, адюльтеры, придворные интриги и т.п. Это по-своему интересно, но как раз мне не близко.

А что до русской духовной традиции – она бывает разная, как разным бывает и народ. Народ в истории, увы, не всегда безмолвствует, он еще оставляет исторические песни вроде приведенной мною. И народолюбивые историки разводят руками перед этим голосом, приравненным к гласу божьему: недаром ведь в народной памяти сложился светлый образ грозного царя. Ах, недаром!

Тут речь не о жалости к “руке карающей” (да и слово “карающей” в контексте этой темы вряд ли точно: карают за что-то, за вину). Тут устоявшаяся с татарских времен традиция холопского, рабского почтения ко всякой власти и силе, готовность заведомо признать ее правоту и с некоторым даже восторгом подставлять собственную спину под кнут (как делает у меня один персонаж, сам палач). Это до сих пор в нас не изжито. Я не принимаю упрека в сознательных аллюзиях (кстати, странно слышать о такой уж нелюбви к аллюзиям от автора любимого мною “Струфиана”). Дело в неизжитости русской истории, ее проблем, о которой я тебе однажды писал. Мысль о том, что “нам, русским, без палки нельзя”, можно встретить и в современном разговоре, и в документе 400-летней давности.

Моя книга не в последнюю очередь о памяти. Наша память во многом выжжена, подменена, искажена не только

пожарами и стараниями властителей, но и нашей собственной душевной самозащитой, стремлением себя щадить. Одна из задач литературы, мне кажется, – восстанавливать подлинность и интенсивность памяти, чувств вообще. Порой это бывает трудно и даже болезненно.

Можно, конечно, просто вынести все ранящее за скобки своего мировосприятия. Но, думаю, как раз это было бы не в духе русской совестливой традиции. Надеюсь, во всяком случае, что в моем мировосприятии нет равнодушия, хотя мне отнюдь не удастся жить и писать на уровне собственных требований к себе...

Хорошо, если бы ты нашел способ переслать мне рукопись. А пока всего тебе доброго.

Твой Марк».

«05.07.1980

Дорогой Марк!

С большим интересом и даже сочувствием прочитал твое письмо. Я и не ожидал, что ты со мной согласишься. Но все же дискуссию готов продолжить, ибо она касается вещей существенных.

Я умышленно писал тебе только о художественных недостатках “Двух Иванов”, выводя их из недостатков авторской позиции – из отсутствия жалости, сочувствия и любви. Твое письмо косвенно подтверждает правильность моего ощущения: какая же может быть любовь к сплошному ужасу, убийству и грязи. Эта позиция для меня внутренне неприемлема. Любить Россию не значит любить дыбу, кнут и блевотину. Есть в ней, в ее истории – я уверен, что есть! – и нечто достойное любви и восхищения, есть добрые, а порой и патетические, свойства народа, есть и бескорыстие, есть и идеализм, есть, наконец, культура, /к/ которой я принадлежу и которую люблю. И это не культура пытки и убийства, не бескультурье сранья посреди площади.

Чтобы так писать, как пишешь ты, нужно “не любить”. Об этом-то я и вел речь.

И неправда, что Россия не ужаснулась Иваном. Ты не написал бы свою повесть, не имея свидетельств этого ужаса и осуждения. И само обилие этих свидетельств означает наличие народного мнения, наличие “другого взгляда” даже тогда, в страшные времена...

Любовь и жалость – это не от страха, не от “татарщины”, а от сердца, у которого есть свои законы ощущения действительности.

Я видел войну, где погибло больше людей, чем в иваново время. Видел, к примеру, как улыбающийся мальчик запихивает кишки в развороченный живот. Видел трупы, раскатанные танками в блин, на фронтовой дороге. Видел много ужасного и страшного. И помню все это. И вовсе не отгоняю от себя эти воспоминания. (“Поэт и старожил”, где бессмысленно убивают человека). Но, как свидетель смертоубийства, могу сказать, что помню не только это. Что не ужас, не страх перед смертью был главной нотой в моем самоощущении. А что-то другое.

Ибо довелось мне увидеть и праведников.

Тогда они были в обличье солдат. А в тобою описываемые времена – пустынники.

Ты же в пустыннике видишь прежде всего несоблюдение гигиены, а не духовный подвиг. Можно не зажимать нос, но и не придавать слишком большого смысла своим обонятельным ощущениям. (У Достоевского тоже старец завонял после смерти.) Не думаю, чтобы вонь была плотью прозы. Плоть прозы – мысль.

У тебя в повести праведника нет. А на нем, а не на кнуте, стоит и стояла Россия. Ведь она своими силами вышла из времени Грозного и из разорения Смуты. И так откровенно и ясновидяще оценила происшедшее: Грозный и Смута. Это у тебя и не брезжит.

Ты пишешь историю власти и хочешь отождествить ее с историей нации, общества, культуры. Тут великий просчет в твоей исторической концепции и причина просчетов художественных.

Не думаю, что эпизод с Битяговским у Пушкина хуже и неправдивей, чем твои описания. В нем просто больше целомудрия писательского.

Отождествление власти, народа, общества и культуры смахивает на идеологию эмигрантства. Ты, наверное, не сочтешь этот термин отрицательным.

Эмигранту не надо жалеть и любить. Ему ведь не нужно думать, как жить у себя. Он должен думать, что у себя жить нельзя.

Тут мне Ахматова ближе, чем Горбаневская.

Я эмигрантства не осуждаю, но всегда был сторонником личной, а не коллективной ответственности. Но психология эта вообще мне чужда.

Ведь можно тратить силы двумя способами: один – изобличение зла, другой – проповедь добра.

Твои слова о традиции холопства, о почтении к всякой власти (а не всякая – как с ней быть?), об оправдании власти звучат скрытым упреком мне. Не будем переходить на личности. Но мне эта традиция почитания власти чужда настолько же, насколько и традиция непочитания, ибо они легко переходят друг в друга...

Я уже писал, что ткань твоего повествования добротна, описания безупречны, слово точно. Но не радуется это. Это все “гроб повапленный”. У Достоевского порой написано “хуже”, чем у тебя. Но про что бы ужасное ни написал Достоевский, в результате остается радость. Эта радость – элемент впечатления от художественности.

И даже, если предположить, что твои рассуждения сплошь верны, а мои сплошь неверны, все равно из твоих художественности не получится. И если не от недостатка таланта, то отчего же? Наверное от “нехудожественности” общей концепции.

Вот, собственно, те бараны, к которым мы должны возвратиться.

Взаимное изложение взглядов не приведет к улучшению “Двух Иванов” или (прости за остроу) даже одного из них.

Ты можешь использовать аргумент Слуцкого и сказать мне, что ты слышал и другие мнения о повести. Допускаю. Но могу ответить тебе так, как отвечал тому же Слуцкому: надо уметь выбрать мнения не по их приятности...

Надеюсь, ты не обидишься за это письмо, ибо какой толк писать друг другу не то, что думаешь...

Будь здоров.

Твой Д.».

«10.07.1980

Дорогой Давид!

Согласен с тобой: есть смысл продолжить спор, ибо речь действительно идет о вещах насущных. Только хорошо бы при этом не очень забывать сам предмет спора. Я принужден был отвечать главным образом на упрек в живописании жестокостей, и вот ты пишешь: “Твое письмо косвенно подтверждает правильность моего ощущения: какая же может быть любовь к сплошному ужасу, убийству и грязи”. Ко мне лишь недавно вернулся экземпляр рукописи, я стал перечитывать главу за главой – да полноте, о моей ли работе идет речь? “Ты пишешь историю власти и хочешь отождествить ее с историей нации, общества, культуры”. Но в книге-то прямым текстом как раз обратное: глубинные слои жизни недоступны тем, кто считает себя властным над ней (это, кстати, сочла главной мыслью повести, если помнишь, Галка в своем первом отзыве). И т.д. В позиции автора, который начинает говорить о своей работе и себя цитировать, всегда есть что-то сомнительное. Раз уж повесть задержалась у тебя так надолго, попробуй ее просто перечитать. Впрочем, немного зная тебя, я сам отношусь к этому предложению с юмором.

Некоторые места твоего письма отчасти объясняют, как мне кажется, причину неточности или перекоса в твоем взгляде. Ты пишешь, например о “бескультурие сранья посреди площади”. То-то и оно, что 400 лет назад такое поведение юрда имело как раз и культурный, и духовный смысл. Летопись пишет об этом так: “Душу свободную имея... не срамляся

человеческого срама”. Мы сейчас больше, чем когда-либо прежде, учимся подходить к прошлому, вообще к непохожей на нашу жизни без предвзятости современных мерок: моральных, эстетических, гигиенических. XIX век больше был склонен свысока морализировать над былым “варварством”, “дикостью”, “суевериями”, не чувствуя внутреннего смысла многих явлений. Поэтому и праведников не видели в их подлинном обличье, а подгоняли под доступный своему пониманию канон. Праведников вообще проще канонизировать посмертно; вблизи-то они обычно слишком оскорбляют и целомудренный вкус, и обоняние, и выглядят ненормальными – проще любить свое представление о них, чем их самих.

“Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит”, – справедливо заметил классик. Другой классик, которого ты почему-то решил противопоставить мне, приводит целую дискуссию на тему, можно ли считать праведником того, кто завонял после смерти. Впрочем, Зосима отнюдь не кажется мне самым убедительным образом у Достоевского. Для меня были немного в новинку твои восторги перед этим автором; когда-то я слышал от тебя другое. Наши мнения, конечно, уточняются, о классиках особенно. Давно ли Достоевский избавился от клички “жестокий талант”? (Надеюсь, не надо пояснять, что я не сравниваю себя с ним). Но действительно ли даже после чтения “Бобка” у тебя остается радость? Не знаю, не знаю, непременно ли только радость должна оставаться после чтения.

Что до эмигрантского отношения к России, то тут совсем уж парадокс. Многие из читавших рукопись сочли нужным предупредить меня, что если ее напечатают, как раз эмигранты набросятся на книгу особенно остервенело. Думаю, это действительно так. Если хочешь, я могу даже заранее перечислить упреки, которые предъявили бы мне тамошние ревнители русского исторического благочестия. Но стоит ли? Тем более что публикация в ближайшее время мне явно не грозит. А напечатали бы – я послушал бы всякие мнения, с пользой и интересом. Ведь мнения говорят не только о книге, но и о со-

стоянии умов. Выбирать же их не приходится, ни по приятности, ни по неприятности.

В одном из первоначальных вариантов беседы двух старцев произносились у меня примерно такие слова: дело не в правоте кого-либо из нас. Никто из нас не владеет истиной, но она присутствует, витает в воздухе, куда мы спорим о ней.

Надо только с уважением и всерьез относиться ко всякому искреннему серьезному поиску. Переход на личности тут действительно запрещен. Я не понимаю, каким образом ты мог услышать личный намек в моих словах о традиции холопства: мне это просто в голову не приходило. Тут остается лишь призвать на помощь чувство юмора, как пришлось это сделать мне, когда я читал твои слова о том, что не только в книге моей нет жалости и любви, но мне лично в этом отказано (очевидно, по природе?) “Этого не вставишь и не исправишь, это может быть только дано или не дано”. А окажись на моем месте человек менее загрубелый, да прими такой приговор всерьез – ведь это повеситься впору. Не будем говорить о любви, но много ли жалости, простой человеческой осторожности в таких размашистых высказываниях?

Ты прав, взаимное изложение взглядов не изменит моей книги. Но оно может не без пользы уточнить сами эти взгляды и мнения. Попробуй все-таки еще раз перечесть...

Будь здоров.

Твой Марк».

«30.07.1980

Дорогой Марк!

Спор, к которому ты меня приглашал, свелся к довольно тугомотному тяганию. Да у нас, вроде, и нет принципиальных разногласий. Я говорю что у автора, даже жестокой истории, должна быть любовь и жалость. Ты как будто с этим не споришь, вместе с тем ссылаешься на Достоевского, что он “жестокий писатель”.

Я говорю, что Россия стоит на праведнике. И ты как будто с этим соглашаешься.



Спор сводится, следовательно, к вопросу оценки твоей повести. Есть ли в ней любовь и жалость. Есть ли в ней праведник. Ты утверждаешь, что есть и предостаточно. Я говорю, что маловато. Ты утверждаешь, что перечитал повесть сам и все это обнаружил, что ты своей вещью доволен. А я говорю, что судить о себе самом трудно. Что существуют автор и читатель. И что автор должен прислушиваться к читательскому суду.

Ежели тебе этого суда не нужно, то остается тебе быть собственным читателем, еще раз перечитать свое произведение и остаться им довольным.

Ты меня упрекаешь в жестокости моего читательского суда, утверждая, что я тебе лично отказываю в любви и жалости. Ничего подобного. Давай не переходить на личности. А тебе как писателю (я это утверждаю, да и многие согласны со мной) этого не хватает.

Вот и все.

В результате ты можешь согласиться со мной (хотя бы отчасти) и написать мне: я подумаю, постараюсь переделать. Или можешь не соглашаться со мной и написать: я очень огорчен, что тебе моя повесть не нравится, но я считаю, что она совершенна и в переделке не нуждается. Есть и третий вариант: я с тобой частично согласен, но столько вложил в это сил и надежд, что переделывать и касаться этого не могу.

Ты из этих вариантов выбрал второй. И тут мне возражать нечего. Я не обижаюсь на тебя за то, что ты отвергаешь мое читательское мнение. Ты же не обижайся, что я высказал его достаточно твердо и ясно.

Прибедняться нам обоим нечего. Мы оба не дураки. И каждый знает что почем.

А ссылка на то, что кому-то твоя вещь нравится, совершенно не к делу. Выбор читателей целиком зависит от тебя...

Будь здоров.

Твой Д. Самойлов».

«02.08.1980

Дорогой Давид!

Пожалуй, довольно о моей повести. Скажу только напоследок, что для меня дело отнюдь не сводилось к ее защите. Ты сам знаешь, как уязвим бывает автор только что законченной вещи, как он сам готов опередить и превзойти все возможные читательские упреки, ибо воплощение никогда не совпадает с замыслом. Задел меня за живой характер и тон – не упреков даже, а приговоров. Слишком много я сам об этих вещах думал, и возражения мои были конкретны. Ты на них, кстати, и не ответил.

Но главное, это не только наша с тобой ситуация. Вроде бы единомышленники, не дураки и в общем согласны, что хорошо, а что плохо. Смешно в самом деле спорить, что любовь, жалость или нравственность – это хорошо, а безнравственность и жестокость – плохо. Тут существует уже определенный джентльменский набор литературного благонравия, и ссылаться на него беспроегрышно. Да настоящий-то разговор отсюда только начинается: когда пытаешься уловить и выявить эти ценности в противоречивой, нестилизованной реальности. Мне кажется, литература сейчас во многом заново здесь кое-что осмысливает, и ничей опыт пока не кажется мне бесспорным.

Я уже писал тебе, что мнения иногда говорят не только о книге, но и о состоянии умов. Меня особенно утвердил в этом ответ знакомого историка на “Заметки” Лихачева, которые, помнится, тебя восхитили и о которых мы даже немного поспорили. Удивило почти дословное совпадение некоторых моментов нашего нынешнего спора. С разрешения автора я посылаю тебе эту работу; интересно услышать твое мнение. Я с ней согласен во всем, за исключением разве что некоторых частных. Думаю, и тебе будет интересно. Только большая просьба вернуть, не очень задерживая.

Пиши. Рад буду, если в Москве созвонимся.

Твой Марк».

«Знакомым историком» был Леонид Баткин, я послал Давиду его известную ныне работу «По поводу “Заметок о русском»

Д.С. Лихачева». В ту пору, правда, автор не без основания предпочитал оставаться анонимным; я раскрыл его имя Давиду лишь в одном из последующих писем. Не так давно эта часть полемики – через меня с безымянным историком – была опубликована Баткиным в его книге «Пристрастия» (М., 1994); я воспроизведу лишь фрагменты нашей с Самойловым переписки.

«13.08.1980

Дорогой Марк!

Жаль мне, конечно, Д.С. (т.е. Д.С. Лихачева. – М.Х.), на которого твой историк, как две капли воды похожий на тебя, столько нагромоздил обвинений. Он ему даже в праве называться “гражданин” отказывает. Выходит, что единственный гражданин – твой историк, ну там еще Радищев, Пушкин и Достоевский. Всего несколько человек за всю русскую историю среди дикой толпы матерящихся, пьяных и непотребных русских.

Жаль мне, конечно, Д.С., к которому твой историк пришел М. Алексеева, видно толком не прочитав, что М.А. глубоко чужд Лихачев, что он его “исправляет” и “дополняет”. Пришел он к нему и “деревенщиков”, что тоже из другой оперы. То есть, ежели веришь в “русское”, формулируешь идеал прошлого и при этом еще называешь себя гражданином современного государства, то ты и есть Михаил Алексеев.

Жаль мне бедного русского интеллигента и либерала Д.С., который с наилучшими намерениями творит худое дело фальсифицирования национального характера и национальной истории.

Но еще больше жаль мне твоего историка. Он, бедняга, все время старается работу сердца заменить работой ума, горестные заметы холодным наблюдением.

Поэтому задачи у него и у Д.С. разные, можно сказать, противоположные. Твой историк пытается доказать, что он Россию любит умом, беспощадностью, всей своей умственной правдой. А на деле доказывает, что Россию любить не стоит, что она чудовищна и непотребна, что такова ее история с давних времен.

Д.С. показывает, за что можно и нужно любить Россию, за что он ее сам любит, как гражданин. А любит он ее за культуру. И не за особую, “деревенскую”, “уездную”, а за культуру в высоком и всеобщем понимании. Потому он и обращается к понятию космополитизма и без всякого бранного оттенка.

Твой историк опять же путает историю власти с историей нации и культуры, с историей общества, породившего тех же Радищева, Герцена, Пушкина, Достоевского и, наконец, его же, историка. Или он из яйца вылупился? Или он гадкий утенок, а на деле – лебедь, воспаривший над бедным утиным стадом?

Как он неоригинален, твой историк, в своем зазнайстве перед Россией, в своей чувственной и обонятельной неприязни к толпе. В этом что-то инородческое, чужое.

Лихачев любит. А любить можно и просто, по велению сердца, иногда вопреки уму. И поэтому история России для него не “история вообще”, а еще и родительское предание, еще и пейзаж и строение, еще и среда, еще и слово, и обращение.

Твой историк вставляет Россию в ход всеобщей истории и хочет ее судить по этим законам. Он доказывает, что Россия – худшее звено истории и что на пересечении идеала и действительности именно в ней возникали самые уродливые формы жизни.

А либерал Лихачев не судит, ибо судить не хочет. Он любит, а у любви свои законы.

И рядом с этими законами плоскими кажутся все аргументы твоего историка.

Вот, пожалуй, все, что хотелось написать по этому поводу...

Твой

Д.»

Это письмо я показал Баткину, и он снял для себя копию, чтобы написать ответ. Копии моего собственного ответа у меня не сохранилось. О его содержании можно судить по следующему письму Давида. Не помню, тогда или позднее я счел нужным ему сообщить имя Баткина: я испытывал определен-

ную неловкость оттого, что один из участников выступал в этом споре, так сказать, с открытым забралом, другой оставался анонимным. О содержании и резком тоне ответного баткинского письма я, видимо, уже знал.

«02.10.1980

Дорогой Марк!

Запоздало поздравляю тебя с Днем рождения. Я в юбилейных датах туп.

Что же касается “инородческого”, не вижу, на что здесь сердиться. Есть взгляд на историю нации и ее культуру “изнутри”, а есть “извне”. Взгляд извне дает право на “объективность” и “ума холодных наблюдений”. Или на необъективность, но “внешнюю”. К примеру, странно было бы, если бы татарский историк рассматривал Куликовскую битву, как торжество справедливости, а не как избиение татар.

В споре самом и в его формулировках я не вижу ничего случайного и ничего специально “не от хорошей жизни”. Спор как спор.

А “резковатое” письмо твоего историка прочитаю с интересом...

Моя книга “Избранное” вышла и, говорят, продается. Я ее еще не видел. Тираж всего 25 тыс[яч]. Значит, на черном рынке пойдет за двадцатку.

Как только получу заказанные экземпляры, пришлю тебе. До встречи...

Твой

Д.»

«7.10.1980

Дорогой Давид!

Поздравляю с выходом книги. Я ждал ее давно и заинтересованно...

Мою рукопись по Москве читают, отзывы бывают занятные. Обычное удивление автора, когда в его работе находят вещи, о которых он сам не думал.

Меня, в частности, озадачивает упор на сугубо национальной проблематике. Почему у Шекспира (надеюсь, ты не сочтешь за сравнение) нас меньше всего заботит отражение черт английского национального характера в образах Лира, Макбета, Ричарда или в ужасах междуусобной борьбы? Я остаюсь при чувстве, что здесь какой-то сомнительный сдвиг в умонастроениях.

Вот и в последнем письме ты находишь странным, “если бы татарский историк рассматривал Куликовскую битву как торжество справедливости, а не как избиение татар”. Действительно ли ты думаешь, что для историка (то есть человека все же интеллигентного) было бы странно встать выше узконационального взгляда на события? Что истинно-русский не мог сочувствовать борьбе поляков в 1830-м и последующих годах? Или что француз никогда не увидит в победе вьетнамцев при Дьен Бьен Фу торжества справедливости, а лишь избиение своих соплеменников? Что взгляд историка определяет не страсть к поиску истины, а иррациональные пристрастия? Тогда почему бы в самом деле не спрашивать анкету: п. 5 – татарин? – а! что вы можете сказать о нашей Куликовской битве!

Я все продолжаю надеяться, что тут какое-то недоразумение, издержка полемики, неточный выбор слов.

С этой надеждой и пересылаю тебе реплику твоего оппонента, с которой ты захотел познакомиться...

Пиши, мой милый. Сердечно тебя обнимаю.

Твой Марк».

«Реплика оппонента» была опубликована Л. Баткиным в той же упомянутой книге. Я не хотел этой публикации и говорил об этом Баткину, когда он со мной на сей счет советовался, но доводы приводил какие-то придуманные. Подлинной причины своего внутреннего сопротивления я назвать не мог: мне было больно за Давида, которого в полемике явно занесло куда-то, куда он сам, думаю, не хотел. Его позиция казалась мне слишком уязвимой, доводы – неубедительными, на удивление слабыми; я, увы, не мог не быть в основном согласным

с Баткиным. А он отвечал не в пример мне резко, не сдерживаясь – для него Давид не значил того, что для меня. Однако я не мог оспорить его права считать себя косвенным адресатом одного из писем. Я мог только, помнится, сказать Баткину, что оппонента его теперь уже нет в живых и он не может больше ответить...

На самом деле Давид безответным отнюдь не остался:

«13.10.1980

Дорогой Марк!

Скучный, скучный твой историк. И к тому же великий цеплятель за слова. Я ему “инородца”, а он мне “выкреста”, я ему “Континент”, а он мне Бунина. А “Окаянные дни” забыл или не читал.

На этом спор кончается. Ведь речь шла о “заметках” Лихачева. Он их критиковал, я их защищал. А что заметки могли понравиться М. Алексееву, так что ж тут такого? Чехов, к примеру, Ермилову нравился.

Твой историк мне про логику твердит. А я ему про любовь. Он считает, что любовь это от “власти”, мол воспитана в нас рабская любовь. Петр, к примеру, воспитывал любовь к чужеземному, а не к своему. Да и вообще, Россия изменяется, как все на свете, и по одному времени нельзя судить о другом.

Все это прописные истины. И историк твой – сторонник свободного ума – только их и талдычит. Да еще себя ставит в ряд с Пушкиным, Герценом, Лермонтовым. Я на такое не претендую. Я говорю о собственном отношении и самочувствии в России. И историку его не навязываю. Удивляюсь только, зачем он занимается тем, что внушает ему такой страх и отвращение? Занялся бы историей Гренландии.

Ну, бог с ним. Пусть живет.

Твое удивление по поводу восприятия “Двух Иванов” в национальном аспекте (я так понял?) мне кажется странным. Мы живем в эпоху, когда отсчет (для «среднего» человека, конечно) начинается с нации, а не с человечества. Был отсчет с человечества у нас в 20-е годы. Много ли он лучше оказался?..

По поводу твоих “Иванов” я писал Наровчатову, никак не высказывая свое мнения, так, вроде бы к слову. Можешь связаться с ним...

Будь здоров

Твой Д.»

Грустно сейчас это перечитывать. Каждый волен, конечно, соглашаться с тем или другим в этом споре. Но мне позицию Давида и сейчас понять трудно. Как будто он однажды и навсегда сформулировал и утвердил для себя некую общую идейную конструкцию, где «идеал прошлого» существовал как бы обособленно от противоречивой действительности, а «история власти» – от «истории нации и культуры», где «работа сердца» противопоставлялась «работе ума» и заклинания о любви к родине словно бы могли заменить осмысление трагизма и проблематичности реальной российской истории, которую почему-то не следовало «вставлять в ход всеобщей истории» и «судить по общим законам»... И никакие доводы, никакие указания на конкретные факты и противоречия не могли убедить его эту конструкцию хоть как-то перепроверить: он логике противопоставлял все те же заклинания о любви. Чем дальше, тем все больше было вялого отругивания вместо аргументации. «Инородческое», «татарский историк»... грустно. Как будто он сам чувствовал, что его занесло. Но нельзя же было ждать, что при своих глазах он в самом деле возьмет на себя труд перечесть мою повесть...

А заключительные слова о письме Наровчатову – разве они малого стоят?

## 7. Последние годы

В последние его годы мы виделись совсем редко. Понемногу переписывались. Получив вышедшую тем временем книгу «Залив», я стал перечитывать уже хорошо знакомые стихи – и не в первый раз стал ловить себя на том, что как бы спотыкаюсь на строках, которые прежде не вызвали у меня вопросов. Например, в стихотворении «Афанасий Фет»:



В его судьбе навек отделена  
Божественная музыка поэта  
От камергерских знаков Шеншина.

Он не хотел быть жертвою прогресса  
И стать рабом восставшего раба.  
И потому ему свирели леса  
Милее, чем гражданская труба.

Не так это на самом деле просто, – думалось мне. Нелегкая жизнь Фета не так уж отделена от его поэзии, его гармоничность, светлое приятие мира выстраданы испытаниями, сомнениями, трудным опытом и размышлениями. Разве не сам Давид написал об этом когда-то в любимых мною стихах на смерть Ахматовой:

Ведь она за свое воплощенье  
В снегиря царскосельского сада  
Десять раз заплатила сполна.  
Ведь за это пройти было надо  
Все ступени рая и ада,  
Чтоб себя превратить в певуна...

А впрочем, превратилась ли Ахматова в певуна? – тут же возникало новое сомнение. Скорбящей матерью, плакальщицей за всех – да, но садовым певуном?..

Я все чаще размышлял в ту пору о том, что есть солнечное приятие мира, прошедшее через сомнения, страдания, выдержавшее испытания абсурдом и жестокостью – и есть желание ничего об этом трагизме не знать, просто отвернуться от него. Как-то я прочел слова немецкого философа К. Ясперса о Гете. Он видел ограниченность великого поэта в его безоговорочном приятии мира, в стремлении как угодно сохранить равновесие с самим собой. «Нам ведомы ситуации, – писал Ясперс, – в которых у нас уже не было желания читать Гете, в которых мы обращались к Шекспиру, к Библии, к Эсхилу, если вообще еще были в состоянии читать... Существуют границы человека, о которых Гете знает, но перед которыми отступает... Было бы неверно сказать, что Гете не чувствовал трагическое. Напротив. Но он ощущал опасность гибели, когда решался слишком

близко подойти к этой границе. Он знает о пропасти, но сам не хочет крушения, хочет жизнеутверждения, хочет космоса».

Поздней я процитирую эти слова в своем эссе «Уроки счастья» вовсе не думая о Самойлове. Ясперс, между прочим, продолжает свою мысль. По его словам, ограниченность Гете – оборотная сторона великого его достоинства: глубоко загнав внутрь свой «опыт трагического», он пришел на этой основе к «несравненно широкой человечности понимания», которая способна уравновесить, смягчить напряженно-тревожное и трагически-болезненное состояние душ и умов, характерное для Европы XX века.

«Без такой опоры и равновесия нам всем трудно было держаться», – напишу я в этом эссе.

Но все эти оговорки, все напряженные мысли как-то теряли значение, когда он, ненадолго приезжая в Москву, вдруг звонил, звал в гости или на вечер – и я оказывался вновь в атмосфере, близкой моему сердцу: звучали новые стихи, и не надо было думать об оценках, был голос Давида и хмель в голове, было присутствие поэзии, прекрасной поверх отдельных стихов или строк. Без него жизнь, оказывается, была совсем другой.

(Она и стала заметно другая теперь, без него.)

23.11.1987. Давид читал стихи из своей новой книги «Горсть». Он приехал продвигать двухтомник в Гослите, говорит, что его выдвинули на Государственную премию на будущий год, и есть шансы, что дадут. Это бы решило его финансовые проблемы и дало бы возможность года 2–3 спокойно работать над прозой, не отвлекаясь на переводы. Начал работать над пьесой по «Доктору Живаго». Говорит, что стихи из романа нравятся ему больше, чем ранние, кроме некоторых.

– Почему ты читаешь не все, некоторые стихи пропускаешь? – спросил я.

– Да они так себе.

– Зачем же ты пишешь стихи так себе? – сказал математик Ю.Л.

– Знаешь, мои так себе лучше, чем их хорошие. И потом, жить-то надо.

В какой-то момент я спросил:

– Скажи, тебе хорошо живется?

– Нет, – покачал он головой. – Сказать в двух словах причину: груз годов. Я ведь как всегда жил? Пил вино и баб ебал. Теперь все не так.

При этом он выглядел по-прежнему оживленным, остроумным. На вечерах замечательно отвечал на записки. Как-то его попросили прочитать «Сороковые, роковые», он отказался:

– Когда я читаю «Сороковые, роковые», мне кажется, что не я их написал. Как будто мне их в школе читали.

(В другой раз рассказал, как на одном из вечеров забыл свои стихи и какой-то мальчик из зала ему подсказывал – знал наизусть.)

На записку, есть ли у него увлечения помимо поэзии, ответил:

– А вот этого я вам не скажу. Когда был молодой, были, конечно, увлечения, а сейчас – что уж...

Потом на банкете за кулисами А. Городницкий поднял тост:

– У всех гениальных людей жены красивей их. Выпьем за Галину Ивановну.

– Это подкоп, – мгновенно откликнулся Давид. – Я красивей ее, но она гениальней.

Хорошо, не правда ли?..

Вообще его экспромты, юмористические стихи, письма, надписи на книгах (некоторые теперь собраны и изданы) – особый разговор. Мне кажется, немногие из профессионалов этого жанра могут с ним тут равняться. Я ценю эту область его творчества ничуть не меньше так называемых «серьезных» стихов – хоть и давались они ему как будто играючи, без усилия.

Я сделал вновь поэзию игрой  
В моем кругу, –

сказал он сам. Его способность к рифмованным импровизациям вообще казалась мне, прозаику, непостижимой: лишь на секунду задумавшись, он сочинял стихотворную надпись на книге.

Приведу лишь один из таких экспромтов. Поздравляя меня в письме с очередным днем рождения, он сумел, по-моему, виртуозно зарифмовать мою не очень поддающуюся рифме фамилию, да еще вместе с именем:

Пусть иные хари тонут,  
Уходя во мрак.  
И да будет Харитонов  
Марк!

Письма приходили время от времени. Приведу еще два. Когда у меня, наконец, – в пятьдесят один год – вышла первая книга, все повести в которой были для меня так или иначе связаны с именем Самойлова: и «Прохор Меньшутин», и «Этюд о масках», и «Два Ивана», и посвященный Самойлову «День в феврале», Давид откликнулся на нее письмом:

«10.03.1989

Дорогой Марк!

Твою книжку я воспринял как личную радость. Листал ее и убедился, что все хорошо помню.

Ты молодец. Не делал уступок. Выстоял. Ждал. Писателю нужно, кроме таланта, огромное терпение.

Ты свое время не упустил. Я ведь тоже поздно начал печататься. Первая книжка вышла, когда мне было уже тридцать восемь. Прозаики соответственно могут начинать и позже. Уверен, что книга твоя будет замечена лучшим читателем и высоко оценена.

Сейчас почти все пишут плохо. Ты один из немногих, кто пишет хорошо. Ты мастер.

Еще раз поздравляю тебя и Галю».

Ну как было не любить такого человека!

Вообще же это письмо оказалось одним из самых грустных – грусть была навеяна и собственным состоянием, и состоянием времени. Я процитирую его дальше:

«У меня особых новостей нет. Осенью написал две небольшие поэмы, которые пойдут в “Октябре” и в “Неве”. Несколько новых стихов отдал в “Знамя” и в “Даугаву”. Что-то пишется. “Огоньковский” цикл ты, наверное, видел.

Сейчас сижу за огромным переводом. Болят глаза. С этим делом надо кончать.

Несмотря на тихую жизнь, не покидает чувство тревоги. События развиваются быстро и непредсказуемо. Но это ты и сам знаешь. Сейчас, как никогда, работает фактор времени. Если произойдет неожиданный (или возможный) слом, все пойдет прахом. И может настать эпоха жуткая. И все же что-то уже необратимо. К сожалению, в России все понимается после, потом.

Россия кается и сожалеет. Но все это задним умом. Опять-таки надо ждать.

Семейство в порядке.

В апреле собираюсь в Дубулты. А в мае в Москву. Позвоню тебе, т.к. надеюсь побыть в Москве “тихо”, без выступлений и суматошных дел. Повидаемся. Поговорим.

Посылаю тебе маленькую “Беатриче”. Возможно, что почти все ты читал. Но в книжке это смотрится иначе.

Жду двухтомника и новой книги “Горсть”.

Привет Гале. Привет от Гали.

Обнимаю тебя.

Твой Д.

10.03.1989».

На этот раз он против обыкновения поставил дату.

Последнее письмо от него датировано 30 ноября 1989 г., но получил я его уже в декабре:

«Дорогой Марк!..

Веселого мало... Народное мнение, мне кажется, в главном сползает вправо. Процесс естественный при топтании на месте, непоследовательности властей и законодателей.

Прогнозы печальные. Оттого хочется жить сегодняшним днем, делать свое дело.

Стихи, как обычно, приходят не каждый день. Двухтомник дал мне возможность не заниматься текучкой. Надеюсь, наконец, засесть за последовательное писание воспоминательной прозы, есть довольно много кусков. Их надо дописать, связать, свести воедино»...

Без малого через два месяца его не стало.

В его смерти есть что-то хрестоматийно-классическое – он умер на поэтическом вечере в Таллине памяти Пастернака. Это была смерть поэта – легкая смерть, какой, говорят, дано умирать праведникам. Передавали его последние слова, когда он ненадолго очнулся: «Ничего, ребята, все в порядке».

Его смерть навалилась на нас в ряду других, внезапных, одна за другой: смерть еще одного нашего друга Натана Эйдельмана, смерть А.Д. Сахарова. Что-то вдруг сразу и резко ухустилось в этом мире. И словно опустело вокруг.

Потом были похороны в крематории. Я стоял у гроба, смотрел на лицо Давида с заострившимся, как это бывает у покойников, сразу каким-то очень еврейским носом, и мне хотелось прочесть изумительные его стихи, точно заранее для этого дня написанные:

Хочу, чтобы мои сыны  
и их друзья  
несли мой гроб  
в прекрасный праздник погребенья...

Но не решился – и крематорская обстановка не располагала. А стихи звучали как бы сами собой, внутри:

И все ж хочу,  
чтоб музыка лилась,  
ведь только дважды дух ликует:  
когда еще не существует нас,  
когда уже не существует...

Дальше начиналась уже его посмертная жизнь – в стихах и прозе, которые по сей день продолжают доходить до нас впервые, не читанные прежде, как доходит не сразу, спустя срок, свет погасшей звезды.

*Февраль–март 1995*

## ИЗ КНИГИ «СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА»

Без малого полвека назад, делая повседневные записи на самые разные темы, я стал пользоваться стенографией, несколько отличной от общепринятой. Помимо основного преимущества, скорописи, такой способ в советское время обеспечивал и необходимую безопасность. Там были заметки о злободневных событиях, литературные и прочие размышления, впечатления о встречах, о разговорах с людьми. Перечитывать их годы спустя оказалось сверх ожиданий интересно. Часть этих записей за 1975–1999 годы я решил расшифровать. Так возникла книга «Стенография конца века», которую выпустило в 2002 году московское издательство «НЛО».

Стоит ли говорить, что я продолжаю свою стенографию и в новом тысячелетии? Некоторые записи последних лет показалось небезынтересно расшифровать, сгруппировав их вокруг заголовков и убрав даты. Так стала складываться новая книга «Стенография начала века», фрагменты которой предлагаю читателям.

### Переключки

По ходу работы понадобилось полистать «Игру в бисер» – и невольно зачитался описанием «фельетонной эпохи».

«Люди ходили танцевать и объявляли любые заботы о будущем допотопной глупостью, они с чувством пели в своих фельетонах о близком конце искусства, науки, языка»,

«с каким-то самоубийственным сладострастием констатируя в фельетонном мире, который сами же построили на бумаге, полную деморализацию духа, инфляцию понятий», «получали уйму анекдотического, исторического, психологического и всякого прочего материала», «пробирались через море отдельных сведений, лишенных смысла в своей обрывочности», «склонялись в свободные часы над квадратами и крестами из букв, заполняя пробелы по определенным правилам», и т.п. Как будто о наших днях. «Образовательные их игры были не просто бессмысленным ребячеством, а отвечали глубокой потребности закрыть глаза и убежать от нерешенных проблем и страшных предчувствий гибели в как можно более безобидный фиктивный мир».

Это писалось 60 лет назад. Термина «виртуальная реальность» еще не существовало. «Приближалась ужасная девальвация слова, которая сперва только тайно и в самых узких кругах вызывала то героически-аскетическое противодействие, что вскоре сделалось мощным и явным и стало началом новой самодисциплины и достоинства духа».

Мне здесь нравится эпитет «героически-аскетическое» – таким может быть личное сопротивление упадку. Утопия совместного противодействия виделась Гессе чем-то вроде монастырского ордена. Соотнести ее с реальностью будущего убедительно не получилось: перемены произошли более мощные и масштабные, чем он мог представить (даже не пытаюсь мысленно заглянуть дальше автомобиля и радио). И все-таки сопротивление не может не остаться потребностью, хотя бы на уровне самосохранительного инстинкта. Без него – разложение, вырождение, гибель. Какие-то механизмы, природные ли, духовные, исподволь начинают работать.

Каким жутким казался когда-то «Бобок» Достоевского! Мертвецы получают напоследок возможность разговариваться. «Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться... Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»



Но сейчас-то это самое обычное дело, и не только словесно обнажаются – взаправду. Во времена Достоевского тоже об этом писали (комментаторы поминают Боборыкина и других), но критики морщились и зажимали носы.

«Не плоть, а дух растлился в наши дни», – философствовал Тютчев. И тогда это было, и раньше. Сейчас ничто не кажется даже скандалом, вот в чем, пожалуй, новизна. Не морщатся, не зажимают носы, не ощущают мерзкого духа. И что такое дух?

Для попутных надобностей заглянул в книгу С. Лема «Сумма технологии», которой когда-то восхищался. И случайно открыл на странице, где Лем рассуждает о переменах, которые может привести в человеческое существование новшество – противозачаточные препараты, «радикально отделяющие размножение от наслаждения, скрепленного с ним эволюцией». Цитирую немного. «Химически гарантированная бесплодность соития способствует ослаблению связей между половыми партнерами». «Средства, удовлетворяющие желания или влечения, могут вывести из равновесия аксиологическую систему общества..., способствовать (косвенно) признанию лишними различных трудно учитываемых эротических традиций..., вызвать “аксиологический коллапс”, то есть спад системы ценностей». «Атрофия ценностей, начало которой положено технологией, имеет характер необратимого процесса»...

Посмотрел дату на последней странице – это писалось в 1966 году. Всего (уже!) 36 лет назад. Развитие шло своим чередом, осуществилось многое другое, о чем Лем лишь фантазировал («Интеллекtronика», «Фантомология»). Чем это обернется в будущем, до сих пор остается гадать; возможно, и нынешнее состояние продержаться долго просто не сможет, придется что-то выправлять. («Обмен ценностей на выгоды – это современная форма хищнического хозяйничания».) Но как быстро все стало меняться при нас!

Все еще не сразу спохватываюсь, когда слышу: «В середине прошлого века». Какого века?.. Господи, да это о временах, когда я ходил в школу.

## Исправление языка

Я мало слежу за прессой – неужели никого не покоробили дежурные журналистские штампы? Если Куба, то с добавлением «остров свободы». Ким Чен Ир – «вождь корейского народа». Сотрудники службы безопасности – «чекисты».

С острова свободы пытаются убежать, рискуя жизнью. Про вождя нечего говорить. О чекистах напомнила недавняя идея восстановить памятник Дзержинскому: это они осуществляли массовый террор, расстрелы ни в чем не повинных заложников, стариков, женщин, без суда, следствия, даже без формального приговора – ну, описание их деяний может занять тома.

Употребляются эти слова как бы с насмешливым подмигиванием: мы-то с вами знаем, какая на острове свобода, какая цена титулу вождя... Нет, словоупотребление вовсе не так безобидно.

Философ и литератор Федор Степун вспоминал о первых годах советской власти: «Службы для власти всегда было мало, она требовала еще и отказа от себя и своих убеждений. Принимая в утробу своего аппарата заведомо враждебных себе людей, она с упорством, достойным лучшего применения, нарекала их “товарищами”, требуя, чтобы они и друг друга называли этим всеобщим именем социалистического братства. Протестовать не было ни сил, ни возможности... Как ни ненавидели советские служащие “товарищей”-большевиков, они мало помалу все же становились в каком-то утонченнейшем стилистическом смысле “товарищами”. Целый день не сходящее с уст и наполнявшее уши слово проникало, естественно, в душу и что-то с этой душой как-никак делало Слова – страшная вещь: их можно употреблять всуе, но впустую их употреблять нельзя. Они – живые энергии и потому неизбежно влияют на душу произносящих их людей».

Профессиональное исследование темы осуществил в своей книге «ЛТИ» («Lingua Tertii Imperii» – «Язык третьего рейха») немецкий филолог Виктор Клемперер. Еврей, переживший годы нацизма в Германии, он наблюдал за пропагандистским

и бытовым словоупотреблением, в том числе и среди своих товарищей по несчастью (глава «Язык победителей»). Постепенно он стал замечать, что евреи обнаруживали склонность употреблять язык нацистской пропаганды как бы в насмешку, пародируя, ерничая. Они употребляли выражения «кровь и почва», «мировое еврейство», обращались друг к другу, как обращались к ним надсмотрщики: «еврей такой-то». «Они усвоили все антисемитские выражения нацистов, в том числе специфически гитлеровские, и так привыкли к этому способу выражаться, что, пожалуй, сами перестали замечать, насколько высмеивали фюрера, насколько самих себя и в какой степени этот язык самоуничужения стал их собственным».

Исследует ли кто-нибудь на таком уровне живой опыт нашего языка, недавний и нынешний?

## Состояние культуры

Гамбургский еженедельник «Ди Цайт» подводит итог последней художественной выставки «Documenta-10». «Важнейшим произведением выставки стал чудовищный четырехтомный каталог общим объемом 2636 страниц». Социологические, политологические, философские комментарии и концепции практически вытеснили и подменили то, что прежде называлось искусством. Искусством можно объявить что угодно. Художники склеивают картины из пластыря или вырезают бетономешалки из дерева – рынок все время требует чего-то новенького. «Приходится мириться с тем, что произведения живут все более короткое время. Это оглуляющая игра, из тех, что превращают правила в содержание».

Нехитрый парадокс: выгоднейшее из этих правил – нарушать правила. Толковать при этом о бунтарстве и независимости – значит явно лукавить. Менеджеры охотно берут строптивцев к себе в офисы: экстравагантные выходки неплохо служат рекламе, привлекают к фирме внимание. Имена можно использовать как фирменную этикетку, манера и стиль тиражируются по законам рынка. И если деньги платят за это,

а не за картины тех, кто продолжает себя называть художниками – какое искусство считать современным?

Вспомнилось: «У художника прежде была судьба, теперь нужен ”прикол”».

То и дело возобновляются споры, есть ли будущее у литературы. Утратившие к ней интерес склонны считать, что его утратило все человечество, ссылаются на статистику. Неопровержимо доказать противное, пожалуй, так же нельзя, как доказать существование Бога. Для верующего он есть, без этого жизнь потеряла бы смысл, неверующий обойдется.

Вдруг поймал себя не просто на литературоцентризме – на чем-то вроде литературного шовинизма. Может ли быть полноценной жизнь без поэзии, без книги?

И тут же вспомнились слова байкера, мотоциклетного гонщика: когда я держусь за рога своей «ямахи», только тогда я живу по-настоящему. Другим этого не понять.

Жизнь разделена на бесчисленное множество разнообразных, почти не соприкасающихся отсеков – не может быть общих интересов, тем для разговора, даже языка.

И все же литература – один из универсальных инструментов, позволяющих полноценно ощущать и осмысливать жизнь в самых разных ее проявлениях. Включая и кайф этого байкера.

Издательство «НЛО» выпустило книгу Андре Шиффрина «Легко ли быть издателем. Как транснациональные концерны завладели рынком и отучили нас читать». Я познакомился с Андре Шиффриным в 1994 году в Париже. Он незадолго перед тем (в 1990-м) основал издательство «Нью Пресс», выпустил по-английски мой роман «Линии судьбы», говорил о желании издавать литературу действительно высокого уровня – и о том, насколько это в Америке непросто. В книге, которая была закончена в 2001 году, он пишет теперь, что как раз тогда,

в 90-е годы стала все ощутимее нарастать цензура рынка, массового вкуса и прибыли.

«Изучив издательские планы за несколько десятилетий, я с уверенностью заявляю: здесь перемены произошли значительные и, возможно, необратимые... За последние десять лет книгоиздание изменилось больше, чем за все предшествующее столетие».

Из анализа, данного Шиффриным, можно понять, что на книжном рынке спрос определяет предложение не так уж стихийно. Поставщики коммерчески выгодной продукции формируют этот рынок сознательно, умело, с использованием рекламных, маркетинговых и всяких других технологий. Он цитирует мемуары одного своего коллеги, который «с красноречивой брезгливостью» пишет о поставщиках известных бестселлеров и в то же время «отзывается о книгах этих пошляков как о неотвратимом будущем издательского дела, которое все теснее срастается с индустрией развлечений».

Вывод приходится сделать такой: куда качественное чтение было запрограммировано обществом как норма, оно и было нормой для миллионов. Тоталитаризм облегченной, развлекательной, массовой культуры искусственно формирует категорию потребителя, не желающего, да и не способного напрягать мозги для мало-мальски серьезного чтения. Сужается круг людей, которые еще могут сопротивляться, поддерживать уровень.

Время от времени в переписке с Г. Файбусовичем [Б. Хазанов] мы возвращаемся к той же теме: литературная, культурная ситуация в России. Насколько она отличается от ситуации, скажем, в Германии, где он теперь живет? Имеют ли смысл разговоры о какой-то нашей особенности, подстраиваемся ли мы все основательней под общемировую тенденцию?

В недавнем письме он мне отвечал так:

«Разумеется, то, о чём мы говорим, – неслыханное доселе порабощение литературы рынком, – удел всех стран, где

сформировалось массовое общество, и Германия, может быть, один из самых ярких примеров. Россия, как это бывало не раз, на всех парах догоняет ушедшие вперёд нации, неосознанная цель – создать именно такое общество. Но, достигнув определённого уровня, оно вырабатывает – или пытается выработать – механизмы противодействия, которых я в России пока не вижу».

И в другом месте уточняет:

«Тут хороший повод поговорить на любимую тему: о бездуховном Западе. Тем не менее в развитых странах, где цивилизованный плебс – потребитель культуры – обладает несравненно бóльшими возможностями навязывать людям духа свои вкусы, этот самый “дух”, казалось бы, обречённый окончательно испустить дух, оказывается, ко всеобщему удивлению, неожиданно живучим. Иначе невозможно объяснить тот странный факт, что время от времени снимаются фильмы, о которых заведомо известно, что публика будет уходить с сеанса, не досмотрев и трети, выходят в свет книги, которые прочтёт ничтожная часть населения. И, однако, они снимаются и выходят в свет, чтобы встать со временем на подобающие им места в истории искусства и литературы. Дело в том, что разрушить традицию так же трудно, как перестроить биологическую природу человека; и, подобно природе, она жива постоянным обновлением. Дело ещё и в том, что высокая, то есть заведомо убыточная, культура сама по себе институционализована (прошу прощения за это неудобоваримое слово). Два фактора имеют здесь первостепенное значение: меценатство и новая инкапсуляция культуры, давно порвавшей с народностью, инкапсуляция, которая может напомнить эпоху Высокого средневековья – XIII век. В конце концов демократизация культуры – изобретение недавнего времени; эпохи, когда литература была достоянием ничтожного меньшинства, – правило, а не исключение».

Протестантский немецкий теолог Дитрих Бонхеффер, казненный нацистами в апреле 1945-го, писал из тюрьмы:

«В иные времена христианство свидетельствовало о равенстве людей, сегодня оно со всей страстью должно выступать за уважение дистанции между людьми и за внимание к качеству... Мы переживаем сейчас процесс общей деградации всех социальных слоев и одновременно присутствуем при рождении новой, аристократической позиции, объединяющей представителей всех до сих пор существующих слоев общества... С позиции культуры опыт качества означает возврат от газет и радио к книге, от спешки – к досугу и тишине, от рассеяния – к концентрации, от сенсации – к размышлению, от идеала виртуозности – к искусству, от снобизма – к скромности, от недостатка чувства меры – к умеренности. Количественные свойства спорят друг с другом, качественные – друг друга дополняют».

1945 год! Гессе уже написал свою касталийскую утопию, я полвека спустя фантазировал о возможности новой, духовной элиты. Это и тогда, и сейчас могло быть только утопией: существование не отдельных самоотверженных, аскетических служителей духа, а чего-то вроде ордена, способного влиять на развитие общества, поддерживаемого, может быть, властными инстанциями, обладателями экономических возможностей...

Нет, об этом приходится до сих пор лишь фантазировать. Кто возьмется остановить хищническую погоню за прибылью – в перспективе, очевидно, для всех губительную? В существующей системе все слишком взаимосвязано: если не стимулировать излишнее, в сущности, потребление, остановятся производства, возрастет безработица – ну, и т.д., это общеизвестно.

Цитату из Бонхеффера приводит в своей работе «На грани третьего тысячелетия» покойный профессор В.В. Налимов, с которым я был когда-то знаком. На последней странице он приходит к выводу: «В нынешней планетарной ситуации можно надеяться только на вмешательство космических сил».

Тут я умолкаю. (Имеются в виду, насколько я мог понять, вовсе не инопланетяне. Обсуждается физическая

концепция, согласно которой «судьба каждой частицы оказывается связана с судьбой всего космоса – не в тривиальном смысле воздействия сил из окружающей среды, но в том смысле, что сама ее реальность включена в универсум»). Для понимания нужно перестроить само человеческое сознание – каким образом?

## Недостаточность философий

Все философии недостаточны и всегда будут недостаточны – ограничены возможности словесного выражения. С усилием пробуем мы вообразить мироздание, состоящее из элементарных частиц; но представить его имеющим не три или четыре, а восемь, десять, одиннадцать измерений, где элементарные составляющие имеют вид вибрирующих волокон (так называемая string-theory), можно только математически, и доступно это лишь горстке узких специалистов. Зато они вряд ли поймут без перевода на доступный язык премудрости другой специальности, а остальное, подавляющее большинство и вовсе не сможет ничего понять. Единая теория поля не обеспечит единого – истинного – понимания мира. Бесконечное разрастание частных знаний не может найти объединяющего выражения, не может вместиться в ограниченном человеческом мозгу. Можно добиться большей эффективности мозга, подключить ему в помощь изощренные технологии, можно представить объединение многих мозгов в систему. Но если человеческая природа в принципе не изменится, приближением к тайне и полноте останется считать мистические видения, фантастические, поэтические образы.

## Гении и шедевры

А все-таки начался действительно другой, XXI век. Непонятное обещание. Недавно я попробовал спросить других и себя: есть ли сейчас подлинно великие художники? Прошлый век был плотно ими заполнен, от начала до конца. Пикассо,



Матисс, Шагал – летом я листал многотомный альбом гениев. Никто не перешел в новый век. Наверно, я их просто не знаю? Но если они и невозможны, и не нужны? Развертывается действительно новая цивилизация? Науку движут корпорации, индивидуальные гении не обязательны? Особый разговор о литературе. Современники обычно не распознают гениев, я и в этой области никого не могу назвать. Но что, если они окажутся невозможными просто потому, что не нужны?

Краем уха слушал теледискуссию на провокационно сформулированную тему: шедевры могут создавать только мужчины. Говорили вещи общеизвестные: об исторических, социальных, физиологических аспектах фактического неравенства мужчин и женщин, о праве на юридическое равенство и т.п. Но я подумал: создание шедевров представляется всем как некая привилегия, приносящая славу и житейское процветание. А вспомнили бы, как это создание шедевров оплачивалось жизненной трагедией, бедствиями, мучительным напряжением, преждевременной смертью, а слава и успех редко бывали прижизненными. И тут же возник другой вопрос: а так ли уж сейчас кому-то хочется действительно создавать шедевры, которые слишком дорого стоят? Можно ли вспомнить такие шедевры и людей, создавших их, за последнюю четверть века? Были достижения технологические, успехи проката; нобелевские премии отмечали либо достижения весьма давние, либо тоже скорей технологические, результат коллективной работы лаборатории и т.п. Назовите шедевры в живописи, музыке, литературе, кино? Так вот, человечеству, может быть, не особенно уже этого хочется? Может быть, его больше устраивают развлечения, приятные ощущения, технологические достижения? Устраивают и женщин, и мужчин – трудно сказать, кого больше. Женщины, бывало, жертвовали собой, стимулируя честолюбие мужчин. Сейчас это не модно.

«Что порождает у читателя гениальной книги скуку? Иногда скуку порождает обилие выраженной мысли. Я здесь

имею в виду не количество мысли, которое никак не переходит в качество. Я имею в виду другое: скуку как напряжение ума при чтении..., как вообще лень мыслить... «Мыслить» – не означает отдых. Мыслить есть деяние». (Я.Э. Голосовкер. О интересном.)

Звучит все знакомо и понятно. Но называть ли описанное скукой – или как-то иначе?

По поводу разговоров о том, что не стало подлинных событий в искусстве, литературе. Событие – понятие субъективное. Событие – это явление, ставшее для кого-то значительным; другие это событием могут не считать. Гениальное открытие, не воспринятое в свое время, событием не становится, но его гениальность объективно доказуема. Теория относительности, сформулированная Эйнштейном еще в 1905 году и принявшая вид общей теории в 1915 году, интересовала первоначально лишь сравнительно узкий круг специалистов. Событием она стала, когда во время солнечного затмения 1919 года астрономическая экспедиция подтвердила предсказанный Эйнштейном факт отклонения светового луча под влиянием гравитации. Вот это стало газетной сенсацией, это публика восприняла: экспедиция, затмение, отклонившийся луч света. После этого он стал знаменит.

Возможно ли такое в искусстве и литературе? Как тут объективно доказать гениальность?

Меняется время, меняемся мы. Меняются вкусы времени, меняются наши вкусы. Если наши вкусы меняются вместе со вкусами времени, это означает следование моде. Несовпадение со вкусом времени может означать старомодность, но может означать верность собственному пути, сопротивление массовой безликости, иногда – превосходство, предвосхищение еще не понятого другими. Впрочем, простая оригинальность вполне проходит по разряду массовых добродетелей.

## Юра Карабчиевский

Вечер памяти Юры Карабчиевского. В зале собрались в основном люди, знавшие его, но кто-то лично с ним не был знаком. Пишущие часто бывают мало похожи на то, что они написали. Юра был в этом смысле предельно адекватен тому, что писал. Он был на редкость органичен, не допускал ни в чем никакой фальши.

Мы были с ним в добрых отношениях. Нас обоих тогда не печатали. Его, впрочем, иногда печатали в эмигрантских изданиях. Он подарил мне некоторые оттиски, я давал ему читать свои рукописи. Как раз тогда по рукам ходила рукопись моей повести «Два Ивана», о временах Ивана Грозного. Возвращая ее мне, Юра не стал скрывать, что это не его литература. «Я понимаю, – сказал он, – что это настоящая литература, хорошо написано и т.д. Но я не понимаю, как можно писать о том, чего сам никогда не мог видеть, знать». Он действительно мог писать только о том, что лично видел, знал, пережил.

Встречаясь, мы больше всего говорили о литературе – что могло быть тогда интересней для таких, как мы? Я помню, как высоко он однажды отозвался об Андрее Битове. Личные отношения у них тогда были не самые лучшие, но он написал о нем статью. (Она была напечатана, кажется, уже после его смерти.) Я помню, как он сказал: «Битов – первый русский писатель после Достоевского, который считает нужным судить о человеке не по его поступкам, не по тому, что он делает и говорит, а по его затаенным, иногда как бы не произнесенным мыслям, в которых он проявляется вовсе не таким симпатичным, каким хотел бы казаться, прежде всего себе».

И я помню, как стал с ним спорить. Каждый человек, сказал я, действительно может поймать себя на малодостойных, просто омерзительных мыслях. Он может не только пожелать кому-то смерти, но в мыслях столкнуть его с обрыва, может мысленно натворить неприятному человеку самых гнусных пакостей. Нам приходится за кем-то ухаживать,

кого-то выхаживать, это трудно дается – можно поймать себя на мысли: хоть бы это поскорей кончилось. И т.д. – перебирать можно сколько угодно. Но ловить то и дело человека с поличным на недостойных, компрометирующих душевных движениях и мыслях, уличать – вот он какой – на самом деле несправедливо. В этом есть какая-то неправда. Характеризует человека способность сопротивляться этим душевным движениям, брезгливо или с ужасом их отстранять, действовать вопреки им...

Он выслушал меня очень внимательно и сказал: «Над этим стоит подумать».

Иногда мне кажется, что ему – именно потому, что он умел быть предельно честным, – оказалось непросто разрешить в самом себе какое-то противоречие. Может, тут стоит искать один из ключей к его драме.

В нашей памяти остался человек очень светлый, чистый, честный – и очень грустный.

## Еще о постмодернизме

Долгий разговор с профессором К. Одна из его мыслей: стало невозможно преподавать студентам систему знаний, их не интересует система, историческое развитие и т.п. Все равноценно, все взаимозаменяемо. Традиционная культура Европы чужда все растущему числу приезжих, африканцев, мусульман. События 11 сентября – важный, может быть, переломный момент, люди ощутили угрозу. Протест против глобализации – также протест против ситуации, которую К. называет постмодернистской. На мой вопрос, есть ли аналогия с периодом упадка Римской империи (гедонизм, проникновение варваров, которые не становились римлянами), ответил отрицательно. Там еще действовали традиционные принципы, законы, были те же боги; варвары становились римлянами и получали посты уже в третьем-четвертом поколениях и т.д. Конец Римской империи принесло христианство. (Я подумал: а может быть, ту же роль сыграет теперь ислам?..)

Из справочника по постмодернизму: «Истина основывается на тех искусственно выстроенных аргументах, в которые поверил создатель аргументации, и живет за счет круговой поруки тех, кто согласился эту истину разделить».

Я бы тут заменил слово «поверил» – может быть, сконструировал, вера тут ни причем, но ситуация (в литературе, в критике, филологии, философии) мне знакома. Я начинаю понимать, что такое постмодернизм.

## Слова

Дневник Д. Хармса от 31 октября 1937 года : «Меня интересует только “чушь”... Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт – ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищенность, вдохновение и отчаянность, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, радость и смех».

Перечитываю это сейчас со все большим пониманием. Что значило в его время геройство, пафос, мораль? Как достойны противопоставленные им понятия живой жизни!

Были времена, когда «геройство» вызывало уважение, а не внутреннее сопротивление. Когда оно не проповедовалось фальшивыми командирами, посылавшими солдат на бессмысленную смерть. Когда это порождалось внутренним чувством, душевным выбором.

И, возможно, еще по-новому зазвучат слова, которые понадобятся противопоставить опасной стадии распада.

Появляются, исчезают новые слова, к современному жаргону приходится привыкать, как к реалиям новой жизни. Пуристом не надо быть – неправильно и бесполезно. Вот только цену бездумного словоупотребления сознавать бы надо – оно не безобидно. «Киллер» в своем, английском, языке звучит так же, как по-русски «убийца» – в нем нравственный, оценочный, давно устоявшийся смысл. У нас это как бы обозначение профессии. Так и говорят: «профессиональный киллер», с не-

которой даже почтительностью. Или «вымогатель» – понятная мерзость. А «рэкетир» – персонаж, термин. Это не безобидно, это надо, произнося, сознавать, этому надо сопротивляться.

## Правда жизни

Режиссеру говорят: почему в ваших картинах сплошные убийства, мордобой, зверства? Искусство должно отражать жизнь, – отвечает интеллигентно. Сам бритый, с модной щетиной, цепочка золотая на шее.

Насчет «отражать» – особый вопрос. Почему это оно должно отражать? Не зеркало. У него другие задачи. Но ведь и не отражают картины реальную жизнь, лукавит режиссер. Реальность убийств и преступной жизни скорей узнаешь по милицеским документальным съемкам. Изуродованные лица, тела, мерзость, блевотина. Фильмы эту реальность эстетизируют со вкусом, эффектно. После стрельбы и ударов, от которых должны разлететься мозги, киногоеничные персонажи картинно падают, не растрепываются даже прически, из уголка губ сочится красивая кровь, а выжившие обходятся ссадинами. На этом делаются деньги, не надо говорить о реальности. И не надо утверждать, что это не вдохновляет подростков на подражание. Доказано, что вдохновляет.

В лесу уже несколько месяцев стоят две самодельные палатки, покрытые большим куском полиэтилена. Здесь обосновались бездомные, которых теперь называют бомжами. Жгут костры, при них собаки полаивают на проходящих. А последние два дня еще один такой, грязный, нечесаный, согревает на костерке чайник прямо неподалеку от железнодорожных путей, иногда читает газету. Между тем уже мороз  $-17^{\circ}$ . Сегодня у речки два бомжа подкрадывались к плавающим уткам с рогаткой. Есть хочется. Но вряд ли можно попасть из рогатки по маленькой голове.

Все больше бродячих собак. Говорят, если бы не было этих, набежали бы другие, из Подмоскovie. Зато уже вторую

зиму не вижу на снегу заячьих следов – не собаки ли их уничтожили? Необходима поправка к моим восторгам по поводу лесных красот.

Больница. Рядом со мной – искривленный маразматик, что-то иногда начинает мычать, пробует двигаться, вонь от него, как из уборной. Пришедшая к нему женщина, как ни странно, его мычание расшифровывает. «Какое пиво? Нет у меня пива, здесь нельзя... И денег у меня нет... Как это вру? Не вру. Вот завтра тебя выпишут, дома получишь пива». Позавчера такого же выписали: вылечить уже нельзя.

Санитары, увозя на каталке только что умершего:

– Поехали, родименький. Такой еще тепленький. Отдыхай, миленький.

Сегодня близко к нам умерло четверо; может, в отдаленных палатах умер кто-то еще, мы не видели.

Б. Хазанов пишет в рецензии на мою «Стенографию конца века»: «Порой его охватывает отчаяние», – и цитирует: «Посмотришь в зеркало. Ты старик на шестом десятке. Ты перенес кучу всяких болезней. Первая книга у тебя вышла в 51 год, богатства ты не нажил, успех относителен. Страна, в которой тебя угораздило родиться, глубоко и безвылазно неблагополучна. И ты продолжаешь утверждать, что при этом можно непрестанно радоваться жизни, ощущать себя в этой жизни счастливым?...». Странно, что здесь он обрывает цитату, не дает продолжения: «...что с этим именно чувством просыпаешься каждое утро, с благодарностью за прожитый день засыпаешь?». Вот уж чего нет – отчаяния. Я и нынешнюю свою болезнь воспринял более светло, чем мои близкие... Может быть, слишком легкомысленно – пронесло действительно мимо большой беды (пока пронесло). Но, может, эта легкомысленная жизнерадостность помогла мне выбраться – отчаяние бы погубило?

В прозе можно подробно описать больничную палату, впечатления бессонной ночи после операции в реанимационном

отделении, постоянную, без суетливости, деятельность персонала – но как это совместить с музыкой, которую я там слушал через наушники с плеера? «Вариации на тему рококо» П.И. Чайковского (компакт-диск подарил мне когда-то М.В. Ростропович – дивная музыка, изумительное исполнение).

Музыкальные завитушки  
Куртуазный пастух и пастушка  
Бело-розовые зефиры  
Запах пудры пота и жира

Сквозь сиянье и трепет сцены  
Вонь болезненных выделений  
Медсестра принимает смену  
Невесомая как виденье

Переливчатость дивной драмы  
Пары мелко сучат ногами  
Улыбаясь уходит вбок  
Врач-красавец как полубог

Это, конечно, не для поэтического сборника – просто страничка из дневника. Но иначе этого смешанного чувства не выразить.

Додумать: палата реанимации и, скажем, лагерь беженцев. Где больше несчастных? Нужны не эмоциональные междометия, а деловитость профессионалов.

## Стихи и проза

Один мой герой признается, что не может долго читать прозу. Многословная, недоделанная, непереваренная литература. Все можно выразить куда более сжато, емко. Он даже пытается проиллюстрировать свои слова собственными стихами – поэт с репутацией несерьезного графомана. Сочинять их пришлось для него мне самому – слегка над собой, конечно, посмеиваясь.

И между тем чем дальше, тем все серьезней, все заинтересованней поглядываю в ту сторону – задумываюсь о поэзии.



Поэзию, как известно, отличают от прозы не рифмы, не количество строк или ритмическая организация. Поэзией может быть и проза. Определить ее особое качество непросто. Мандельштам говорил о невозможности пересказать подлинно поэтический текст. Набоков писал о поэзии как способе познать тайны иррационального при помощи рациональной речи. Мне, прозаику, всегда хотелось стремиться к этому.

«Чему научается прозаик у поэзии? – писал в своем эссе “Поэт и проза” Иосиф Бродский. – Зависимости удельного веса слова от контекста, сфокусированности мышления, опусканию само собой разумеющегося».

Я этому старался учиться. Просматривая иногда заметки, наброски разных лет, сделанные, по обыкновению, на небольших листках бумаги, я все отчетливей сознавал, что многое надо еще до конца додумать, то есть более концентрированно, емко, в конце концов, адекватно выразить, проявить, оформить впечатление, мысль, чувство. Не до конца додуманное, оказывается, значило не до конца оформленное.

Как поначалу пробные, черновые строки могут стать однажды поэтическим текстом? Вряд ли кто объяснит. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется»... – только и ответит поэт.

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит», – когда читаешь такое, слова кажутся уже существовавшими неизвестно где – услышанными, проявленными, запечатленными:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мне доля –  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег...

Каково было, однако, прочесть потом в комментарии, что это всего лишь «необработанный отрывок». Как необработанный, как отрывок? В подтверждение приводился оставшийся в рукописи план продолжения:

«Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу – тогда удались он домой.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь etc. – религия, смерть».

Да, ничего не скажешь, тут перед нами проза. Написано, вероятно, в июне 1834 года, когда Пушкин пытался выйти в отставку и поселиться в деревне. И сказано вроде о том же. Уехать бы в деревню. Ну, пусть чуть более поэтично: «перенесу я мои пенаты в деревню». Начинаться, значит, могло и так, у самого Пушкина. А потом вдруг: «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Как выразился бы Мандельштам: «И вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаньях моих». Вспышка, порожденная накопленным напряжением. Вначале было все-таки бормотание, непростой, иной раз долгий труд; надо было перечеркивать слова, перемарывать черновики, – сколько их у Пушкина! – шевелить беззвучно губами, откладывать перо, корить себя за праздность...

«Как ни ломают голову, определения поэзии нет и не будет, – признавала Н.Я. Мандельштам. – Нет также критериев, чтобы отличить подлинную поэзию от мнимой, суррогатной».

То же можно сказать и о прозе – о ее поэзии. Остается лишь изумление перед чудом, возникающим непостижимо. И постоянная попытка к нему приблизиться, с пером в руке что-то для себя проясняя, улавливая, укрупняя – чтобы на миг ощутить себя по-настоящему, полноценно живущим.

## Усталые мысли

Вчера заглянул в дневник Хармса – жалобы 37-го года на творческую (и всякую вообще) импотенцию. «Никаких мыслей». «Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили что-либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине. Это было, когда я сидел в тюрьме... Человек должен постоянно заниматься своим делом, чтобы быть счастливым». Бесперспективность, безденежье, голод. Нет, сравнений, конечно, даже быть не может.

Мне просто кажется, что я не работаю: что-то читаю, думаю. И вдруг – рождаются какие-то строки.

В книге «Возрастная психология» рассматриваются разные типы «жизненного мира». Высшим, согласно одной из концепций, считается так называемый сущностный жизненный мир. Все черты этого «сущностного» мира, находят, в частности, у М. Пришвина после 65 лет.

Я не раз обращал внимание на эту цифру: для многих она оказывается этапной. На Западе это, среди прочего, дата выхода на пенсию. Питирим Сорокин, выйдя в 66 лет в отставку с должности гарвардского профессора, ощутил, «что молодость, зрелость и пожилой возраст закончены, что я вступил в старость, которая со временем перейдет во мрак смерти» («Дальняя дорога»). Странно, что это чувство определяется всего лишь цифрой возраста, фактом отставки.

Что я могу ответить судящим мою «Стенографию»? Это не написанная мною книга, это фрагменты прожитой однажды жизни. Какая была. Отменить, переделать ничего нельзя, редактирование было бы ложью. В мемуарах я сумел бы позаботиться о большей взвешенности суждений – с высоты нового возраста, нажитого понимания; в дневниках я бываю несправедлив. Уже не исправишь. Разве что сделать побольше купюр.

Все то же, который раз то же. Оглядываешься, сознаешь все острее, как был глуп, сколько натворил ошибок, как неправильно себя вел, неправильно жил – как о многом можно жалеть. Уже не исправить, не переделать – но переоценить, понять, изменить бы напоследок что-то в себе, додумать, осуществить то, чего не сумел раньше, так, как хотел бы.

Почему все никак не получается? Может, потому, что себя жалеешь, не допускаешь мысль до глубин болезненных, страшишься правды, как поражения? Счастливое – несмотря ни на что, вопреки всему – мироощущение – совместимо ли оно с этой правдой? Не обеспечивается ли оно поверхностным

легкомыслием, нежеланием что-то признавать, видеть? Или есть некая полнота, включающая умственное понимание?

Я пишу это и вспоминаю, что почти буквально те же слова уже выводил на бумаге, те же сомнения оставлял без ответа. Но сейчас-то жизнь куда как всерьез напомнила о неизбежной перепроверке.

«И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». (Книга пророка Захарии, 1.15.)

## Терезинские евреи

Великое человеческое дело делает Лена Макарова. Она по крупичкам, по чудом уцелевшим остаткам, буквально из пепла восстанавливает, возвращает из небытия жизни, судьбы, личности бесследно, казалось, исчезнувших людей – обитателей Терезинского концлагеря. Помню, как лет уже 15 назад она принесла мне и попросила перевести с немецкого два-три попавших к ней в руки письма погибшей там, почти никому не известной художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейсовой. Теперь о Фридл написаны книги, ее сохранившиеся картины выставляются. В сознание людей возвращаются все новые имена. Это действительно стало делом Лениной жизни.

И вот она подарила мне книгу, в которой собраны дневники обитателей Терезинского концлагеря\*. Непростое для души чтение, надо бы написать об этом по-настоящему – я пока не готов. (Вспомнилось, как однажды ходил в одиночестве по жуткой территории этого лагеря – с чувством, что даже сейчас от долгого пребывания там можно сойти с ума.) Запишу лишь, как странно вдруг соединились мысли – что-то поневоле переводилось на язык нашей жизни.

Оказывается, даже в концлагере люди вели дневники. Бытовые подробности, добыча скудного пропитания, склоки,

---

\* Крепость над бездной. Терезинские дневники 1942–1945.

болезни, слухи. Страх, постоянное чувство унижения перед надсмотрщиками, боязнь наказания. Споры сионистов и «ассимилянтов», заботы о воспитании детей, размышления о книгах, занятия искусством, живописью, музыкой, театром (там было даже кабаре). Член совета старейшин, сионист, еще лелеющий мечту попасть после войны в Палестину, обязан сам составлять списки людей, назначенных для отправки с эшелонам в Освенцим – и сокрушается, как это непросто: решать, кого посылать, по сути, на смерть, кому оставаться (пока) в живых. Девочка, прослушав оперу «Тоска», восхищается: как все-таки талантливы евреи, даже здесь способны заниматься искусством. Удивительный народ.

В самом деле, какой-то особый случай, – пытался понять я. В Освенциме евреи становились такими же доходягами, как все заключенные. В Терезине просто собрали интеллигентов со всей Европы, позволили им на время пользоваться бумагой и красками, ставить спектакли, сочинять музыку, вести дневники.

И следом – вот ведь невольное сцепление – мысль: не были ли мы все, так называемая советская интеллигенция, кем-то вроде этих терезинских евреев? Тоже имели возможность что-то сочинять, заниматься искусством, рассуждать о высоких материях – поживаясь, когда из соседней квартиры кого-то опять уводили. А какой-нибудь Фадеев переживал, вынужденный визировать списки, кого-то старался вычеркнуть. Потом он, правда, мог на месяц уйти в запой, в Терезине такой возможности не было. И там трудней было считать это все-таки нормальной жизнью, находить для нее обоснования.

Осмыслить это до сих пор не вполне удастся.

## Оптимизм или пессимизм?

Книгу П. Тейяр де Шардена «Феномен человека» выпустили у нас в 1965 году под грифом «Для научных библиотек», то есть для ограниченного пользования. Тогда же мне и попал

в руки экземпляр. А написана она была еще в 1938–1940 годах, послесловие добавлено в 1948-м – при нынешних темпах развития науки очень давно. С новым интересом я заглянул в нее сейчас.

«На киноплёнке появляется пятно. Внезапно разряжается электроскоп. Этого достаточно, чтобы физика была вынуждена признать наличие в атоме фантастических сил». Сейчас, думаю, не назвали бы эти силы фантастическими. «Чтобы дать мысли место в мире, мне было необходимо интеръизировать материю, вообразить энергетику духа, представить себе в противовес энтропии восходящий ноогенез».

Я сразу же принял его концепцию ноосферы – объективной реальности, созданной человеком в процессе той же последовательной, неизбежной эволюции, что породила вслед за атмосферой биосферу, требовала постоянного усложнения. Вершиной развития стало появление человека и его мысли – теперь деятельность его мысли меняет саму планету. Землю покрывают искусственные сооружения, окружают, пронизывают новые энергетические поля, электромагнитные, радиационные; насчет «энергетики духа» можно пока лишь догадываться.

С точки зрения натуралиста, как называет себя палеонтолог Тейяр, новое развитие началось совсем недавно. «Во все эпохи человек думал, что он находится на “повороте истории”. И, до некоторой степени, находясь на восходящей спирали, он не ошибался». Однако именно сейчас, по его мысли, «осуществляется глубокий вираж мира, способный смять его». Он пишет об оправданности тревог, которые мучают современного человека – и все-таки считает органической, естественной его способность не останавливаться, двигаться к какому-то предельному самораскрытию.

«Абсолютный оптимизм или абсолютный пессимизм. И никакого среднего решения между ними... Два и только два направления – одно вверх, другое вниз, и невозможно, зацепившись, остановиться на полпути... Жизнь, достигнув своей мыслящей ступени, не может продолжаться, не поднимаясь

структурно все выше». Отказ от развития был бы губителен, пример некоторых восточных цивилизаций показывает, в какой тупик это может завести. «Мы смутно предвидим, что бессознательность – это своего рода неполноценность или онтологическое зло».

Читая это когда-то, я еще не задумывался о многом, как вынужден задумываться сейчас. Все более дают себя знать опасности, связанные с технологическим развитием, экологические угрозы; механизированный труд вовсе не поощряет массы людей мыслить, обогащая ту самую общую ноосферу, с которой связывает человеческое будущее Тейяр; высвобождающийся все более досуг тратится вовсе не для интеллектуальных занятий, как он предвидит, наоборот, для бездумного расслабления и т.п.

Тейяр все сомнения опровергает опять же, как натуралист.

«Жизни требовалось полмиллиона, может быть, миллион лет, чтобы от предгоминидов перейти к современному человеку, а мы начинаем отчаиваться от того, что этот современный человек еще борется за освобождение самого себя... Каждому размеру свой ритм». Человек не может не справиться со своими проблемами. Точнее – даже не человек, а человечество.

«Трудно сказать, имеются ли еще на Земле Аристотели, Платоны и Августины (каким образом это доказать? А, впрочем, почему бы и нет?..) Но ясно, что, опираясь одна на другую (будучи сведены в одно место или собраны в фокусе зеркала), наши современные души видят и чувствуют ныне мир, который (по его размерам, связям и возможностям) ускользал от всех великих людей прошлого».

Наверное. Вопрос лишь в том, как все-таки эти современные души (в том числе и мою) свести в одно место, собрать в фокусе зеркала – какого?

## О плодотворности разногласий

По поводу моих недавних размышлений о все возрастающей раздробленности, дифференцированности культуры, о невозможности единого понимания. В журнале «Goethe\Merkur» несколько статей о новом времени, которое надо принимать, «как оно есть» – именно «как следствие процесса возрастающей дифференциации». Попытки «восстановить разрушенное единство или воплотить в реальность фантазии о единстве», – пишет один из авторов, – основаны на изначальном непонимании того, что «у истоков развития должен быть разрыв, а в его начале – разногласия». «Различные воинствующие движения против нового времени и модернизма едины в своем стремлении запретить именно то, что делает новое время и модернизм столь привлекательными: самокритику и внутренние разногласия, которые являются обратной стороной юмора и комичности».

Да, вот о юморе, самоиронии не надо бы забывать. «Антонимом к насыщенной разногласиями дискуссии является несостоятельность». Именно желание утвердить единую для всех истину можно считать одной из причин исторического отставания ислама и связанного с этим отставанием фанатизма. Истовая, мрачная серьезность бывает убийственной. Александрийская библиотека была сожжена по приказу правителя, заявившего, что миру достаточно одной книги – священной. Европа, еще недавно прозябавшая по сравнению с цветущим арабским миром, переживала тем временем Возрождение с его географическими открытиями, новым представлением о космосе, переосмыслением мира, расцветом науки, техники, разнообразных искусств. В современной исламской культуре невозможна самокритика; попытки свободомыслия, переосмысления, переоценки ценностей и догматов подавляются весьма жестоко, «еретика» могут убить. Вместо открытого будущего – ориентация только на прошлое.



Развитие современного мира все более проблематично, чревато угрозами и рисками – но без проблематичности, без рисков не было бы развития. Остановить его нельзя, можно и нужно лишь корректировать, постоянно разрешая все новые проблемы, находя себе место в разрастающемся, необъятном разнообразии. Каждый в отдельности может и должен противопоставлять неприемлемым представлениям свою, выработанную пожизненным усилием систему ценностей – так поддерживается доброкачественность живого, многоэлементного, самонастраивающегося процесса. Но не может быть возврата к утраченной простоте, строгости нравов и прочему. Попытки реализовать инфантильные, «идеальные» утопии оказываются губительными (так возникали тоталитарные режимы). Серьезность без иронической поправки, без открытости диалогу делает человека ограниченным, закостенелым; в худшем случае самые добрые намерения могут обернуться фанатизмом.

## Зола и пламень

Среди страниц дневника были заложены листочки с выписками без даты, захотелось их вписать в дневник. Листочки я откладываю, потом в них не заглядываю, дневник иногда просматриваю – имеет смысл это себе напоминать.

«Нет худшего несчастья, чем не знать того, что для тебя является достаточным». (Лаоцзы, 46.)

«Неуверенность, всегдашняя причина неудач в практической жизни – прямой, иногда единственный источник какого бы то ни было внутреннего богатства». (Эмиль Мишель Чоран. Разлом.)

Стоило бы, наверно, уже отказаться от стенографии. Записываю иногда, может, что-то достойное внимания, и неизвестно, будет ли время и желание расшифровать эти закорючки.

Стал просматривать записи, оставшиеся нерасшифрованными, – и отложил. Хочется заняться чем-то более питатель-

ным. При всех сокращениях – сколько забытых подробностей, их все больше и больше; но вот работа подходит к концу, и видишь, что долгая уже жизнь укладывается не более чем в стопку бумаги. Ну, пусть добавится еще стопка-другая – как обозримо, ограничено, то есть конечно. Ну, что есть, то есть, большее – уже за пределами написанного. Вечером читал понемногу книгу «Лаоцзы» (там есть мой перевод из Hesse), и наткнулся на замечательную сентенцию Чжуанцзы: «Для рук, заготавливающих хворост, наступает предел. Но огонь продолжает разгораться, и есть ли ему предел – неведомо».

По удивительному совпадению, записав минуту назад эти строки, раскрыл том Борхеса на стихотворении «Джеймсу Джойсу» – наугад – и прочел:

И вот создания наших рук – зола,  
Но распаленный пламень – наша вера.

С поправкой на «художественный» русский перевод – перекличка, похожая на почти буквальную цитату.

## Хаос и музыка

Открыл по рабочей надобности 3-й том А. Блока и неожиданно зачитался «Возмездием». «Семейную» историю, которую он тут хотел рассказать, я сейчас не вполне воспринимаю, она скорей для прозы, но характеристика времени, XIX и начала XX века местами замечательны.

Маңдельштам, помнится, говорил, что XIX век был, может быть, нашим золотым веком. А тут: «Железный, воистину жестокий век» – и дальше по пунктам. «Двадцатый век... Еще бездомней, еще страшнее жизни мгла».

Это о годах, которые сейчас с ностальгией называют Серебряным веком.

Есть своя правда и в том, и в другом.

Как понять, ощутить свое время изнутри? Оно всегда противоречиво, складывается из радостей и трагедий, из очарования и разочарований, из житейских впечатлений, мелочей

и стихийных потрясений Блок в предисловии перечисляет мелочи, из которых складывалось ощущение времени в 1910–1911 годах, когда писалась поэма: смерть Комиссаржевской, Врубеля, Толстого, которые ему показались этапными событиями, убийство Ющинского (дело Бейлиса), необычайная жара, забастовка в Лондоне, «знаменательный эпизод Пантера-Агадир» (пришлось заглянуть в комментарий, чтобы вспомнить: речь шла о заходе германского крейсера в марокканский порт, который вызвал напряжение между Германией и Францией), «расцвет французской борьбы в петербургских цирках», мода на авиацию, убийство Столыпина... «Все эти факты, казалось бы, столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл».

Стоит подумать. (Правда, когда он пишет, что «выражением ритма того времени... был ямб» – спрашиваешь себя: почему?)

И я ведь, как многие, думаю об ушедшем, XX веке, почти две трети которого прожил подробно, на своей памяти, о действительно новом XXI веке, с новыми угрозами, вряд ли предсказуемым будущим, «новой музыкой». Я думаю об этом, пробуя осмыслить новейшие концепции хаоса. Мне обобщенная концепция пока не дается. Возможно, она сама собой складывается из таких вот разрозненных стенографических записей.

В журнальной статье памяти нобелевского лауреата Ильи Пригожина излагаются некоторые его выводы. «Хаос может быть конструктивен – он порождает новый порядок и не ведет к потере гармонии». «Вся эволюция органического мира – это диссипативный процесс (диссипация – рассеяние), ведущий к постоянно возрастающей сложности». «Сложность в природе невозможно свести к некоему принципу глобальной оптимальности. В своей погоне за сложностью природа занимает более прагматическую позицию, в которой существенную роль занимает поиск устойчивости». Известно, что модели Пригожина, позволяющие описывать явления и процессы, которые не вписываются в детерминистические пред-

ставления, приложимы и к физике, и к биологии, и к социологии, и к истории.

В статье «Переоткрытие времени». Пригожин цитирует историка Марка Блока о том, как меняется в наше время понимание истории, о трансформации самого «ремесла историка»: «Как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молодая». То же самое Пригожин пишет о переменах в самой точной, казалось бы, науке – физике. «Идеи по поводу детерминизма систем... показали после 1960 года свою полную несостоятельность». «По ту сторону феноменального мира следует искать вневременную по сути истину, отрицающую как необратимость, так и событийность».

Профаны пока не осознают и уж во всяком случае не понимают этих еще не вполне ясных, глобальных перемен, но по сути чувствуют, что барахтаются в каком-то непонятном, бурлящем потоке. Есть ли у него направление, можно ли его уловить, хоть в какой-то мере предвидеть? Блок писал о музыке происходящего. Тейяр де Шарден писал о движении к некой точке омега, для него было очевидно, что развитие ведет ко все большему усложнению, и это внушало ему оптимизм.

Я возвращаюсь к мыслям, над которыми давно задумываюсь. Я думал об искусстве как преодолении хаоса – но это не упрощение, если хаос порождает новый порядок и не ведет к потере гармонии. (Современное искусство – тоже об этом.) Я думал, что простая социальная система, вроде коммунистической, может оказаться долговечной, устойчивой – к счастью, ошибся; иначе, видимо, быть не могло. Пригожин (как до него и Тейяр) показывает, что сложные системы устойчивей. Стремление вернуться к счастливой первобытной простоте (которое демонстрируют некоторые фундаменталистские течения) ведет к отсталости. Искать некую единую – объединяющую – систему ценностей (глобальную оптимальность) непродуктивно и невозможно. Приходится устраиваться в этом все более сложном,

дифференцированном мире, обживать частный пяточок, не надеясь на всеобщность. Всеобщими могут быть моды, экономические законы, законы природы наконец. Но даже единая религия вряд ли возможна. А существующие лишь кажутся одинаковыми для всех адептов, всякий находит в общей религии свое.

«Но ты, художник, твердо веруй в начала и концы», – на ту же тему. Блок еще исходил из того, что «в каждом дышит дух народа». Кто сейчас может так сказать о себе? Не думские же депутаты. Что такое дух, что такое сам народ? Даже руководителям стран лишь может казаться, что они направляют события, – история, как всегда, возникает из столкновения разнообразных противоречивых сил. Но общее направление в результате складывается статистически, как в физике оказывается направленным хаотическое мельтешение частиц. Поэт неопределенно говорит о «музыкальном смысле».

Бесформенны ли облака, переменчивые, неуловимые, неопишуемые? Они лишь случайно могут оказаться похожими на понятную форму.

Но есть ли что прекрасней этой бесформенности?

Мы выискиваем в этой бесформенности красоту. Как выискиваем (создаем) смысл в жизни.

## Элиты и массы

Заголовок книги Кристофера Лэша «Восстание элит и предательство демократии» отсылает к «Восстанию масс» Х. Ортеги-и-Гассета. По мысли Лэша, сейчас происходит не столько «восстание масс», сколько «восстание элит» – против ценностей, которыми они не так давно дорожили; массы же, напротив, становятся консервативной силой. «Элиты утратили точку соприкосновения с народом». Принцип свободы в культуре и жизни не соотносится с другими принципами: автори-

тета, традиции, долга, это ведет на путь вседозволенности и цинизма. Каждый имеет право на «свободу для себя». «Сегодня уже невозможно воскресить те абсолютные истины, что когда-то, казалось, давали прочные основания для возведения надежных умственных построений». «Изначальное отвержение авторитетов и объективного порядка ценностей, – пишет рецензент, – превращает культурный процесс (чем дальше, тем больше подминающий под себя религию) в самотек, в условиях которого человек оказывается в слишком большой зависимости от непосредственной окружающей его среды и складывающихся обстоятельств. С ослабленным внутренним стержнем каждый плывет туда, куда его несет, а кто “посмелее”, еще и подгребает по течению».

(Мне вспомнился сон из моей повести «Конвейер» – что-то похожее:

«Не надо ничего понимать, только поддаться, плыть куда-то в общем потоке. Движению не требуется даже помогать, шевелиться. Несет и несет, вместе со всеми, дальше и дальше. Плавно. Ни вращающихся колес, ни перемен вокруг, ни шума ветра в ушах – одно лишь чувство движения. Мягкие прозрачные пузыри колыхались рядом. Внутри коричневых вод созревали, улыбались зародыши. Чувство сладкого головокружения. Кругом что-то лопалось, бормотало. Не надо ничего выяснять, и спрашивать некого. Головы возникают среди пузырей, бритые и волосатые, в египетских уборах, чалмах и тюрбанах, рыцарских шлемах и армейских касках... Берега покрыты использованной шелухой. В заводи пахнет тинной или брожением, тут зарождается что-то новое, а задержаться нельзя».)

Западная культура все более терпима к тому, что прежде называлось аморальным и наказуемым. Священники благословляют гомосексуальные браки, в Голландии легализовано употребление наркотиков, в Дании, по сути, узаконена педофилия, родители не возражают против изучения

в школах порнографии («надо объяснять детям реальный мир»). Между тем в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни шведскую парочку (или только женщину), занимавшуюся любовью в автомобиле, на улице. Мусульманский мир противопоставляет Западу свои моральные представления – и все более агрессивно стремится распространить эти представления на весь мир. Похоже, что вырождению, расслабленности и упадку противостоит набирающая силу витальная «пассионарность». Демографическая тенденция работает в ее пользу.

Но не случайно, что этот свободный, разнообразный, все более терпимый мир создает все более процветающую цивилизацию, добивается успехов в науке, технологии, наращивает благосостояние – и, между прочим, подкармливает часть мира, закосневшую в своих представлениях, отвергающую модернизацию, неспособную к ней (не просто в силу исторической ситуации – по внутренней сути).

Вспоминается и другое: морализаторство тоталитарных режимов, которые искореняли проституцию, сажали за гомосексуализм, уничтожали душевнобольных, сжигали вредные книги, запрещали «выродившееся искусство», пропагандировали «крепкую семью» и т.п. Не буду сейчас обсуждать сомнительность их собственных ценностей, лицемерие, преступную практику.

Надо бы продумать, как соотносится процветание со свободой, многообразием, отказом от традиционных запретов, насколько полноценно существование людей в этой цивилизации, делает ли она их действительно счастливыми – и какие у нее перспективы. Требуется постоянная корректировка, сопротивление хотя бы немногочисленных людей, продолжающих хранить, культивировать и обновлять систему ценностей, необходимых для общего выживания.

Нет общечеловеческой единой культуры, есть множество разных, разобщенных, мало знающих друг о друге культур, национальных, племенных, религиозных. Есть культура примитивных охотников за головами и культура технократического

общества. Есть неисчислимое множество мелких и мельчайших субкультур, профессиональных, возрастных, конфессиональных. Субкультура подростковая, молодежная, субкультура спортивных фанатов, субкультура компьютерных специалистов – перечислять можно бесконечно.

Ловлю себя на смущении: возможно ли для такой разноголосицы нечто вроде общего интеграла, общее понимание, общий язык? Ответ выглядит, как ни странно, простым. Общее для всех – рождение и смерть, необходимость сохранения и поддержания жизни, а значит, любовь мужчины и женщины (то, что не служит продолжению рода, можно считать отклонением). Общее – болезни, страдания и здоровье. Общее – небо над головой, солнце, звезды. Общая земля во всем ее разнообразии. Интеграл, можно сказать, бытийный, но он же определяет совместимость, взаимопонимание культур.

Прочел рассуждения бойкого журнального автора о свободе – и мысленно противопоставил им слова Мандельштама о подчинении «организующей» идее: в награду за абсолютное подчинение она дарит личности абсолютную свободу. Мне эта мысль казалась важной, я цитирую ее в эссе «Определения свободы» вместе со словами Франка: только служа Богу и подчиняясь ему, человек осуществляет свою свободу.

И вдруг устами мысленного оппонента с усмешкой себе возразил: но не так ли могут сказать о себе нынешние исламские фанатики, готовые взорвать себя вместе с десятками неповинных людей ради служения своей идее, своему Аллаху? Это, значит, свобода?

Надо еще подумать.

Надпись на бетонной ограде у железнодорожных путей:

Мой папа Аллах, а мама овца,  
Хочу довести я ваш мир до конца.



## Шум времени

Несколько дней, проезжая, наблюдаю за разборкой мухинской скульптуры «Рабочий и колхозница». Сначала без голов, потом без рук, на фоне вечернего неба, она обретала черты все более значительной, по-настоящему современной пластики. Сейчас от женщины осталась только нижняя часть. Фантастическое зрелище.

Файбусович написал мне, что в Мюнхене обсуждали его книгу «Миф Россия»: насколько она сохранила актуальность? Книжка вышла по-русски в 86-м году, по-немецки еще раньше, то есть лет 20 назад. Я ее прочел году в 88-м, высоко оценил, при этом некоторые ее положения показались мне самоочевидными, некоторые – теряющими актуальность. После 91-го года показалось, что этот миф вообще все больше становится достоянием истории. Сейчас взял полистать – увы, тематика неожиданно возвращается, самоочевидные вещи приходится повторять.

Позавчера по ТВ Явлинский излагал тезисы своей новой книги «Периферийный капитализм». (Уже сбивается память: может быть, «Провинциальный капитализм»? Так не хуже.) Главный тезис: в России происходит рост без развития, так же, как в странах третьего мира. Развитый мир интересуется не цена, не количество, а качественное содержание, интеллектуальная насыщенность (это уже мой пересказ), высокие технологии и т.п. Развивающиеся страны обречены остаться развивающимися навсегда. Лет 15 назад Файбусович говорил мне, что так думают на Западе о России. Явлинский, как я понял, считает, что шанс прорваться еще есть, хотя время уходит. Но это проблема комплексная: развитие невозможно без демократической организации общества, без независимого суда, независимого парламента и т.д. Вещи, в общем, тоже известные, но сформулировано с убедительной четкостью. Рост без развития – эта формула должна быть воспринята, принята к сведению – если люди у власти заботятся о перспективе.

Безрадостное чувство. Меня это уже не так близко касается, доживу в этой стране. Что придется решать детям? По ТВ показывали украинскую новинку: местного производства мобильный телефон размером с видеокассету. Работает. Можно считать символичным. Не говорю о крайностях: в одной передаче показывали человека, который живет на отшибе, не моется 30 лет, (камера показывала: буквально заросший грязью, наверно, и пахнет от него), дает этому какие-то обоснования; питается картошкой с огорода и свекольным отваром, который заготавливает на зиму; хлеб ему приносят из соседней деревни. Может, и в других странах есть такие особи, не знаю.

Один участник теледискуссии сказал, что в Нигерии столько же лауреатов Нобелевской премии по литературе, сколько в России. Надо проверить.

Вчера по ТВ думский депутат, отвечая на вопрос об аресте миллиардера Ходорковского, сказал: все естественно, состоялся термидор, начинается реставрация. Я усомнился в своей памяти: почему такое сравнение? Взял с полки три книги Манфреда о французской революции и Наполеоне, полистал... Нет, конечно, аналогии всегда относительны. Термидор, как и революция до него, – это было все-таки непрерывное гильотинирование. Но я зачитался некоторыми подробностями, характеристиками. Из чего складывается история! Из благих намерений, корысти, бессилия и насилия, нелепостей и подлостей, лжи и жестокости. Если бы в самом деле можно было без этой истории обходиться, покончить с ней, хотя бы думать о чем-то более достойном! Но ее подробности оказываются подробностями нашей жизни.

В «Новой газете» открытое письмо президенту, где ему задаются очень резкие вопросы по поводу Чечни. Почему никак не закончится война, не начинаются переговоры, пропадают бесследно деньги?.. Вообще газета полна самых мрачных оценок и предсказаний неизбежной «третьей чеченской войны».

Опровергнуть ничего нельзя, подтвердить может время (или достоверная информация). Но ощущение от многого бывает противноватое.

А вечером телевизионные новости усугубили чувство токсичной пустоты. Краснодарские коммунисты затеяли сбор средств на поддержание мумии Ленина в надлежащем состоянии. Художники-концептуалисты устроили на водохранилище свой сбор Клязьма-арт. Один раскрасил стволы берез красной краской, другой одел стволы в национальные наряды, это должно что-то значить. Целая группа художников открыла фестиваль акцией: из трусов вылетели вверх петарды. Певица Мадонна с подругами устроили сенсацию: целовались на эстраде, изображая из себя лесбиянок. В Москве проходит фестиваль северокорейского кино, на экране медсестра скальпелем убивает врага, остальных раскидывает приемами восточных единоборств. Зрительницы, московские кореянки, с умилением вздыхают о Ким Ир Сене: какой он был человечный, какой добрый! Корейские участницы фестиваля рыдали в истерике: плакат с изображением их вождя был повешен слишком низко и не очень ровно, это было для них оскорблением. Американцы ведут с Пхеньяном переговоры, убеждают корейцев не создавать атомную бомбу, те ставят условия: вот если заключат договор, окажут экономическую помощь... Исполнилось 80 лет знаменитой блатной песенке «Мурка», сейчас ее исполняют в стиле рэп. Автобус врезался в грузовик, много погибших. Новый молодой чемпион мира никак не хочет встретиться с Каспаровым, объявили новый турнир. Когда-то во время матчей по ТВ показывали и комментировали шахматные партии, сейчас интересуются только скандалами, гонорарами, в шахматы, кажется, никто не играет, я даже имени этого чемпиона не запомнил. Что было еще? Наш президент приехал в Италию. В Челябинске осквернили мусульманское кладбище. Очередное убийство в Дагестане. Вот новости дня, о которых сочли нужным рассказать. Странная какая-то психология больных, полуидиотов – такое нагнетается ощущение.

По ТВ отмечали юбилей покойного Че Гевары. Говорили о легендарной личности, о необыкновенном человеке, который не стал нежиться на пуховиках, достигнув вершины власти, почестей и благополучия, отправился сражаться дальше, в Боливию, где и погиб. Человек, у которого можно поучиться желающим жить яркой, активной жизнью. За что сражался Че, что хорошего сделал для боливийских крестьян, вообще для всех – всерьез не обсуждается. Известно, что натворили его сотоварищи с Кубой, откуда с риском для жизни люди пытаются до сих пор убежать. Может быть, счастье, что он не успел натворить большего.

Объяснить это поклонникам, надевающим значки и майки с изображением культового революционера, бесполезно. Не содержание важно, существенна потребность, запрограммированная в крови, в генах определенного процента не перебродивших молодых людей. Как определенный процент людей неизбежно будет воспроизводить склонность к насилию, буйствам, преступлениям. (И человеческому обществу, наверно, нужны клапаны разного рода, чтобы спускать избыточное давление.)

Нас в свое время учили восхищаться революционерами – но теоретически. Самим – ни-ни.

На эскалаторе метро к каждому светильнику приклеено по крохотной листовке АКМ («Акция красной молодежи»). «Революция будет!», «Мы победим!», «Доллар рухнет!». И какие-то проклятия Макдоналдсу, крохотные карикатурки.

На телеэкране мелькает неохватный калейдоскоп мира, шум в голове, в себе всего не соединить. Можно лишь попробовать, как блюда разнообразнейших кухонь, но собственной, своей жизнью это не становится. Жизнь не столько разнообразится, сколько размельчается. В юности об этом мечталось, с возрастом все важнее сосредоточиться, ненужное пропустить мимо – разве что ради справки, ради сравнения с тем, что считаешь своим.

В «Иерусалимском журнале» повесть И. Берковича «Свобода» и рассказы Л. Левензона. Еврей в Канаде, еврей в Таиланде, еврей в Израиле. Нигде не могут чего-то найти. Может быть, себя. Пожалуй. И ведь сбьлись подростковые мечты: открытый, разнообразный мир, все нации, все кухни. Ни с чем нет внутреннего соприкосновения. Внутри пустота. Можно ли найти что-то вовне? В Канаде арабы, курды, латинос, китайцы живут тоже не совсем своей жизнью. В чужом мире. Не отношения, не любовь – несущественные соприкосновения.

(Перуанское мясо под тайландским соусом. Мир в эпоху глобализации.)

Оставить на глобусе точки в местах своего пребывания  
Технически не сложнее, чем мухе. По всемирной сети  
Сообщается адрес, куда приглашают слететься,  
Потанцевать, побить стекла, выражая протест  
Или солидарность с теми, кто вправе нас ненавидеть.  
Тут же советы, как оживить выброс адреналина,  
От дома не удаляясь, мифология на сегодня,  
(Ритуалы, игры, татуировка, выбор по каталогу),  
Возможности кейфовать наяву, сокрушать мировое зло,  
Предотвращать катастрофы нажатием клавиш, отодвигая  
Возвращение в неизбежный сон, где снова надо искать  
Способы заглушить тоску. От этого не укрыться.  
Время все набирает скорость. Подростки стареют,  
Не успев повзрослеть. Новинки прошлой недели  
Свалены на блошином рынке вместе с игрушками детства,  
Словарями исчезнувших языков, вчерашней аппаратурой,  
Смысл которой забыт. Художник подыскивает объекты  
Для инсталляции «Новый век». Должен возникнуть образ  
Россыпи или осыпи, нарастающего навала. При этом  
Хорошо залепить бы пощечину вкусу общества –  
Если только найдется щека.

## Свое и чужое

По дороге в лес встретила группа китайцев. (Я часто вижу, как они собирают на лугу, на полянах, у самой железной дороги какую-то траву). Попутный старичок кивнул на них.

– Черные прошли.

– Какие, – говорю, – черные? Китайцы.

– Они у нас все захватывают.

– Ну уж! Не замечал.

– Плохо, что не замечали. Скоро станут у нас господами.

– Они хорошую капусту выращивают, салаты. Мы у них покупали. Чего же тут плохого?

– Говорят: вы бы без нас с голоду скоро подошли. Наша молодежь, она ведь спивается.

– Вот это, – говорю, – плохо.

Он уже почувствовал, что согласного собеседника во мне не найдет, свернул на другую дорожку. Но такие разговоры ведут между собой подолгу, всюду. Тем хватает, мнение общее, согласие обеспечено.

В немецком журнале «Kulturchronik» наткнулся на фразу Имре Кертеша, последнего нобелевского лауреата, пережившего Освенцим: «По-настоящему иррациональное и в самом деле необъяснимое – это не зло. Наоборот: это проявление доброты». Над одним этим стоит подумать. Зло можно вывести из прирожденной, биологической агрессивности (по К. Лоренцу), добро (доброта) – из области духовного? Но материнский инстинкт тоже можно считать биологическим, у животных встречается и альтруизм, и доброта вне рациональных объяснений. Стоит подумать.

Речь американского философа и германиста, австрийско-го еврея-эмигранта Джорджа Стейнера при получении премии Бёрне. Евреи, по его мысли, вечные изгнанники, чужаки. Древнегреческое «ксенокс» означает, кстати, и «чужак», и «гость». «Еврей, так сказать, по определению – гость на этой

земле, гость среди людей. Его предназначение заключается в том, чтобы служить человечеству примером этого состояния». (Подумалось: к Мандельштаму это, пожалуй, подходит, он был бездомным не по своему желанию. А вот Пастернаку нужен был дом, письменный стол, чтобы работать. Может быть, поэтому он уходил от еврейства, тяготился навязанной чужеродностью. А я? Я тоже, пожалуй, лучше всего чувствую себя дома, не хотел бы его менять.)

Теперь у евреев появился, наконец, дом – Израиль, они за него держатся, здесь они хотят остаться оседлыми, не чувствовать себя чужаками. Стейнера смущает, что необходимость жить во враждебном окружении вынуждает защищаться, убивать, «мучить и унижать своих соседей». «На протяжении двух тысяч лет преследований, массовых убийств, геноцида, гетто евреи никогда не унижали других людей, не мучили их... Лишил ли Израиль еврейство его нравственно-метафизического благородства?»

Между прочим, автор с удовольствием пишет, как «Лев Давидович Бронштейн, называвший себя Троцким», декларировал, «что границы существуют лишь для того, чтобы их преодолевать». Знает ли он про «красный террор», который не просто декларировал, но осуществлял Троцкий? Ох, что-то тут нуждается в перепроверке...

Вчера вечером взял книгу «Евреи и XX век», посмотрел главы об (ультра)традиционализме, сионизме, некоторые другие – возникло чувство, что еврейская нация заново оформляется, осознает себя именно в этом веке. В XIX произошел выход из гетто, приобщение к мировой культуре, стала массовой ассимиляция – драматический процесс, сопровождавшийся антисемитизмом, сопротивлением традиционалистов, возникновением сионизма. Все заставила переосмыслить Катастрофа, возникновение Израиля, население которого во многом условно можно пока считать одной нацией. Я только начинаю для себя открывать и осмысливать вещи общеизвестные.

Но тут же подумал о русской нации. Она осталась неоформленной по-другому. Эта молодая нация (немногим старше украинцев и белорусов) более-менее стала оформляться в XIX веке. До этого было больше заимствований, культурный слой и масса народа говорили на разных языках. (XIX век вообще век национальной идеи). Революция исказила этот процесс – может быть, безвозвратно. Мир, начиная, во всяком случае, с Америки и Европы, теперь все больше уходит от национальной идеи. Наступает век глобализма.

Евреи, которые внесли действительно великий вклад в современную цивилизацию и создали модернизированное демократическое государство – это были ассимилированные евреи. Религиозные ортодоксы так же отвергли бы (и отвергают) модернизацию западного образца, как ее отвергла и мусульманская теократия.

Сезонники откуда-то с Кавказа, в оранжевых безрукавках дорожных рабочих, присели отдохнуть в тени.

– Когда, наконец, взорвется эта Москва? – сказал один нам в спину.

– Завтра, – откликнулся другой.

– Вот хорошо бы!

А ведь приехали сюда зарабатывать. И говорят по-русски – для нас.

Вспомнилось, как зимой в подземном переходе приятель подошел к торговцу, у которого мы только что купили мандарины: «Все разобрали русские свиньи?».

## Праздные мысли на берегу

Мы шли вдоль моря и вспоминали: «Золотистого меда струя из бутылки текла». Провинциальный Крым. «Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем». Ощущение полноценной жизни. (Полноценное ощущение жизни.) «Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни».



Много ли надо, чтобы возникла гениальная поэзия?

Но почему-то не обитатели «печальной Тавриды» создали эти несравненные стихи. Нужно было оказаться приезжим из столицы, издерганным горожанином. Русскую провинцию, по крайней мере, надо было покинуть, чтобы ее воспеть.

Второсортная, второстепенная, второй свежести. Жизнь, мысль, осетрина. Об осетрине так сказать можно, а о жизни, о мысли?

В заурядном произведении может сверкнуть замечательная строка, деталь, образ, подсказка ищущему уму. Гении усваивали, перерабатывали, если угодно, массовый навоз, питались его веществом. А заурядные эпигоны, в свою очередь, перерабатывали созданное гением до состояния, которое проще усвоить. Гениев не всегда понять, особенно при жизни. Одними гениями не проживешь.

Не гений, слава Богу. Проще жить  
Не надрываясь, вровень с остальными,  
Которым ты понятен. Пропитанье  
Надежней, жизненные наслажденья  
Доступней без запросов. Для детей  
Сомнительное наследство – имя,  
Сопоставление с которым непосильно.  
От прочего их бережет природа.  
Она без надобности не плодит  
Тех отклонений, что сродни болезни.  
Основа жизни – норма. Кто взыскует  
Высот духовных, по ее подсказке  
Приходит в монастырь. Растволковать  
Не сразу ясное, разбавить в меру  
Для общего употребления – этим  
Со временем займутся. Будут вправе  
Гордиться, как законным превосходством,  
Сознанием сопричастности.

На песке обширные стаи чаек, все тела повернуты в одну сторону – клювами к ветру.

Анапа, на берегу моря, читая Бродского.

Представь жизнь в стране, где с голода не дадут умереть,  
Не оставят без крова над головой. Тут и начнется тоска,  
Недоумение, скука. Начнешь рассуждать  
О смысле или бессмысленности. Чем же еще заняться?

Мыслю – значит, существую, – сказал философ. День без единой мысли – считай, прожит впустую.

Почему не сказать: день без сделанной работы? Без единого события? Событие отозвалось бы мыслью.

Но можно запечатлеть: песчаный берег, чайки, прибой, мы лежим в дюнах, поросших туей, загородившись ими от ветра. Галя рисует, я читаю Pessoa и Бродского. Утро с ней. Пять километров вдоль берега. Виноград с хлебом – обед. Дельфины, песчаные скульптуры. И вино вечером. И мысль об этом.

Мыслю – значит, я существую, – вспоминаешь философа,  
Сидя с удочкой в камышах. Дрогнул ли поплавок,  
Ветерок ли смутил гладь воды, ничего не знача?  
Не клюет целый день. В голове ни единой мысли,  
Если не считать вот этой, не додуманной внятно,  
Несущественной, как на поверхности рябь,  
Второсортной, второстепенной, как можно сказать  
О заурядных стихах. Скажешь ли так о жизни?

Завершился международный конкурс на лучшую песчаную скульптуру. Песок оползает на глазах. Сохраним навеки. Вечная память. Сфинксы теряют по песчинке в сто лет, но тоже ведь выветриваются. Как горы.

Галерея скульптур. Тема: «Вечность».  
Материал: песчаник или песок.  
Степень плотности не имеет значения,  
Как и меры объема, веса,  
Единицы времени или таланта,  
Не говоря о подписях. Ветерок  
Выдувает где песчинку-другую,  
Добавляя оспин в лицо, где осыпет

Сразу струйку. Материал возвращается  
Дюнам или пустыне.

Со всем можно смириться. Собственная смерть неизбежна, к этому приходится привыкнуть. Тем более есть шанс, что это еще не конец, некоторые утверждают, что после смерти можно как-то продолжить существование, пусть хотя бы в виде неопределенной энергии, растворяющейся среди других. Какой-то смысл в этом можно вообразить. Что-то все-таки остается. Ладно, пусть и самой нашей планете рано или поздно придет конец, она остынет. Останутся другие – догадаемся, придумаем, как перебраться.

Но вот недавно ученые, оказывается, предположили, что через 23 миллиарда лет прекратит существование сама Вселенная. Как возникла она однажды в результате Большого взрыва, так и кончится. Лопнет. Совсем исчезнет.

Это уже совсем невыносимо. Зачем же тогда все? Зачем стараемся, что-то надеемся после себя оставить – если не будет никого? Всего через 23 миллиарда лет!

Увидел это лишь, так сказать, в профиль – и думаешь, что недоступную взгляду сторону уже представляешь.

## Вернувшись

Назвать ли «кризисным» мое нынешнее творческое состояние? Чувство, что возраст, опыт дали мне новое понимание – и неспособность выразить его действительно полноценно, мощно. Верлибры и дневниковая эссеистика лишь намекают на что-то, что мне мерещится. Биографии композиторов напомнили мне, как связаны музыкальные взлеты с жизненными переживаниями. Я переживания как бы от себя отстраняю. Вокруг миллионы нищенствуют, замерзают, спиваются, преступность на всех уровнях небывалая, тебя могут обокрасть, избить на улице, просто убить, другие в это время хамски прокручивают и прожигают добытые преступлениями миллионы... – не буду перечислять все приметы нынешней жизни,

вплоть до терроризма. А я напоминаю себе, что прежде жил во времена не менее страшные, изменить ничего не могу, не надо стыдиться, если сумел пройти эти времена невредимым, не запятнавшись. Дети вроде бы неплохо ощущают себя в этой жизни. Но чего же я не могу ухватить, передать? Перечитывал Пастернака: страшная история, как и личная жизнь, для него сродни природным стихиям, дождям, грозам, метелям. И в этом своя художественная правда.

Кажется, я о чем-то подобном уже писал. Кручусь вокруг тех же вопросов.

### Сознательное и бессознательное культуры

*«И что же может быть в бессознательном у русской культуры, которая всеми силами рвется к Богу, идеалу, вечности, любой ценой культивирует духовность и проч.? Правильно – дерьмо! И Сорокин это понял лучше, чем кто бы то ни было, и поэтому он, независимо от того, что он напишет дальше, уже вошел в историю литературы...»*

*Вышеприведенные рассуждения не позволяют мне согласиться и с восприятием культуры как абсолюта, а мучеников, вроде Мандельштама или Цветаевой, как святых».*

Из письма литературоведа М.Л.

*«Я сразу же в уме стал составлять Вам ответ, он получался довольно большим. Между тем мне надо было возвращаться к работе. Я открыл ее на странице, где не вполне ясный пока мне самому персонаж рассказывает моему герою: “Они говорят: признавай правду! Ты не хочешь признать правду? Скрываешься в мире галлюцинаций, искусства, поэзии, красоты? Мы тебя вылечим. Мы тебя заставим признать правду. Покажем, кто ты на самом деле такой. Когда превратят тебя в кучу мяса с кишками наружу, в помоечную собаку, в грязь, в дерьмо.”»*

Из ответного письма М.Л.

Продолжения пока не последовало. Вот некоторые разрозненные заметки.

Бессознательное культуры – для меня область темная. Интересно бы узнать у теоретиков, как оно выявляется, что это вообще такое? Откуда становится известно, что некая субстанция составляет содержимое этого бессознательного? Насколько это бессознательное соотносится со всегдашним инфантильным протестом против обрыдлых правил и норм, когда хочется пачкать стены непристойными надписями и картинками, демонстративно пакостить, всячески шокировать скучных блюстителей правил? И что там, в бессознательном, скажем, американской, немецкой, французской культуры? Или, допустим, сейчас, когда вызывающая эстетический восторг жижа все явственней прорывается уже в сознание культуры – что-то в этом бессознательном» должно измениться?

Я не готов обсуждать конкретные имена, мало их знаю. Можно пробиваться через непонимание, выцарапывать у бытия разгадки, а можно – выстраивать компьютерные конструкции, ни в каком понимании не нуждающиеся, где смерть ничего не значит, потому что она условна, в запасе есть сколько угодно жизней. Можно воспевать распад, зло, непотребства, имитировать ужасы, «раскрепощать хаос», оставаясь безразличными, самодовольными, вполне буржуазными. (Разговоры об интеллектуальном шоке давно усвоены массовым ширпотребом).

Но я всерьез задумываюсь над словами о «горьком скепсисе по поводу всех попыток культуры упорядочить мир», о стремлении расслышать в шуме хаоса «многоголосье культуры», о «попытке заново строить здание гуманизма в пространстве хаоса».

«Есть ценностей незыблемая скала» – казавшееся когда-то несомненным утверждение Манделъштама время, очевидно, вынуждает признать устаревшим.

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,  
И ни одна звезда не говорит, –

это вам уже не движение светил по определенным гармоничным орбитам. Какая там «незыблемая скала»?

Наступает глухота паучья,  
Здесь провал превыше наших сил.

Остается признать требования реальности.

Роговую мантию надену,  
От горячей крови откажусь,  
Обрасту присосками и в пену  
Океана завитком завьюсь.

Чем не предвосхищение постмодернистской, как сказали бы теперь, проблематики?

Для начала надо лишь согласиться: «Если все живое лишь пометка за короткий выморочный день».

Потому что каждому придется все-таки столкнуться с единственной, реальной, не компьютерной – своей – смертью.

Человеческая культура строится на системе запретов. Условных, вынужденных – потому что у *homo sapiens* перестали срабатывать биологические предохранительные механизмы, те, которые удерживают животных от смертоубийства в схватках с соперниками. Это замечательно описали этологи: побежденный в единоборстве волк отводит от победителя взгляд, подставляет ему свою шею – самую уязвимую артерию. Последнего укуса достаточно было бы, чтобы его умертвить. Победитель физически не может этого сделать, происходит какое-то безусловное замыкание. Для людей пришлось ввести мифологическую заповедь «Не убий». Папуасов маринд-аним вынуждает охотиться за головами иноплеменников тоже условный принцип: лишь раздобыв голову, человек получает право дать имя своему новорожденному. Это вместо заповеди «Не убий» – способ сохранить островную популяцию, не давая ей, видимо, слишком разрастаться. (Как запрет на инцест – брак с близкими родственниками – оберегает человеческое

сообщество от вырождения.) Другая культура, другая – искусственная – мифология.

Какие-то запреты устаревают, современные свободы позволяют их чуть ли не все игнорировать. Культура, как и популяция, может погибнуть – сколько их погибло. Может быть, нынешнее динамичное, быстрое видоизменение культур, их метисизация, размывание – уже проявления, разновидности очередной гибели.

Саму историю можно трактовать как цепь катастроф, разрушений, жизнь рода человеческого – как череду смертей.

Но есть рождение и возрождение, есть творчество, есть сопротивление смерти, разрушению, угасанию, энтропии.

Мандельштам сопротивлялся – и до конца утверждал жизненную необходимость сопротивления. Не святой, не мученик, противостоящий власти, – художник, сознательно противопоставлявший свое искусство вырождению, небытию, отказу от культуры.

Но видит Бог, есть музыка над нами».

Опровергает ли эту музыку судьба Мандельштама, всей страны?

Шумы, взвизги, пиликанье получают свои названия в сопоставлении с этой музыкой. Музыка искусственна, но гармония музыкального звукоряда основана на объективных числовых соотношениях (частота колебаний струны). Те же числовые соотношения можно обнаружить в орбитах планет, атомных весах химических элементов и прочем. (Можно, конечно, сказать, что сами числа – искусственные порождения мозга). Гармония – такая же реальность, как хаос. Неупорядоченный шум не знает диссонансов, но он не является музыкой. Он может быть элементом музыки.

И снова паровозными свистками  
Разорванный скрипичный воздух слит.

Мы знаем о хаосе, осмысливаем его – ищем способы создавать в нем пространство, приспособленное для жизни.

Чтобы не обесформиться, не размазаться, не растечься. Людям вообще, наверное, не совладать с реальностью жизни и с реальностью смерти, если не ввести искусственную условность – инструментарий искусства, мысли.

Нет в жизни смысла, кроме того, который мы создаем, пытаемся создать, ищем. Тут дело не в результате – в жизненной необходимости. Смысл – в поисках смысла.

И уж, по крайней мере, как сформулировал когда-то мой покойный друг скульптор Вадим Сидур: «Живя в дерьме, не становись дерьмом».

## Возвращение здравого смысла

В недавнем «Огоньке» кинорежиссер С. рассуждает о том, что свобода не благоприятна для большого искусства. «Свобода – это отсутствие координат». «Рынок сделал свое дело – появились обслуживающие литература, кино, живопись... но вряд ли они породят какой-то шедевр». «В наше общество вернулся здравый смысл». Но «здравый смысл и искусство, в общем – полярные вещи». Определенного успеха можно добиться «на уровне энтэртэймента». Это слово пишется по-русски, как и слово трэш. Одно издательство выпускает даже серию книг «Коллекция трэш». Я решил уточнить набор синонимов по словарю: trash – отбросы, хлам, мусор, макулатура, плохая литература, ерунда, вздор, халтура...

Все это в порядке вещей, так и должно быть. Когда-то, глядя на благополучных западных людей, и сейчас, читая самодовольные рассказы наших успешных деятелей, я пытался понять одно: насколько счастливы эти люди, насколько по-настоящему ощущают они свою жизнь? В. рассказывает о своих банковских сотрудниках: им не о чем говорить, только о вещах, кто-то чувствует себя несчастным оттого, что у сослуживца часы лучшей марки, чем у него. Е.Т. рассказывает, как, приехав в очередную страну, очередной город, люди не успевают там ничего увидеть, занимаются шопингом, увозят не впечатления – сумки с покупками.



(Сколько, между прочим, английских слов приводится без перевода.)

Купив в эти же дни новый картридж (вот еще одно слово, и не заменить его русским) я стал приводить в порядок распечатку стихов – и вспомнил один давний:

Скучно думать, приятней расслабиться  
Без усилий, без испытаний,  
Под ритмичный переплеск  
Равномерных посильных занятий,  
Наплывающих впечатлений,  
Где на очереди конец.

### Читая «Беседы с А. Шнитке»

Для Шнитке шлягерность – наиболее прямое проявление зла в искусстве. Шлягерность – символ стереотипизации мыслей, ощущений. «Это и есть самое большое зло: паралич индивидуальности, уподобление всех всем».

«Естественно, что зло должно проявляться. Оно должно быть приятным, соблазнительным... Я не вижу другого способа выражения зла в музыке, чем шлягерность...»

Выражение негативных эмоций – разорванная фактура, разорванные мелодические линии... – это тоже, конечно, изображение некоего зла, но зла не абсолютного. Это – зло сломанного добра... Выражение истеричности, нервозности, злобы – есть выражение болезни, а не причины. А вот шлягерность – ближе к причине».

Одно его высказывание меня озадачило. «Я себя ловлю на том, что сейчас – в отличие от того, что было раньше, – мне человек сразу ясен. Сразу, окончательно ясен. И мне стало страшно скучно. И вообще мне ужасно скучно».

Вспомнилось, как я подошел к нему однажды, неловко попробовал заговорить, он (после инсульта) пытался приподняться со стула, Элем Климов его удерживал, укоризненно давая мне понять: вы же видите, человеку трудно. Стал ли я ему

сразу ясен? (Я сказал ему, что недавно слушал его альтовый концерт, но не мог сразу назвать, какой.)

Но ведь так не бывает, не может быть. «Он, наверно, конструировал человека и думал, что все о нем знает, – предположила Г., когда я заговорил с ней об этом. Никто не может быть окончательно ясен, каждый так сложен. Ты сам себе ясен?»

Возможно, он не совсем точно выразился. Но замечательно продолжение: «У меня такое ощущение, как будто голову мою вырвали из этого мира, а меня оставили в нем. И я делаю то, что уже знаю».

Это похоже на самочувствие моего нынешнего героя.

На удивление болезненной оказалась для Шнитке национальная проблема. Полуеврей, полунемец, еврейского языка и культуры не знает, но с детства чувствовал себя евреем, когда его обзывали «жид». Внешность еврейская. «Во мне нет ни капли русской крови», – не раз повторяет он. И при этом чувствовал себя принадлежащим русской культуре (даже русской музыке, что для меня не совсем понятно). На Западе, даже в Германии, на языке которой стал говорить раньше, чем по-русски, чувствует себя не совсем дома. «Я хочу жить здесь и там».

Для меня многое определенной. Пишущий человек особенно принадлежит стране своего языка, своей культуры. Что значит кровь? Мне кажется более существенным то, что этологи называют, кажется, импритингом – запечатлением. Конрад Лоренц сделал потрясающее открытие: для утят матерью оказывается первый движущийся предмет, который они увидят, вылупившись из яйца. Он отсадил в последний момент с яиц утку, задвигался перед утятами сам – и деревня изумленно наблюдала, как свеженький утиный выводок шествует за человеком в шортах к пруду и входит вслед за ним в воду. Для человека решающими оказываются первые «запечатленности»: лицо матери, голос, запах, слово, язык, пейзаж, первые колыбельные, первые сказки, «Колобок», «Репка» – до понимания. Потом будут другие сказки, может

быть, другие страны, другие люди, другой язык – но это запечатлеется неизгладимо, неосознанно, необъяснимо.

Возможно, есть память еще глубже – память до рождения, память крови, но об этом я судить не готов.

## Счастье концлагеря

В «Иерусалимском журнале» тягостно было читать роман нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность». Два года (1944–1945) из жизни еврейского мальчика, сначала в Венгрии, мобилизация в рабочий батальон, работа на заводе, потом концлагерь, Освенцим, Бухенвальд, наконец, освобождение, возвращение в Будапешт. Через все это автор прошел сам. Тщательно выписанные подробности невыносимой повседневности – и стремление к ней приспособиться, даже примириться с ней. Невыносимо. Некоторые страницы я, признаться, пропускал, бегло пролистывал.

Но самые последние страницы меня просто ошеломили. В Будапеште люди сочувственно расспрашивают подростка о пережитом. “Тебе надо забыть эти ужасы”, – говорит один. Его ответ слушателей изумляет: “Я не замечал, чтобы были ужасы”. – “Что это значит, – хотели они знать, – “не замечал”?” Тогда я, в свою очередь, у них спросил: а они что делали в эти всем известные “тяжелые времена”? “Как сказать... жили”, – задумался один.

Тут я, чтобы перепроверить память, открыл свой роман «Возвращение ниоткуда»: буквально то же произносит в своем «последнем слове» перед абсурдным судом отец рассказчика: «Мы жили». Потом продолжил чтение.

“Старались выжить”, – прибавил другой. Стало быть, они тоже все время делали шаг за шагом, – установил я. Как это понимать: делали шаг за шагом? – не поняли они, и тогда я им тоже рассказал, как это происходило, например в Аушвице... Десять-двадцать минут на ожидание, пока дойдешь до той точки, где решится: сразу ли в газ или еще один шанс. Между тем очередь все движется, все подвигается, и каждый

делает шаг, то поменьше, то побольше... Мы никогда не можем начать новую жизнь, всегда только продолжаем старую. Шаг за шагом делал я, и никто другой, и, я объявил, в заданной мне доле я всегда хранил порядочность... Того ли они хотят, чтобы вся эта порядочность и все мои предыдущие шаги, все до одного, потеряли всякий смысл?.. Нельзя, пусть попробуют понять, нельзя отобрать у меня все».

Как это нам знакомо, какое тут обобщение! Это не только о концлагере. «Когда я прошел диктатуру Ракоши 50-х годов, восстание 1956 года, его подавление и особенно последующий длинный процесс приспособления кадаровских времен, когда приманили к себе людей – вот тогда я понял, что же такое произошло в Освенциме», – говорит Кертес. Приводя эти слова в предисловии к публикации, Жужа Хетеньи (которая перевела роман вместе с Шимоном Маркишем) пишет «о негативной инициации человечества, вступившего после Катастрофы в новую эпоху».

А может, еще до Катастрофы – у нас через схожий опыт прошли раньше.

«Хотелось бы еще немного пожить в этом славном концентрационном лагере», – ностальгирует на свободе герой. «В известном смысле жизнь там была чище и проще... Ведь еще там, даже рядом с дымовыми трубами, было в перерывах между муками что-то, походившее на счастье. Все спрашивают только про тяготы, про “ужасы”: а между тем, что до меня, может быть, это переживание останется самым памятным. Да, о нем, о счастье концентрационных лагерей надо было бы им рассказать в следующий раз, когда спросят.

Если вообще спросят. И если только и сам не забуду».

Как нам это знакомо!

Позвонил в дверь сосед-алкоголик, попросил одолжить денег «на нитроглицерин». Вдруг сказал: «Я вам принесу статью о моем отце. Знаете, кто был мой отец? Круглов, министр внутренних дел с 1945–55». Галя ахнула: «Нет, про него статью не надо». – «Он ничем не замаран», – понял ее реакцию сосед.

«Как же не замаран? – сказала Галя. – А Ленинградское дело, дело врачей?» (О Ленинградском деле как раз недавно была впечатляющая передача по ТВ, да еще вчера на ночь она зачиталась книгой о цензуре.) «Это КГБ», – откликнулся он. «А лагерь – это МВД?» – «Лагерь – это строительство, восставление после войны». Дальше не о чем было говорить. У меня где-то есть запись об этом совершенно опустившемся больном человеке, нашем ровеснике. Соединяется: сын министра внутренних дел, алкоголик, просит денег на выпивку.

## Симонов и Пригов

Вспомнилось, как в 93-м году мы гуляли с женой по Лондону, и я вдруг стал читать ей стихи:

Бывает так: большевику вдруг надо съездить в Лондон,  
Увидеть двухпалатную британскую систему  
И выслушать бесплатно там сто пять речей на тему...

Цитирую по памяти, наверно, с ошибками. Не буду сейчас воспроизводить все:

...И стали до того свободными,  
Какими видим их сегодня мы,  
Свободными до умиления  
И их самих и населения.

– Знаешь, чьи это стихи? – спросил я.

Она подумала и сказала:

– Пригов.

Это был Симонов. Удивительно, чуть ли не 50 лет помню наизусть. Пушкина не всегда помню, а это застряло в мозгу.

С Приговым я был знаком шапочно. Когда незадолго перед тем мне вручали Букеровскую премию, он подошел поздравить и, подняв указательный палец, сказал наставительно: «Не зазнавайтесь».

Я долго не мог себе простить, что не нашел сразу достаточно остроумного ответа. Это потом мне стало приходиться на

ум разное, а тогда я был все-таки возбужден, раздерган. Стал бормотать что-то вроде: где уж мне зазнаваться, когда я вижу перед собой таких классиков.

Но время спустя я получил полное удовлетворение. Я выступал в Лондонском университете и возле аудитории на стене рядом с объявлением о встрече со мной увидел другое: о встрече со всемирно известным поэтом-абсурдистом Д.А. Приговым.

Вернувшись, я довольно скоро получил возможность рассказать Пригову об этом объявлении. Он пожал плечами:

– Здесь все верно, кроме одного: поэт-абсурдист. Я не абсурдист.

И тогда я, предчувствуя торжество, поднял указательный палец и сказал Дмитрию Александровичу наставительно:

– Не зазнавайтесь.

Боже, какой беспомощный лепет услышал я в ответ! Этот признанный остроумец стал бормотать: как я могу зазнаваться, если знаю, в какой великой литературе я работаю... – что-то в таком же духе.

Я от своих комплексов мгновенно избавился.

## Современное состояние

В недавней переписке с Хазановым-Файбусовичем мы обсуждали интервью его знакомого, социолога Б. Дубина в «Новой газете». Я процитировал пассаж, где Дубин пишет о двух тенденциях в современной творческой среде России: «Или ты делаешь свой продукт, который хорошо продается, или ты выгораживаешь свой мир вне массовой политики и массовой литературы... Это не порождает ни нового словаря, ни новых принципов, ни системы мысли». Эту уничижительную оценку можно отнести и к нам. Действительно ли мы совсем не способны «производить новые смыслы»? Дубин, правда, оговаривается: «Культурный прорыв не может быть героизмом горстки людей. Он должен сопровождаться структурными устройствами, которые будут держать и передавать этот

импульс». Файбусович ответил, что это социологический подход, для него важнее общественные измерения, а не индивидуальные, и процитировал высказывание Адорно: «И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, она обращена к людям».

Не берусь судить, как у нас насчет культурных, интеллектуальных структур, способных обсуждать и рождать смыслы (институт моего знакомого Левады, у которого я много лет назад выступал на философском семинаре и в котором Дубин работает – это одна из таких структур? Кое-что хотелось бы с ним обсудить). Но что парализована, причем сознательно, общественно-политическая жизнь, это очевидно. Обсуждают заявление одного из банковских руководителей, который считает единственным гарантом стабильности в России нынешнего президента и призывает сохранить его во главе государства и дальше, иначе будет катастрофа. Я подумал, что если сейчас нельзя назвать ни одной авторитетной, известной обществу фигуры, которая могла бы оппонировать Путину – а это действительно так – можно говорить о катастрофе уже сейчас. Целенаправленно вычищено, как говорят, все политическое поле, потенциальные лидеры не имеют реальной возможности заявить о себе, потому что средства массовой информации унифицированы, созданная государством партия и ее молодежное движение, которое называют сменой, – все так же искусственно, как созданная когда-то фигура самого Путина, до этого ничем не проявившего себя, человека заурядных способностей. Впрочем, что я перечисляю? Катастрофа может развиваться замедленно, высокие цены на нефть до поры позволяют держаться. Ладно. Об этом кто-то скажет и без меня, наверно, уже говорят. Мне остается только «выгораживать свой мир вне массовой политики и массовой литературы». Увы. Но неужели одинокий художник не может породить ничего ценного?

«Почему вы не пишете о политике?» – спросили меня в Генте. «Я о политике пишу, – ответил я, – но не в прозе, а в эссеистике». Пропустив неделю российских новостей, я по возвращении постарался наверстать упущенное. Удручающее ощущение нарастающей фальши, лжи, демагогии. Политический телеобозреватель, имени которого писать не хочу, поминает покойного Александра Яковлева: вначале у него были добрые намерения, но он не заметил, как демократия стала разрушать Россию. (Пересказываю своими словами.) И связывает имя Яковлева с делишками ельцинской «семьи», коррупцией, дефолтом. Но Яковлев после 91-го года от реальной политики отошел, к ельцинским делам он отношения не имел. Проглатывают эту фальшь среди множества прочих. Неужели никто не откликнется, не возразит? Я пишу об этом – но опять для себя. Претензии прежде всего могу предъявить к себе самому, ссылаться на возраст, профессию, просто личные черты, делающие меня неспособным к публичной деятельности. Моя работа – уединенная.

В сегодняшней «Новой газете» приводятся мнения известных деятелей, которые сводятся к тому, что для людей демократических убеждений сейчас не время заниматься политикой. Надо вернуться на кухни, обсуждать, как когда-то, «исторический процесс и свое место в нем». «Плетью обуха не перешибешь, народ своей властью, в общем, вполне доволен» и т.п.

Чувство бессилия не добавляет уважения к себе. А ведь ничего не делать нельзя, это только ухудшает ситуацию...

Один из политических комментаторов, умный циничный технолог, заявил, что в России теперь надо работать над предотвращением революций. Я про себя заметил: предотвратить революцию всегда умели в Англии – и еще умеют в Северной Корее. Слово это всегда имело эмоциональную окраску, положительную или отрицательную. Полезно вспомнить его смысл, перевести на русский язык. Революция – это переворот. Попыткой переворота был в 91-м году



ГКЧП; протест против переворота перерос в другую революцию, к счастью, бескровную.

Я годами обсуждаю все не публично, а на таких вот страничках, записываю стенографическими закорючками. Вчера попал на передачу, где обсуждалась тема «Бизнес и культура». В меру правильные общие места. Я мысленно вставлял реплики: сам бизнес – часть культуры, как спорт или мода. Можно бы рассказать, как я оказался в Германии, где огромным успехом пользовалась выставка из собраний Щукина и Морозова (в Эссене). Я тогда оказался в Дюссельдорфе у скульптора Юккера. Мы обедали в ресторане с японским искусствоведам, автором книги о дадаизме в Японии (кажется, так; мы разговаривали на двух языках, он хуже владел немецким, я английским). Мне запомнилась его мысль: экономический подъем послевоенной Японии объясняется, среди прочего, проникновением европейской культуры, в том числе живописи. Влияние тут не прямое, но его можно косвенно проследить. Потом (или в другой мой приезд) мы с Юккером оказались на вечеринке, где собралась городская финансовая элита; угощение называлось почему-то русским, там были блины с икрой. И за столом заговорили о выставке в Эссене; все восхищались Щукиным и Морозовым: выходцы из простых крестьянских семейств стали процветающими промышленниками – и проявили несравненный художественный вкус. Я спросил (вспомнив разговор с японцем): связан ли был их финансовый успех с интересом к искусству? Мне ответили утвердительно. А потом я спросил, есть ли сейчас в Германии меценаты такого же уровня, то есть люди, которые не просто делают бизнес на искусстве, но для которых это личное дело. Мне ответили сначала отрицательно, потом кто-то вспомнил Мюллера, основателя Insel Hombroich. И на другой день меня в Hombroich отвезли, там в кафе я случайно познакомился с Мюллером – но это особое чудо, особый разговор. Об этом, думаю, остались более подробные записи в нерасшифрованной «Стенографии» 93-го года. Не уверен, что я вернусь к ним; решил хотя бы вкратце, «мемуарно»

записать этот эпизод здесь. «Стенографию начала века» я понемногу все-таки ввожу в компьютер.

Николай I после разговора с Пушкиным сказал, что беседовал с умнейшим человеком в России. Извлек ли он что-то из этой беседы? Впечатления Пушкина, кажется, неизвестны. Смешно, я много лет, еще с советских времен, пробовал вообразить разговор с руководителем страны. Я обсуждал положение страны с умнейшими людьми – сказать бы Горбачеву, Ельцину, что нам кажется очевидным, может, они что-то лучше бы поняли, что-то правильной сделали. Сейчас мне такие наивные до смешного фантазии в голову уже не приходят. Не так давно в Германии социал-демократические канцлеры Брандт и Шмидт по-человечески дружили с Генрихом Бёллем и Гюнтером Грассом (тогда еще не нобелевскими лауреатами), беседовали не без пользы для себя, да и книги читали. Сейчас политики вряд ли читают книги, мнение писателей перестало быть авторитетным, да и кто эти писатели?

Когда слушаешь, как разные люди, во Франции и у нас, обсуждают нынешние события во Франции, поджоги, погромы, ищут причины, пытаются оправдать поджигателей, объявляют попытки противостоять погромам нарушением гражданских свобод – чувствуешь, что говорящие это интеллигентные люди как-то смущены, словно стесняются, боятся признаться в этом себе, но в душе ждут, что несимпатичные им деятели все-таки предпримут решительные, неприятные действия, положат конец безобразиям – и можно будет с чувством законного, почти брезгливого превосходства разоблачать этих врагов демократических свобод, нарушителей прав человека.

У нас это поневоле проецируется на российскую реальность, гораздо более безрадостную, чреватую не просто опасностями – кровью. Обсуждения остаются сотрясением воздуха – нет политической воли, конструктивных решений.

Открыл книгу Л. Гумилева «Этногенез и биосфера земли», посмотрел наугад страничку, другую – захотелось заново вникнуть. Увы, чтение то и дело вызывало внутреннее сопротивление, порождало сомнения, требовало постоянной перепроверки, на которую моей эрудиции не всегда хватало. А он своей эрудицией откровенно упивается, сыпет не всегда обязательными именами, фактами, объединяя и трактуя их иногда поверхностно, иногда просто неверно. В каких-то частных областях (история гуннов, хазар) он несомненный специалист, вызывающий доверие. Грандиозная, отчасти поэтическая концепция требует особого осмысления. Но варьируется, например, в разных местах мысль о том, что смешанные браки ведут к вырождению и гибели этноса. «Потомство от экзогенных браков... гибнет в третьем-четвертом поколении». Османскую империю, сам турецкий этнос погубили инородцы, которых веками брали на службу, прежде всего военную. (Таких людей, перешедших в мусульманство, называли ренегатами, причем слово это первоначально не имело оскорбительного оттенка.) «Эту этническую целостность развалили в XIX веке многочисленные европейские ренегаты и обучавшиеся в Париже младотурки». Поневоле примериваешь: а немцы и прочие европейцы на русской службе со времен Петра I, а грузины, татары и прочие жители Российской империи, получавшие русское дворянство (не говоря об одиозных евреях)? А правнук эфиопа, внук немки Пушкин – продукт вырождения? Там, где происходит «наложение этнических полей разного ритма, возникают антисистемы», – утверждает Гумилев.

Но сама заостренная постановка вопроса заставляет задуматься. «А так как за время существования человека на Земле все этносы давным-давно вступили между собой в контакты, то, казалось бы, антисистемы должны были вытеснить этносы, заменить их собой, уничтожить все живое в своих ареалах... А ведь подобного почему-то не произошло. Значит, в мире есть какой-то могучий импульс, противодействующий распространению антисистем и, возможно, очищающий от них лик

земли». Дальше говорится о явно неземном происхождении «пассионарных», как он их называет, толчков. «Близкий Космос принимает участие в охране природы».

Это написано около четверти века назад. Я, помнится, тогда начал сознавать, что недооценивал национальный фактор в современном, казалось бы, все более глобализованном мире.

А сейчас я поневоле примериваю его концепцию к судьбам России – страны и русского «этноса». Одно неотделимо от другого. Страницы, где Гумилев описывает периоды упадка, «сумерки» этноса, читаются, как злободневная статья: «В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция». Можно цитировать много: потребительская психология, расслабленность, гедонизм, наркотики, сексуальная распущенность, пассивность общества, уничтожение природы. Можно добавить подробности новейшей этнической жизни. На Дальнем Востоке женщины все охотней выходят замуж за китайцев: они не пьют; китайское правительство целенаправленно поощряет браки своих граждан с русскими. Это происходит незаметно, но разрастается все быстрее. Как разрастается исламское проникновение – оно и в Европе стало уже ощущаться болезненно, там отчасти пробуют сопротивляться, отчасти призывают к терпимости. Гумилев не считает причиной отставания мусульманского мира в новое время неспособность к модернизации. Может, без нее и лучше: природа будет сохранней, девственные леса возродятся.

Но в России этнический кризис настолько связан с политическим, что не зря возникают разговоры об агонии страны (с этносом разбираться трудней). Я то и дело возвращаюсь к этой теме. Не помню, записал ли я, как много лет назад (кажется, еще до Горбачева) спросил своего товарища: а как он себе представляет возможную катастрофу. Так она уже происходит, ответил он. Пустые магазины, поезда не ходят по расписанию, ежегодный неурожай, развал экономики. Это

не мгновенный, вялотекущий процесс. С тех пор мы прошли через период надежд – кажется, упускаем последние возможности.

В «Лехаиме» замечательное интервью А.Г. Среди прочего, он говорит о «катастрофе» российской науки. «Фундаментальная наука в России – в трагическом состоянии. Мы потеряли целый ряд научных направлений и школ. Мы молодежь потеряли. А значит, мы потеряли будущее... Я, профессор и заведующий лабораторией академического элитарного института, получаю 110 долларов в месяц, а кандидаты мои получают в полтора раза меньше... И одни уезжают за рубеж, а другие уходят в бизнес... Физическая гибель науки – это гибель русской интеллигенции со всеми вытекающими последствиями: с созданием социальной основы для фашизма, с зарождением поколения жлобов и лавочников».

Более десяти лет назад, в статье 1991 года «Между безнадеежностью и надеждой» я цитировал письма академика Вернадского (1923–1924). «Мне представляется положение в России мрачным». «Труд настоящим образом не оплачивается. Может быть, я отсюда скоро уеду». «Логически я благоприятного исхода не вижу». И в тех же письмах: «Научная работа в России не погибла, а наоборот, развивается. Несомненно, этого не должно было бы быть по логике, это иррационально, но это факт... В разговорах скажу, как это достигнуто и сколько погибло. Людей погибло». И дальше: «Я уверен, что все решает человеческая личность, а не коллектив, elite страны, а не ее демос».

Я писал в своем эссе, что не совсем объяснимым образом, в условиях более страшных, чем нынешние, надежды Вернадского в какой-то мере оправдались. Сохранившаяся инерция, преемственность еще порождала новых людей, сохранялась тонкая, уязвимая пленка (я ее сравнивал с грибницей), на которой могло еще что-то вырастать. Сейчас, боюсь, под угрозой уже эта пленка, грибница.

Ведь примечательно: словом «элита» сейчас обозначаются не ученые, не философы, о которых пишет Вернадский,

а больше политики, бизнесмены, нувориши, те же жлобы и лавочники, о которых говорит Городницкий. Перемены, так сказать, в генофонде могут оказаться необратимыми, если исчезнет преемственность, выродятся школы.

Мне вспомнился один эпизод. В 1949 году я заболел туберкулезным менингитом – болезнью, которая до изобретения стрептомицина считалась смертельной. Диагноз был не очевиден. Приглашенный врач посоветовал немедленно положить меня в Морозовскую детскую больницу, и там был проведен консилиум. Три врача, собравшиеся у моей постели, обсуждали болезнь на латыни (как было принято, чтобы больной их не понимал). Когда я рассказал об этом Жоржу Нива, он удивился. Не уверен, что и во Франции сейчас врачи смогли бы беседовать на латыни, скорей по-английски; не говорю о наших нынешних. Но в 49-м году этим врачам было около 50, они могли быть выпускниками еще старого университета, учениками еще старых профессоров.

Одного из них я потом узнал ближе, это был профессор Фурер, один из изобретателей вакцины от детского полиомиелита, (которой Советский Союз потом облагодетельствовал весь мир). Он собственноручно делал мне ответственные пункции – между шейными позвонками. Более простые пункции, между поясничными позвонками, делала, кажется, старшая сестра. Пункции эти делались регулярно, брали для анализа спинномозговую жидкость и через тот же шприц вводили только что дошедший до нас стрептомицин, который родители сумели где-то раздобыть, не знаю уж, за какие деньги. Эта еще не опробованная методика сделала меня в 12 лет глухим на одно ухо. А мальчик помладше, в соседнем боксе, оглох совсем.

Мать этого мальчика, художница-мультипликатор, была немка. Помню разговоры в палате, каким образом ей удалось избежать высылки, остаться в Москве. Отсидел срок ее муж, туберкулезный грузин, который в войну попал в плен. Он бывал в палате; приезжал из Грузии и его отец, дед мальчика, старый тихий грузин. И о высылке немцев, и о лагерном сроке

для военнопленного говорили, как о чем-то естественном, я понимал, что так было положено. Необъяснимым можно было считать только благополучный исход.

Эта немка-художница приносила в палату папку репродукций русской живописи, напечатанных, вероятно, за границей: каждая прикрыта папиросной бумагой, необычайно высокого полиграфического качества. Там, кажется, не было передвижников, но были Рокотов, Боровиковский, Левицкий, Венецианов. Оценил их я лишь потом.

Дневниковая эссеистика опять стала незаметно переходить в мемуары. Но даже записанные события более близких лет я вряд ли удосужусь расшифровать – разве что вот так вспомню иногда эпизоды.

### «Don't be blue»

На асфальте у набережной Яузы кто-то написал мелом: «Скоро конец лета». И продолжил по кругу (со стрелкой): «Скоро начало осени». И дальше: «Будет зима». А потом, по кругу: «И снова будет тепло». Мне симпатично это подростковое философствование. И рядом тем же мелом по-английски:

Don't be blue  
tomorrow is another day.

Наверно, какая-то неизвестная мне песенка. И еще одна:

You don't need to open your eyes to see that  
just close them & you will see some thing nobody can see.

Как это хорошо!

2000–2005

## Из записей 2006 года

Один из читателей «Стенографии начала века» заметил, что записи, сгруппированные вокруг тематических заголовков, без дат, теряют дневниковую непосредственность, которая отличала «Стенографию конца века». Существенно бывает проследить ход событий, развитие мысли – течение времени. Предлагаю читателю некоторые записи 2006 года, расположенные в хронологической последовательности.

04.02.2006. ...Решил почистить книжные полки – новые книги не вмещаются. Выбросил комплекты «Юности» и «Нового мира» за 1989-й, вырывая некоторые листы (Д. Андреев, В. Шаламов и др.). По ходу дела кое-что читал, удивляясь, как многое продолжает звучать злободневно. С. Булгаков пишет: «Россия гниет заживо – вот что похоронным мотивом ныло у меня в душе». Это 1912 год. А я несколько дней назад писал Померанцу, что России грозит не столько распад, сколько разложение. Булгаков уповает на христианское обновление, надеется, что «Константинополь будет наш». А в 1923 году пишет «В Айя-Софии» – о мусульманах, которые превратили христианский храм в мечеть: «Они явились благоговейными местоблюстителями. И их молитва, их благочестие производит чарующее, примиряющее впечатление... И невольно подумалось: очевидно, они достойнее нас, тех, кто так шумно собирались еще недавно «воздвигнуть крест на св. Софии», чтобы в ней бесчинствовать потом безвкусицей своим и рабством своим». Это нечаянно сопоставилось с бесчинством мусульманских



толп, возмущенных публикацией в датской газете карикатуры на Муххамеда. Никто из них этой карикатуры не видел, я тоже смутно ее разглядел на телеэкране. Вспомнилось, что Пушкин был сослан за озорную поэму о соблазнении девы Марии. Вспомнился прелестный кукольный спектакль «Божественная комедия», где Бог с ангелами сотворяет Адама и Еву; у меня был когда-то альбом юмористических рисунков Жана Эффеля на тему сотворения мира. Думаю, даже самые верующие христиане способны были улыбаться этим шуткам, не чувствуя себя оскорбленными. Способность к юмору, исключаящему фанатизм, позволяет этой цивилизации развиваться. Но в таком столкновении она оказывается беспомощной, и перспективы неясны.

13.02.2006. Вчера по радио слышал Померанца, он выступал в дискуссии на тему: считать ли нынешнее протестное движение в мусульманских странах войной цивилизаций? Гриша отвечал, как всегда, обобщенно: и да и нет, напоминал об истории столкновений мусульманского и христианского миров. Хотелось задать ему вопрос: считать ли современный Запад христианским? Столкновение идет между современным миром, которому свобода мысли, способность критически относиться к себе позволила совершить научно-техническую революцию и процветать – при всех своих слабостях, с миром, который из-за религиозного догматизма оказался неспособным к модернизации, отстает, бедствует и терзается чувством неполноценности.

16.02.2006. Объявление на дверях церкви: «При входе в храм отключать пейджеры и мобильники».

На стене церковной лавки 10 заповедей дополнены списком грехов, за которые надо каяться на исповеди. Нарушением заповеди «Чти отца своего и мать свою» считается, среди прочего, «неуважение к светским начальникам». Кто придумал эти толкования? Не Моисей и не Христос, конечно. Можно представить, как в советские времена кто-то признавался священнику, что не любит Сталина.

Старушка-служительница, не дожидаясь конца панихиды, собирала свечные огарки в полиэтиленовый пакет. Наклонилась, расстегнула молнию матерчатого сапожка, засунула туда полученную от кого-то денежную бумажку, застегнула молнию.

17.02.2006. Неравенство и постмодернизм.

«Неравенство есть условие развития культуры. Это аксиома». (Н. Бердяев. Философия неравенства.)

«Новое искусство обращается к особо одаренному меньшинству. Отсюда раздражение в массе». (Х. Ортега-и-Гассет. Восстание масс.)

Но если «высокая» культура, «высокое» искусство предполагают существование разных уровней, иерархии, постмодернизм декларирует отказ от иерархий, равноценность всех уровней (консервная этикетка – такое же искусство, как «Мона Лиза»), размазанность индивидуальностей, размазывание авторитетов.

Расценивать ли это как «восстание масс»? Нет, тут новое меньшинство, претендующее на элитарность. Аристократизмом это не назовешь. (Впрочем, был же аристократом маркиз де Сад.)

14.03.2006. Знаменитый финал одного из «Случаев» Хармса («Макаров и Петерсен»):

«Постепенно человек теряет свою форму и становится шаром. И, став шаром, человек утрачивает все свои желания».

Прихотливая, необъяснимая, завораживающая фантазия. Почему вдруг шар?

Удивительную переключку я обнаружил в романе С. Беккета «Безымянный». Там персонаж-рассказчик пытается понять, кто он такой: «Я, о котором я ничего не знаю». «Никакой бороды у меня нет, и волос тоже нет, большой гладкий шар на плечах, лишенный подробностей... И никаких непристойностей. Да и почему у меня должен быть половой орган, если нет носа? Отпало уже все, что торчит: глаза, волосы, без

следа, упали так глубоко, что не слышно было звука падения, возможно, еще падают, волосы, медленно-медленно, оседают, как сажа, падения ушей я не слышал... Вот так, готово... я – большой говорящий шар, говорящий о том, что не существует или, возможно, существует, как знать, да и неважно».

До чего это по-хармсовски звучит, даже подробности! («Уши его упали на пол, как осенью падают с тополя желтые листья». «Страшная смерть»). «Безымянный» написан в 1953 году, «Макаров и Петерсен» в 1934-м, «Страшная смерть» в 1935-м. Беккет знает Хармса, конечно же, не мог. Тут не простое совпадение – тут общность мышления у двух великих мастеров абсурда. Ходы абсурдной мысли не произвольны, в них есть своя логика, и на глубине она совпадает.

25.03.2006. Недавно среди ночи кто-то стал нам звонить в дверь, незнакомый молодой человек спросил, нет ли у нас сигарет, сказал, что он с четвертого этажа. Галя, конечно, не открыла, встревожилась. На другой день выяснилось: наш сосед-алкоголик, не раз клянчивший деньги на выпивку, зазвал к себе четверых незнакомцев, они напоили его до бесчувствия, соседям пришлось вызывать скорую помощь, милицию.

Обычная история. Я вспомнил ее, просматривая листки, вырванные из старого журнала «Юность». Антон Антонов-Овсеенко рассказывает, среди прочего, историю ареста Берии. Хрущеву помогли справиться с ним «перебежчики из лагеря противника»: заместитель министра госбезопасности Серов и министр внутренних дел Сергей Крутлов. Наш сосед-алкоголик – сын этого Крутлова.

Житейская история, одна из множества, выделяется из обычного ряда, соединившись с отмеченным именем.

07.04.2006. Мужчина в метро достал из нагрудного кармана газетную вырезку, развернул, стал перечитывать. Хранит что-то важное для себя. Я заглянул в крупный заголовок: «У поп-звезды нет денег на операцию».

Если Бога нет, то все дозволено, – говорил герой Достоевского. Современный террорист, наоборот, убежден: если Бог есть, то позволено все, в том числе убийство множества случайных, ни в чем не повинных людей.

По совпадению, ровно два года назад, 7 апреля 2004 года, я записал, как практика терроризма вынуждает заново переосмысливать благородные, несомненные представления, например о свободе. («Только служа Богу и подчиняясь ему, человек осуществляет свою свободу». Так мог бы сказать террорист, взрывающий вместе с собой людей.)

16.07.2006. Этюд «Тела». (Идея.)

Раздень короля и крестьянина – не отличишь. Тот, кто это сказал, не видел ни того, ни другого.

«Я этих людей в бане узнаю», – сказал Э.Г. о партаппаратчиках. Я увидел их однажды в массе, в райкоме – особый антропологический тип.

Голые купальщицы в Коктебеле – узнавались работницы. Жизнь формирует тела, исправляя природный замысел.

24.07.2006. Гале позвонила ее красноярская одноклассница К.. Недавно произошла катастрофа на иркутском аэродроме, почти в городской черте. На месте аэродрома были когда-то дачи НКВД, там работал сторожем брат ее деда. Он под большим секретом рассказал жене, что в это место каждую ночь привозили людей и расстреливали. Аэродром стоит на костях убитых. К., может быть, последняя, кто знает об этом. Сейчас там собираются установить мемориал в память жертв катастрофы, она хотела бы сказать про другие жертвы, советовалась, с кем можно связаться.

«В любом из здешних мест, / куда ни обернешься, / ставь свечу и крест, / и ты не ошибешься» (Ю. Ким). С каждым годом открывается все больше и больше. Страшная страна. Самое страшное, что мы живем на костях и не хотим знать, не хотим вспоминать.

14.09.2006. Новый богач захотел иметь свой портрет работы художника Шилова. Оказалось, к этому Шилову стоит очередь за портретами, стоит каждый 50 тыс[яч]. долларов. Но есть особая очередь, за 150 тыс[яч]. Богач оказался в ней пятым.

Время спустя ему понадобилось вывезти на Запад свою коллекцию русской живописи. Эксперты-искусствоведы оценили работы для таможни. Только портрет работы Шилова оценивать не стали: это можете вывезти бесплатно, работа художественной ценности не представляет.

Как?! – опешил богач. Эксперт, усмехнувшись, показал обратную сторону портрета. Он был написан на оргалите от упаковки холодильника Stinol – название оттиснуто несколько раз крупными буквами. Портрет, по рассказу видевшего его искусствоведа, был просто халтурным.

Рассказано это было по поводу очереди в музей Шилова.

20.10.2006. Надпись на стене: «Мачи хачей, спасай Россию». И еще в таком же духе: «Слава России, смерть врагам» и прочее.

27.11.2006. Когда по радио объявляют о выступлении А. Проханова, я сразу выключаю приемник: не хочется тратить время жизни на эту мерзкую фальшь, все время при этом мысленно возражая и портя себе настроение. Но сегодня случайно попал на него, включив радио, не сразу понял, кто это, и недолго слушал. Обсуждалась тема: европейская ли страна Россия или что-то особое? Проханов с напором утверждал, что Россия не просто чужда Европе – она ей противостоит. Европа, Запад вообще разлагаются и гибнут, спасение только от России. При этом Россия не может быть богатой, благополучной страной, как другие, природные условия, климат, территория этого не позволяют. Россия – нерентабельная страна, в этом ее достоинство, потому что убогость располагает к духовности. В несравненной духовности ее сила. Демократия для нее невозможна, здесь невозможно без насилия, без дикта-

туры. Ну, и, конечно, про империю, про Третий Рим. Ссылки на великие имена: Достоевский, Сталин, Федоров. Федорова этот бред особенно напоминал, тот превозносил российскую убогость и видел будущее в деревенских лабораториях, где научатся возрождать покойников из частиц праха, который будут собирать женщины...

Я долго не выдержал, выключил. Почему его чуть ли не ежедневно продолжают слушать, читать, приглашают на ток-шоу? Почему никто не дал отповедь этой дурно пахнущей, опасной для страны демагогии, шипучему пустословию? Может быть, я не читаю?

И тут же обратил вопрос к себе: а почему бы тебе не написать? Ты бы нашел нужные слова.

Но для этого надо прочесть его сочинения, романы, его газетную чушь, – ответил я себе. Не просто жалко времени – это вызывает тошноту. Может, и другие по этой же причине молчат?

08.12.2006. Заглянул в роман Набокова «Смотри на Арлекинов!», раскрыл на странице, где герой с подложными документами летит в Советский Союз. Сам Набоков, как известно, эту свою фантазию не осуществил, советские впечатления описывает с чужих слов, и как же они тошнотворны! Толстые грубые стюардессы окружены ароматом лука и мерзких духов «Красная Москва», на обед шпроты с водкой, глинистая вода из крана в гостинице – и, конечно, тотальная слежка. Роман вообще мне казался неудачным, эти страницы вызвали усмешку. Не такая была у нас жизнь, мысленно возражал я, так же мысленно перебирая, что мог бы его впечатлениям противопоставить.

И вдруг растерялся: что, в самом деле? Советский быт, коммунальный, деревенский, провинциальный? Советский общепит? Советские магазины? Тогдашнее советское кино? Литературу? Живопись? Не гениев же, уничтоженных, растоптанных, загнанных в подполье. Советский балет, шахматы, романтизм комсомольцев-идиотов (одним из которых был я)?

Вспомнил, как в Париже Гиршович объяснял, почему считает гением Сорокина: он показал, в какой мы жили выгребной яме. Ничего не подделаешь, есть в этом своя правда.

Хотя, конечно, не вся, иначе мы бы просто не выжили, остались бы неизлечимыми идиотами. Были обычные человеческие отношения, любовь, природа, искусство, способность отгораживаться от окружающего безумия в своем мире. Хотя ужас, безумие, насилие в любой момент могли в этот мир ворваться.

14.12.2006. В «Политическом журнале» интересное интервью с Германом Андреевым (Фейном), нашим эмигрантом, живущим в Германии. Захотелось выписать одну цитату: «Вы знаете, я сегодня стоял на перроне станции “Площадь революции”, смотрел на лица – сколько обаяния у русских! С Германией даже сравнить нечего. Столько приятных лиц я за всю жизнь там не видел». Интересно.

## Из записей 2007 года

16.01.2007. Просматривал альбом Филонова, делал наброски возможного стихотворения. Еще в молодости, до революции, сложился очень большой, мирового масштаба, художник. В 20-е годы вдруг соблазнился идеей аналитического, всеобъемлющего, единственно несомненного искусства, стал писать не картины, а «формулы». Беда русского сознания. И еще непременно оглядка на «русское»: иконопись, этнографию, кустарные промыслы, это было у многих. Во Франции художники просто писали картины, интересовались африканским, японским, полинезийским искусством, но не французской стариной. Потом он от этого ушел, но окончательно добила его советская система.

17.01.2007. Сходили с Галей в Музей частных коллекций на выставку Филонова – впечатление подтвердилось.

### Человек Филонова

Кристаллы саморастущих домов, зыбь городской брусчатки  
Грозит засосать человека, он сам становится зыбким,  
Бескровным, бесполом телом. Смотрит пустыми глазами,  
Ни с кем не встречаясь взглядом, потерянный, оцепенелый.  
Все смотрят мимо друг друга, все друг от друга закрыты,  
Отделены, отгорожены внешним покровом кожи,  
Соседствуют, не общаясь, молчат каждый на своем языке  
Или беззвучно вопят, открыв редкозубые рты.  
Человечней, пожалуй, глаза у лошадей и коров.



Суть человека раскроешь, если проникнешь под видимость,  
Вглубь дремучих переплетений под кожей,  
выявишь химию мысли,  
Которая рождается в голове, как запах в цветах, деревьях,  
Вытекает наружу, затвердевает кристаллической формулой,  
Способной преобразить этот мир.  
Вязкая россыпь, калейдоскоп,  
Праздник трагических красок,  
Человек, растворенный в формуле.

Услышал по ТВ от Юза Алешковского замечательное определение свободы: «Свобода есть абсолютное доверие к Богу». Не знаю, сам ли он это придумал, но хорошо.

30.01.2007. С интересом читал интервью с умницей Reich-Ranicki. Он подчеркивает, что ощущает себя не немцем, а человеком, принадлежащим к немецкой культуре. Об особой роли немецких евреев: Маркс в социологии, Фрейд в психологии, Эйнштейн в физике, Шенберг и Малер в музыке, Кафка в литературе были начинателями и вершинами; почему-то именно немецкий диалект стал еврейским языком, а не какой-нибудь другой. Объяснить это он сам не берется. Неожиданным оказалось отношение интеллектуальной элиты Германии к Генриху Бёллю, которого, по словам одного деятеля, «не надо путать с действительно великим писателем» («Heinrich Böll nie mit einem grossen Schriftsteller verwechselt worden»). R.-R. объясняет, что в эту пору не было другой персоны, которую, говоря нынешним языком, можно было «раскрутить» на роль Galionsfigur der Literatur. Больше бы подошел, скажем, Макс Фриш, если бы не один его недостаток: он был швейцарцем. Интересно.

31.01.2007. Вводя в компьютер годы «антиалкогольной компании», пытался с Галей вспомнить, что мы тогда пили? Вспоминались часовые очереди, талоны, ограничения – но что мы пили? Вспоминались какие-то наливки, «бормотуха» (наш знакомый однажды пролил ее на рукопись – и бумага

«сгорела»). А было ли вино, без которого сейчас не представить нашего быта? Кажется, в Столешниковом переулке можно было иногда купить «фетяску»... И вот сегодня к нам приехал в гости Валерик – вдруг вспомнили: он приносил нам флакон спирта из Института физпроблем, мы его разводили. Вспомнили самогон, который готовил Олег... Вот память!

01.02.2007. Reich-Ranicki с симпатией упомянул в своем интервью Голо Манна, я взял посмотреть его книгу воспоминаний («Erinnerungen und Gedanken»). Замечательная глава об его учителе Ясперсе. И в заключительной главе замечательный анализ исторических событий, причин Первой и Второй мировых войн, прихода к власти Гитлера – на каждом этапе очевидна упущенная возможность избежать катастрофы, слепота современников. Можно ли было увидеть это вовремя, что-то понять? В самом конце он задает тот же вопрос. «Wo liegen die Grenzen zwischen Schuld und Unvermeidlichkeit? ...Wann erschien der letzte Moment, in dem es noch möglich wäre, Europa von [den] extremsten Folgen zu bewahren? Beweisen läßt sich hier in aller Ewigkeit nichts. Die „logische Positivisten“ lehren uns, eine Frage, die man prinzipiell niemals beantworten könne, sei keine. Falsch. Es gibt solche, über die man nachdenken muß, auch wenn sie keine Lösung zulassen; und das können die allerernstesten sein». (Где проходит граница между виной и неизбежностью?.. Как определить последний момент, когда еще можно было уберечь Европу от тягчайших последствий? Доказать тут никогда ничего невозможно. «Логические позитивисты» говорят нам, что вопрос, на который в принципе невозможно ответить, просто снимается. Неправда. Существуют вопросы, над которыми мы обязаны размышлять, даже если они не имеют ответа, и как раз эти вопросы бывают самыми серьезными.)

Я узнавал схожие мысли, просматривая дневники 88–89-го годов и кое-что вводя в компьютер (очень мало, больше оставлял нерасшифрованным: политические новости, публикации, хождения по редакциям, ежедневную работу; каких-то имен и событий даже вспомнить не мог). Все барахтались

в происходящем, не всегда понимая, куда нас несет, и не умея направлять события. Другие, не я, хотя бы пытались в чем-то участвовать, выступали, публиковались. Я, между прочим, тоже пытался печататься – даже забыл, сколько было редакций, в которые стучался; иногда печатались мои эссе, но это не была публицистика. Здоровые мысли, которых было немало в моих дневниках, там и остались – сейчас я отдаю себе отчет, что они и не могли бы прозвучать. Сейчас я иногда предлагаю в журналы свою «стенографию» – кое-что печатают, отклик мне неизвестен...

04.02.2007. В дневниковую тетрадь 90-го года были вклеены еще две цитаты, которые захотелось переписать, чтобы держались в памяти – они остаются актуальными. «Человек не должен желать себе ни величия, ни счастья, ни героизма, ни сладких плодов, он вообще ничего не должен желать себе, ничего кроме чистого, чуткого ума, храброго сердца, а также верности и мудрости терпения, чтобы благодаря им, вынести и счастье, и страдания, и шум, и тишину». (Герман Гессе.)

И слова, которые написал умерший в том же 1990 году Мераб Мамардашвили: «Я весьма оптимистично смотрю на будущее, хотя называю это состояние другими словами – крайний метафизический пессимизм. Именно потому что я не связан никакими надеждами, передо мной все время открывается ровное, не замутненное разочарованием пространство, то, что называется “трагической веселостью”».

Перепишу еще запись 27 ноября 1990 года: «Я заметил, с каким нетерпеливым удовольствием сажусь вечером записывать события дня – особенно если они были. В сущности, с удовольствием хороню еще один прожитый день».

03.03.2007. Вдруг становятся прозрачными стихи, еще недавно загадочные.

Я по лесенке приставной  
Лез на включенный сеновал.

Я всегда любил залезать на сеновал, не раз ночевал там; запах свежескошенного сена, который вскидывал туда на вилах, мил моему сердцу. Но у Мандельштама сеновал «включенный», то есть сено уже слежалось, пересохло, стебли трав покрошились.

Я дышал звезд млечной трухой,  
Колтуном пространства дышал.

Чувствуется, каким трудным, астматическим становится здесь его дыхание. Сенная труха, колтун, «сколока» перепутанных, «сухоруких» трав враждебны мировой гармонии – «удлиненным» звучаниям, «эолийскому строю».

Распряженный огромный воз  
Поперек вселенной торчит  
Сеновала древний хаос  
Защекочет, запорошит.

Возом называли иногда созвездие Большой Медведицы, оно и впрямь напоминает крестьянскую повозку. Но распряженный воз – это, возможно, еще и босховский «Воз сена», его тащат куда-то жуткие твари, из которого спешат урвать хотя бы клочок беснующихся вокруг люди. На картине этот символ многозначен. Мандельштам чувствует жизненную необходимость сопротивляться хаосу, «строить лиру», «вернуться в родной звукоряд», где можно будет свободно дышать. Гармония не дается сама собой, требуется постоянное усилие:

Против шерсти мира поем –  
Чтобы розовой крови связь  
И травы сухорукий звон  
Распростились: одна – скрепясь,  
А другая – в заушный сон.

07.03.2007. В газетах пишут о «смене брендов»: Ленина стало модно оплевывать, зато возвеличивается Сталин. По ТВ уже месяца два идет фильм «Сталин live». Я раза два включал: больше минуты не мог выдержать. На недавнем церковном соборе митрополит Кирилл вторил партийным лозунгам:

«русская идея», православие в школах, новое, позитивное понимание империи. Сталин – патриот, воссоздатель империи, Ленин был с евреями, разрушил империю. Голосов, напоминающих о реальной истории, почти не слышно.

16.03.2007. В.С. пишет о японцах: «Я давно обратил внимание на эту странную нацию... Эти люди читают идиотские комиксы (взрослые!) и, когда приезжают в Европы, шастают организованными группами: я видел, как они сплоченным коллективом быстро-быстро шли по Лувру, останавливались по знаку экскурсовода у «Моны Лизы», и тут же дальше».

Я сам, помнится, усмехался, глядя на такие торопливые группы – не только японцев, но и немцев, и русских. В этой усмешке есть элитарное высокомерие. Экскурсанты – заурядные служащие, клерки, продавцы, они вырвались в отпуск, счастливы отметить возле памятника. Для них произведения искусства (и многое другое) не могут значить того, что для понимающего художника. Пусть украшают, разнообразят монотонную, конвейерную жизнь комиксами, экскурсиями. Высокомерие несправедливо. Люди разные, и ценности у всех разные.

24.03.2007. Мысль при чтении В. Налимова. Телеологическая несомненность, необходимость присутствует во всех подлинных проявлениях жизни, мысли, искусства. Это не могло не состояться, это возникло, произошло не случайно. Неподлинное нежизнеспособно, исчезает, преодолевается, как шум, помеха, как мусор. Есть жизнеподобные муляжи, имитации.

06.04.2007. В письме Хазанову я процитировал недавно прочитанную фразу Мандельштама: «Нельзя выбрасывать на рынок безнаказанно сотни тысяч неуважаемых, непочтенных или полупочтенных книг, хотя бы продажных, хотя бы тиражных книг». Он называет это «горькой и унижительной болезнью». 1929 год. Я написал: «Ничего нового, так было и во времена Пушкина, разве что цифры тиражей другие. Насчет безнаказанности – вот это пока не ясно».

Он замечательно ответил: «Нет. Хотя речь идёт о том, что нам так хорошо знакомо, времена не те, что в двадцатых или тридцатых годах, не говоря уже о пушкинских. Совершилось нечто такое, о чём, возможно, тогдашние властители дум смутно догадывались. Но представить себе масштаб и следствия они не могли... Мы дышим другим воздухом... Обилие мусорной литературы, мусорной музыки, мусорной информации, лавина вообще всякой информации без разбора, без передышки, журнализм, правящий умами масс и в свою очередь порабощённый массовым сознанием, которое он воспитал, коммерциализация всего на свете, индустрия потребления, рассчитанного на всех и доступного всем, ибо всё должно стать товаром и становится товаром. В результате – вот она, диалектика или, что то же, ирония истории... – всеильный рынок становится рабом самого себя».

Возможно, это ответ на вопрос о безнаказанности.

14.04.2007. Встретился на улице сосед, спросил полушутя: «А вы почему не на манифестации?». Сегодня проходил так называемый Марш несогласных, людей не пускали на Пушкинскую площадь, избивали, увозили в милицию; рассказывают разные эпизоды. Я хмыкнул: возраст не тот. «Что-то изменится, как вы думаете?» – неожиданно продолжил он разговор. – «Сейчас, конечно, не изменится, но рано или поздно измениться должно». Он согласился, стал рассказывать, какая тяжелая жизнь в его родной Калужской области: люди не работают, сидят без денег, пьют. Как обсуждают нынешнюю жизнь соседи по садовому участку, шофера (он сам шофер). «Говорят, все едут в Москву. Но ведь жить можно только в Москве». И показал на наших дворников, которые сидели неподалеку на ограде: они расписываются в ведомости за 3 тысячи зарплаты, но цифра поставлена карандашом, ее потом стирают, ставят 15 тысяч, это получает начальство. «Сами мне рассказывали. А что делать? Заработать можно только в Москве». Когда-то, в советские годы, я вел много таких бесед, знал, как недовольны люди...

15.04.2008. ТВ-проект. Милая, симпатичная женщина приносит двум ведущим дамам свои вещи – те брезгливо их перебирают и бросают в мусорную корзину: надо одеваться не так! Ей покупают модные вещи, меняют прическу, макияж, говорят: откройте глаза! Она открывает глаза – и не узнает себя. Была симпатичным живым человеком, стала нарисованной стандартной картинкой из модного журнала – никем. С такой внешностью нельзя жить своей жизнью – только соответствовать чьим-то представлениям.

Таковыми же чужими, неорганичными выглядят роскошные интерьеры по модным картинкам. Когда живешь своей жизнью – создаешь обстановку вокруг себя, по своей мерке, как наращивает на себе раковину жемчужница.

(Не говорю о том, как смотрят эти передачи о роскошной жизни обитатели коммунальных квартир, провинциалы.)

Исчезают игры нашего детства – это естественно. Но во что играют дети сейчас? Наши дети еще играли в прятки, классики, дочки-матери, прыгали через веревочку, мальчишки играли в войну. Выйдешь во двор – увидишь расчерченный асфальт, играющих детей. Сейчас остался, кажется, только футбол, теннис – спорт для специальных площадок. Катание на роликах, велосипедах и прочее – это все же не игры. Мальчишки ходят с автоматами, но их держат за руку мамыши. Сейчас стараются не отпускать во двор одних. Множатся истории о пропавших детях, о школьных жестокостях, которые снимают на цифровые камеры.

Это, конечно, московские наблюдения. В провинции, в деревнях еще, должно быть, держится прежнее. Я подумал о своем «Учителе вранья», где сюжет начался с игры в прятки. Не придется ли объяснять нашим внукам, что это такое? Мои, кажется, в прятки еще играли.

23.04.2007. ...Работу сбilo известие о смерти Ельцина. По записям разных лет разбросано много переменчивых оценок этой личности; но понимать что-то в происшедшем мы

начинаем запоздало, (а некоторые до сих пор не поняли). Обобщающим оценкам придет пора, но что он крупная, уже историческая фигура, ясно уже сейчас. Главным остается чувство: то, что произошло в 91-м году, я до сих пор воспринимаю, как историческое чудо, до которого не надеялся дожить. За это он уже заслуживает благодарности – как и за то, что это чудо не развеялось, его удалось сохранить. Остальное для истории частности (а для человеческой жизни – свобода, катастрофа, процветание и нищета, война, смерть).

10.05.2007. ...Вчера праздновали Победу. Этот праздник все более переосмысливается: говорят уже не о советской армии, а о русской. И памятник в Таллинне, который переместили из центра города на военное кладбище, вызвав громкий до неприличия скандал, эстонцы называют памятником русскому солдату. В одной книжке Кундеры меня покорили повторяющиеся упоминания о «русской оккупации», «русской армии». В 68-м году в Прагу вошли все-таки не русские, а советские войска, среди солдат был и майор Масхадов, будущий чеченский президент. Но наша пропаганда бездумно отстраняет, отодвигает от себя бывшие советские республики, все больше видит в них врагов, ностальгирует по имперской мощи. Страна все-таки идет вперед, но головы многих повернуты назад. Все это не только противно, но опасно.

31.07.2007. Умер Ингмар Бергман и сразу за ним Антониони. Оба дожили до 90, Антониони даже потерял дар речи после инсульта, снял фильм и давал пресс-конференции с помощью жены, которая служила ему медиумом, артикулируя невнятное мычание, он кивком головы подтверждал, что все правильно. Но оба завершили XX век и остались в нем. XXI век вдруг опустел: ушли гиганты и в живописи, и в литературе, и в кино. В самом деле – идет другой век. Я никого не могу назвать в живописи, хотя бы отдаленно сравнимого с Пикассо и Шагалом, не могу назвать (просто не знаю) поэтов после Бродского. Витя Ерофеев сгоряча назвал было Пригова «самой



большой потерей после Бродского». Но вот Хазанов прислал мне цитату из Пригова: «Вполне возможно, что нынешний... вариант высокой литературы, родившийся в свое время и честно свое отслуживший, так и остался в своем времени». «Ситуация рынка распределила приоритеты в современном мире по-иному». Ну, и много других словес. Файбусович отмечает «претенциозность, с которой декларируются общие места, и смехотворный язык, то псевдоученый, то кухонный. Спорить здесь невозможно». В некрологе «Политического журнала» описывается последняя акция, которая должна была состояться незадолго до его смерти: «Пригова хотели посадить на монументальный шкаф в цокольном этаже общежития МГУ, а затем на руках поднять шкаф с поэтом по лестнице на 22-й этаж. Дмитрий Александрович во время этого процесса должен был декламировать свои стихи». Не поймешь, с восхищением ли это описывается или с недоумением.

10.08.2007. Во «Второй навигации» интересные материалы о кризисе постмодернистской концепции, которая была особенно влиятельной последние два десятка лет. Полячка Нина Витошек, профессор университетов в Осло и в Оксфорде, пишет: «Причина варварства – не в опошлении культуры, а в отказе делать различия». Постмодернизм стирал границы между высокой и массовой культурой; казалось, что это освобождает и «депровинциализирует». Но в результате «все больше и больше кажется, что нет никакого различия между глупостью и мудростью: компетентность, правда и красота, как контактные линзы, находятся в глазах у наблюдателя... Как только они устранены и напряженность между сакральным и профанным исчезает, вместе с ними испаряется и смысл культуры в целом». Говорят о культуре применения наркотиков, культуре потребления, культуре насилия. «Культурной революцией Мао» называются события, которые привели к уничтожению примерно 20 миллионов человек, разрушению библиотек, сжиганию книг и т.д. Мы все еще называем это «культурной», а не «варварской» революцией. Такой «семиотический конфуз», по

словам автора, приводит к тому, что все, включая варварство, определяется как культура. Постмодернистское размывание границ не только приводит к хаосу, но означает путь назад, к тоталитарной системе. Ведь «сущность советского тоталитаризма была как раз в отмене различий между правдой и ложью, историей и беллетристикой, глупостью и компетентностью, красотой и уродством... Одним из самых замечательных и недооцененных аспектов восстания против тоталитаризма является то, что он, тоталитаризм, по природе своей часто не эстетичен. Отвращение Томаса Манна к нацизму, например, носило печать отвращения, морального и эстетического». Мы думаем, что люди, угнетенные варварскими режимами, нуждаются лишь в одежде, лекарствах, пище; но одним из самых больших лишений для них является утрата достоинства и красоты.

Я что-то подобное пробовал сформулировать, полемизируя, например, с Марком Липовецким. Не только эстетическое отталкивание – невольную тошноту вызывали у меня иные авторы, которых он восхвалял.

«Мусор есть мусор, но история мусора – наука», – цитирует Витошек американского философа Хаака. «Сегодня кажется, что мы, начав с истории и теории мусора, пошли дальше. Мы предпочитаем осторожное описание, безопасное резюме; интеллигенция стала «девственницей корректности». Чтобы культуре было возвращено ее значение, надо восстановить в правах «ряд этических и символических форм и ценностей, которые взаимно поддерживают и защищают человеческое достоинство, культурные и лингвистические барьеры. Я подчеркиваю – защиту достоинства, а не терпимость, потому что терпимость может свести все на нет безразличием».

Георгий Степанович Кнабе пишет о другой стороне проблемы – об идентификации. Человек, неповторимый индивид, личность, вместе с тем всегда ощущает свою принадлежность к социальной и культурной общности, сознательно или подсознательно различает «свое» и «чужое». Для постмодернизма культурная традиция, принимаемая обществом как «своя»,

кажется чем-то предосудительным, антигуманным, несовместимым со свободным духом. Поощряется «мультикультурность», «политкорректность», отказ от стилей, традиций и прочее.

«В этой ситуации инстинкт человечества властно требует того, чего нет, – той идентификации, что утрачена в цивилизации постмодерна», – пишет Кнабе. Он цитирует предсказание Умберто Эко: «В следующем тысячелетии Европа превратится в многорасовый или, если предпочитаете, в многоцветный континент. Нравится ли вам это или нет, но так будет». В человеке, однако, заложено знание о «своем» и «чужом», – напоминает Кнабе. Миллионы «европейцев и американцев – не расисты и не ностальгирующие реакционеры; они просто хотят жить в стране своих дедов и прадедов и идентифицироваться с ней». Когда оказываются подорваны, упразднены какие-то насущные связи, человек культуры «уступает пространство истории чему-то противоположному идентификации и культуре – нетерпимости».

Это мы сейчас и наблюдаем – не всегда осознавая причины.

24.08.2007. Опросы общественного мнения подтверждают, что молодые люди все меньше интересуются политикой и на выборы идти не собираются. Мы политикой не могли не интересоваться, узнавая правду о Сталине, а постепенно и обо всей системе, о страшной реальности, добывая ее запретными путями, осмысливая возможности (или невозможность) что-то в этой жизни изменить. Не странно ли: нынешней молодежи политическая правда легко доступна, а они обходятся самодельной мифологией, не особенно напрягая мозги? Насущней другие заботы.

На днях одна литературная дама говорила, что важнейшей темой для молодых прозаиков становятся деньги, и не как житейская проблема, а как некая метафизическая категория. Мне вспомнилось, что в обзорах немецкой прессы 70-х годов я часто реферировал рецензии на книги, где героями были

финансовые дельцы, аферисты и т.п. Мне это казалось неинтересным, эти книги, по-моему, у нас не переводились, да и в Германии эти популярные прежде авторы, кажется, забыты (как и политические Liedermacher, барды по-нашему). Не знаю, что там популярно сейчас. Мы вышли на эту тематику спустя 30–40 лет в другом, конечно, контексте. Будут ли этих авторов помнить спустя еще лет 30?

Та же литературная дама заметила, что поэзия сейчас интересна лишь узкому цеховому кругу. Для двух моих старших детей жизненно важными были Мандельштам и Пастернак, для младшей уже нет. Как и Окуджава, Галич, Высоцкий, Ким.

Берберова, которую я сегодня открыл (просто не зная, чем заняться ближе к вечеру, когда уже не мог работать) заметила, что многие ее современники-эмигранты (например, Бунин) заостенели в старых, еще от XIX века, представлениях, вкусах, не воспринимая новых течений в мировом искусстве, литературе. Надо в этом смысле следить за собой.

08.09.2007. Недавно я прочел у одного американского поэта и эссеиста (Дейна Джойл), что поэзией в традиционном понимании («литературной поэзией») интересуется все меньше людей, зато массовым успехом пользуется «устная поэзия» (рок, рэп, «ковбойская поэзия», «слэм-поэзия»). Оценивать ее «по канонам печатных текстов» нельзя, в печатном виде она не выдерживает никакой критики; надо сначала договориться о терминах. Юлик Ким выдерживает любые критерии, популярность его (у нас, во всяком случае) огромна и заслуженна. Не уверен, однако, что она сравнима с популярностью нынешних групп, Гребенщикова (которого на бумаге я просто не воспринимаю). «Сомнительная художественная ценность новых поэтических форм не отменяет их главной ценности: извечной человеческой тяги к поэзии», – пишет Д.Д. Поэзию в середине прошлого века уже объявили «умирающим искусством»; но новые формы возродили более массовый, чем прежде, интерес к ней.

## 11.09.2007 Реклама книги:

В отстой развлечения прошлого века,  
Прикольная книга спасет человека!

21.09.2007. Один из читанных в эти дни авторов сокрушается о распаде Советского Союза: потеряна прежняя единая родина, часть живет в России, часть на Украине. Я подумал: а что случилось после распада Австро-Венгерской империи? Брат жил в Праге, сестра, как и раньше, в Вене, ну и что? Как ездили друг к другу, так и продолжали. Кафка говорил по-чешски, друзья только по-немецки – но проблем не возникало. Проблемы были другие: кризис, депрессия, инфляция, безработица.

По какому-то сцеплению мыслей вдруг вспомнилось, как я, турист, шел по Карпатам (места между горой Говерлой и Мукачевом), по бывшей польско-австрийской, кажется, границе, там, на горах, оставались бетонные столбики. И во множестве лежали кости, черепа не захороненных после войны солдат, наших ли, немецких, каски не помню чьи. 1957-й год, 12 лет после войны, в Москве – фестиваль молодежи. Председатель сельсовета, к которому мы пришли отметить нашу маршрутную книжку (подтвердить, что мы были здесь), доставал припрятанную печать: «Надо прятать от бандеровцев», – пояснил с усмешкой. Говорили, кто-то еще прятался в лесах. В поезде по пути я сфотографировал впервые увиденный мной тоннель, кто-то из пассажиров донес, подошел человек в штатском, засветил пленку. В местном поезде пассажир пиликал на скрипке, здесь этот инструмент встречался, как у нас гармошка. Иногда пели. Одну песню я, как ни странно, могу сейчас записать по памяти, не совсем по-украински, конечно:

На высокої полонині\*  
Вітер завиває.  
Сідіт чабан на колоде,  
Думку думає.

---

\* Полонина – луговина в горах.

А я себе куплю тримбу\*,  
Абы бути босу,  
Нехай тримба затримбае  
Коло мово носу.

Как-то нас подвезли по узкоколейке на старинном паровозе, еще австрийском. В одном доме нам разрешили переночевать на сеновале. Я предложил хозяину поколоть для него дрова – любил это занятие, каждую зиму колол у себя в Лосинке. Но такого удовольствия я больше никогда не испытывал. Гуцульский топор с узким острым лезвием на длинном, необычайно удобном топорище, буковая колода рассыпалась как будто сама, почти без усилия, не было сучков, тесных мест (надо вспомнить слово), в которых увязал топор. Мог бы махать без конца, как во сне, но заготовленные колоды кончились.

На горных тропах там еще встречались распятия. Однажды мы спросили дорогу у встречного, похоже, венгра, он не говорил по-русски. Повесил торбу на сук, налегке провел нас вверх, до перевала, откуда можно было показать направление.

Как-то на дороге мы нашли остаток кожаной обуви, постола, кто-то из ребят прикрепил его к палке, понес, как флаг. Встречный гуцул счел это за обиду, сказал: «Москва тоже в постолах ходила».

Ночевали мы обычно в каких-нибудь общественных зданиях, школах, клубах, в клубах иногда выступали. Местные жители благосклонно выслушивали нашу студенческую, а впрочем, столичную самодеятельность. С одним завклубом я потом некоторое время переписывался. Его звали Федор Кампов, у меня сохранились его письма, надо как-нибудь посмотреть. Жаловался на убогость жизни, нищенскую зарплату, на антисоветскую, «националистическую» настроенность местного населения. Он был здесь, как я понял, русским, не своим.

Во Львове я заглянул в католический собор, служба шла на латинском языке. Поляки поглядывали на меня молча.

---

\* Тримба – трембита, гуцульский духовой инструмент.

Помню средневековую площадь, старинную аптеку – чтобы оценить такие впечатления, надо заранее что-то понять, знать.

Кто-то из наших решил там постричься в парикмахерской, мы зашли за компанию. Парикмахер нас прогнал: чтобы не отпугивали клиентов, подумают, что очередь. Это был парикмахер-частник, там такие еще сохранились.

Ночевать мы попросились в заведение для малолетних преступников на окраине. Пока наш руководитель договаривался с начальством в помещении, один пацан на крыльце лениво со мной разговорился. «А знаешь, – спросил, – что такое штопор?» «Штопор – это то, чем открывают бутылки», – ответил я. «Штопор – это человек, который за копейку убить может», – объяснил презрительно. Не помню, там ли мы заночевали.

Всплыли воспоминания – решил их записать. Тогдашние дневники я, слава богу, уничтожил. Любовных впечатлений у меня тогда не было. А ведь 20 лет. Ровно 50 лет назад.

28.09.2007. Лопаются пузыри на волнах, миг – и нет их, сменяются, обновляется пена, ничто не остается навечно. Эти мгновения жизни обретают, сохраняют реальность в тебе, в твоих мыслях, чувствах, памяти. Достоверно запечатленное, сохраненное внутри.

29.10.2007. Из газетного интервью (А.Р.). «Я родился и вырос в Мытищах. Так вот, класс, который на два года старше меня, весь на кладбище лежит. Кто в перестрелках погиб, кто от дешевой водки умер... от нищеты, от нереализованности».

30.10.2007. Суждения, которые кажутся новыми, оригинальными, со временем оказываются общими местами. Вдруг обнаруживаешь, что и другие говорят примерно то же. (Перечитывая недавние свои размышления о современной ситуации, политической, культурной, духовной.) Неповторимым может быть лишь художественный образ.

Ангел теряет форму, давно ему не с кем бороться.  
Слегка пополнил, облысел, крылья трачены молюю.  
(Кто-то сказал бы: временем, но его для ангелов нет).  
В кафе «У Иакова» под стеклом показывают перо,  
Найденное при раскопках – сохранилось на удивленье.  
У игровых автоматов азарт: новинка «Борьба с неизвестным».  
До приза никак не добраться. Победа, кажется, близко –  
Опять game is over. И приз остается загадкой. Знать бы приемы.  
Приходится пробовать снова. Зато выброс адреналина!  
(И доход заведению). В задней комнате полусумрак.  
Запыленные переплеты на полках – собранье старинных снов.  
Дым сладкого курева в воздухе загустевает, обещая видения.  
В этих местах они, говорят, непростые, здесь проходит разлом,  
Геологический и духовный, что-то вдруг может открыться.  
Ангел принюхивается, вдыхает. Виденья даются каждому  
По способностям, по готовности к встрече, к прорыву  
За доступный предел. Но как же сладко растечься!

Кстати, уже почти завершив этот верлибр, я вспомнил переведенное Пастернаком стихотворение Рильке «Созерцание» и снова перечитал его по-русски и по-немецки. «Так ангел Ветхого завета нашел соперника подстать». Бессознательная переключка. Я, право, об этом не думал. И как непостижимо гениален перевод!

22.11.2007. Среди бормотания бессонницы вдруг осмысленная фраза: «Жить так, как будто каждый день последний». Пятистопный ямб, можно вставить в стихотворение.

25.11.2007. Введя в компьютер запись двухмесячной давности, решил достать письма Федора Кампова, культработника из закарпатской деревни: оживут ли воспоминания 50-летней давности (1957–59)? Оказывается, я их уже когда-то просматривал, кое-что подчеркивал на полях, пытаясь извлечь сюжет.

«Отвечаю на некоторые вопросы твоего письма. Уходят ли сейчас с колхоза? Уходят. Только не думай, что навсегда уходят. Дело в том, что в город не так-то легко приписаться.



Некоторым удается – те уходят на работу, скажем, на фабрику, завод и т.д. Другие находят любую черную работу, где не очень-то требуется приписка, скажем, грузят на какой-нибудь базе. Такие люди работают временно..., только б в колхозе не работать. Такие люди, на жаль, еще бывают у нас сейчас».

«Еще раз объясняю, что ты не поймешь меня. Ведь ты историю Закарпатья мало знаешь, каким путем оно дошло до освобождения, какие люди остались».

В том же году он поступил во Львовский культпросветтехникум. «Стипендию нам дают по 190 руб[лей] в месяц, но там еще за общежитие и другие вещи отсчитывают, так что чистых на руки получается 160–170 руб[лей]. А возможно ли в Львове, да и вообще в городе, где кроме воды, ничего не достать, прожить человеку? Только при помощи родных ты можешь жить, вернее, не жить, а дышать с дня в день. А что требовать от отца, которому скоро 70, да еще заболел, а дома 2 ребятишка, которых надо одевать, кормить и т.д. Нацет жизни у меня плохо. Но я не здаюсь и не здамся пока сил хватит и пока воостатнее сердце бьется в груди». (10.09.1957)

А потом неудача с поступлением в университет, отчаяние. Родственники его шпыняли: не все же учиться, надо работать, жить. Судя по словам его писем, я его подбадривал, призывал держаться – стыдно было бы сейчас перечитывать. Посылал ему денег, 40–50 руб., судя по его благодарностям. И при том реальную жизнь по этим словам невозможно представить.

У меня залежались еще пачки давних писем – зачем их хранить? Кто после меня будет их разбирать? Буду понемногу выбрасывать, как выбросил старые рукописи и дневники. Со стыдом думаю, что могут когда-нибудь всплыть мои письма тех лет.

---

\* Надо, наверно, напомнить, после 1960 года это стало равняться 19 рублям.

## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Каждая поездка за границу – попытка узнать другую страну, другую культуру, проникнуть в другую жизнь, другой мир. И при этом как бы заново, со стороны, понять что-то в своей собственной стране, в своей жизни.

### Кот в шлепанцах

На Парижской книжной ярмарке в числе прочих мероприятий предполагалась моя встреча со школьниками, читателями моей книги «Учитель вранья». Герой этой сказочной истории приглашает детей в необычную школу, где учат сочинять веселые небылицы, и сами они вместе с ним попадают в увлекательный фантастический мир.

Встрече предшествовала нелегкая переписка с французской библиотекаршей О.Б. Не знаю, успела ли она уже прочесть перевод книги, но предложенная ею программа удивительно напоминала программы наших советских читательских конференций. Для начала желательно было поговорить на тему, что такое правда и что такое ложь, затем по-французски читался отрывок из книги, в завершение все вместе должны были «сделать резюме». Я в некотором испуге попытался объяснить, что книга немного о другом – о веселом сочинительстве. Для начала я хотел бы спросить детей, любят ли они врать. Хорошо, если бы они попробовали написать сочинения для моей школы. Скажите им, что учитель вранья – это я сам. Не так серьезно, повеселей. «Le professeur

de mensonge – c'est moi, – с трудом подбирал я французские слова. – Plus drôle!»

Похоже, мой французский язык еще больше смутил библиотечаршу. Возможно, написала она, у вас понимают ложь и правду не так, как у нас? Возможно, тут какой-то политический подтекст? У вас, в России, была газета «Правда», у нас во Франции ничего подобного не было.

Я уже в полном смятении написал по-русски редакторше книги, попросил ее объяснить библиотечарше, что я хотел сказать. Та меня успокоила: все будет нормально.

Встреча задержалась часа на полтора. Во Франции была забастовка железнодорожников, школьники добирались из пригорода. Переводчик, имени которого я при знакомстве сначала не расслышал, нервно поглядывал на часы, у него еще были другие дела. «Это шантаж, – мрачно сказал он. – Только во Франции государственные служащие имеют право на забастовку. Работники частных предприятий должны вставать в 5–6 часов утра, чтобы пешком дойти на работу. И ничего с этим невозможно поделать. Меньшинство диктует свои условия большинству. В России большевики захватили власть, хотя тоже были меньшинством».

Когда французы стали меня представлять, он услышал, что я переводил с немецкого, спросил, знал ли я Константина Богатырева, Льва Копелева. Это оказался Никита Кривошеин, сын солагерника Копелева, они вместе были в знаменитой марфинской «шарашке». Мы разговорились. Как раз незадолго перед тем я написал воспоминания о Копелеве. Я попросил у Кривошеина электронный адрес, сказал, что пришлю ему свой текст\*.

Приехавшим, наконец, школьникам на вид было лет 12–14. Среди них оказалось много чернокожих, арабов, они

---

\* Вернувшись в Москву, я послал Кривошеину воспоминания о Копелеве – «позднем Копелеве», как выразился он в своем ответе. Сам он познакомился с ним еще в 1954-м году, у него были другие воспоминания. «В Марфино он подарил моему отцу к 50-летию 2 тома Ленина по-французски и сам написал предлинную поэму во славу т. Сталина – наподобие Моисея, он вел жестоковыйный русский народ к светлому будущему».

держались немного особняком. Я тихо задал Кривошеину вопрос, который не раз повторял здесь, как прежде и в Германии: падает ли уровень образования из-за притока в школы людей, которые плохо знают язык, культуру? Он ответил мрачно: «Это катастрофа».

К встрече школьники оказались подготовленными неплохо, они читали свои сочинения для школы вранья (написанные, скорей всего, с помощью учителей). Из тем, которые я для примера предлагал когда-то библиотечарше, почти все мальчики выбрали одну: придумывали объяснения, почему они опоздали или не пришли в школу. И причины почти у всех оказывались однообразными: их по пути похищали какие-то темные личности (слово употреблялось английское: *kidnapper*). Лишь одну девочку похитили марсиане, и она неплохо пофантазировала о марсианских впечатлениях. Почему так однотипно работала у многих мысль?

Вопросы, которые мне стали потом задавать, тоже, думаю, были подготовлены учителями. Среди них был такой: почему на страницах книги у меня появляется кот в шлепанцах? Я ответил: «Помните, у Шарля Перро он был в сапогах? Для отдыха сменил обувь».

Дети недоуменно переглянулись. Оказалось, они не знали «Кота в сапогах», вообще не слышали имени Шарля Перро. У нас, мне кажется, его знают все.

На прощание мы со школьниками сфотографировались. Я смотрел на их улыбающиеся лица осенью, когда по телевизору показывали погромы и поджоги в парижских пригородах. Такие же подростки весело улыбались в телекамеры – некоторых, мне казалось, я готов был узнать. Скорее всего, казалось. Я написал в Париж, встревоженно спрашивал, не случилось ли чего с моими знакомыми. Нет, с ними, похоже, все обошлось.

## Манифест европейских тружеников

Спустившись впервые к завтраку в ресторан брюссельского отеля «Royal crown», я не без удивления отметил, как

изменился за последнее время тип деловых людей. Отель был четырехзвездочный, здесь останавливались обычно солидные бизнесмены, преимущественно это были мужчины в строгих костюмах, при стильных галстуках. Теперь в роскошном интерьере преобладали дамы, одетые разнообразно и уж никак не солидно – я очередной раз почувствовал, как успел отстать от европейской моды. Внешность многих я бы назвал нестандартной: за столик напротив уселась мужеподобная, гренадерского роста женщина, ее соседка сияла пышной лиловой прической, да и вся была – как бы это сказать? – ну да, пышная, внушительных габаритов. Представительские карточки на бюстах издали я прочесть не мог. Современные businesswomen. Мужчины среди них просто терялись, да и выглядели как-то совсем уж непредставительно: вертявые, мелковатые, в ношенных джинсах, курточках...

Лишь выйдя из ресторана в холл, я обратил внимание на небольшую табличку: «Sex work, human rights. European conference». В отеле «Royal crown» проходила общеевропейская конференция проституток. Точней сказать, именно «сексуальных работников». Можно даже сказать, пролетариев. Создавалась международная профессиональная организация: «International union of sex workers».

Писательское любопытство заставило меня спуститься на нижний этаж, в зал, где они собирались. Над входом висел большой бумажный плакат: «Sex workers of the world united». На столиках разложены документы, на стенах цветные фотографии, где свои достоинства в боевой готовности демонстрировали почему-то одни лишь мужчины. Они здесь тоже были, естественно, при деле: sex workers. Фотографии женщин были на удивление скромными, зато сопровождались текстами и даже стихами, где сексуальные труженицы делились своими чувствами и мыслями, обсуждали волнующие коллег проблемы. На мужчин мне смотреть было неинтересно, вообще человек в моем возрасте выглядел здесь, наверное, не совсем уместным (хотя дамы встречали и провожали меня взглядами спокойными, безразличными). Да и у самого были в Брюсселе другие де-

ла. Я лишь взял со столика документы конференции на английском и немецком языках, чтобы потом, вечером, почитать.

Сразу показалось немного странным, что тексты манифеста «Sex workers in Europe» на обоих языках были не вполне идентичны. Английский манифест не делал различия между полами, в немецком варианте говорилось только о женщинах: «Sexarbeiterinnen in Europa». Порой вообще возникало впечатление, что речь для немцев идет преимущественно о правах лесбиянок и их партнерш – «unserer Partnerinnen», которых несправедливо считают сутенершами и эксплуататоршами: «Zuhälterinnen und Ausbeuterinnen». Формы женского рода в таком контексте как-то все же сбивали с толку. Понятней, да и демократичней звучал манифест английский – там выражался протест против нарушения человеческих прав любых работников этой самой «sex industry», как их ни называй: «the labeling of our partners as pimps and exploiters». Но, впрочем, и по-английски, и по-немецки говорилось о том же: о праве на труд, на социальное обеспечение, на участие в политической деятельности, о свободе передвижения, отмене обязательной регистрации и медицинского обследования, требовалось право на убежище независимо «от пола и сексуальной ориентации»... Тут я, впрочем, опять подумал, что в русском переводе это тоже оказывается не вполне понятно, ясней, пожалуй, звучит по-английски: «We demand the right to asylum for anyone denied human rights of the basis of a “crime of status”, be it sex work, gender or sexual orientation».

Что ж, проблемы были, как я начинал понимать, действительно непростые, вникать в них, конечно, следовало более основательно. Однако посещать заседания конференции у меня времени не было. В Брюссель я приехал по приглашению фестиваля «Европалия», который периодически проводится здесь под эгидой бельгийского короля – своего рода демонстрация культурной общности европейских народов. В этом году страной-гостем оказалась Россия. Несколько месяцев по всей Бельгии выступали музыканты, театральные коллективы, проходили разные выставки. У меня были встречи с читателями в Брюсселе, в библиотеке небольшой деревушки Braine-

l'Alleud, в университете города Гент. Прославленные туристические красоты достаточно описаны в путеводителях, мне, как всегда, особенно интересно было другое: разговоры, встречи, новые, иногда неожиданные люди.

Конференцию сексуальных тружеников в отеле сменила конференция натовских офицеров. Еще раз можно было наглядно почувствовать, что Брюссель действительно европейская столица. Ресторан по утрам теперь заполняли сравнительно молодые мужчины в мундирах – совсем немногим, казалось мне, можно было дать больше сорока лет. Интеллигентного вида, спортивные, они разительно отличались от пузатых полковников, каких обычно лицезрешь на наших армейских встречах. Я только тут вдруг отметил, что вообще не видел ни в Брюсселе, ни в других здешних городах толстых, накачанных, бритоголовых мужиков, которые до сих пор модны в Москве. На улицах и площадях долго искал взглядом полицейских, увидел нескольких у королевского дворца и возле мэрии – форма их была совсем неприметная. И уж нигде не было видно привычных у нас охранников, тем более с автоматами.

В Генте, студенческом городке, где велосипедов больше, чем автомобилей, я, заглазевшись на башни, чуть не столкнулся с каким-то велосипедистом. «Не хватало приехать в Бельгию, чтобы попасть здесь под велосипед», – пошутил я. «Тем более под полицейский», – откликнулся мой бельгийский спутник. Оказывается, здесь и полицейские разъезжают на велосипедах. Время спустя мне показали на улице мужчину, он шел, держа за руки двух маленьких детей. «Это наш министр труда», – сказал мне спутник.

Вот когда действительно ощущаешь разницу – когда вглядываешься в людей. И поневоле покачиваешь головой, слыша разговоры о том, что Москва все больше подравняется под мировые столицы.

Я продолжал думать об этом в Брюссельском аэропорту. Оформление, досмотр – все здесь проходило несравненно быстрее и проще, чем в Москве. Мое внимание привлекли стоявшие впереди два молодых хасида, с ухоженными пейсами, в лапсердаках

и черных шляпах. Ясно было, что они должны были на досмотре эти шляпы снять. Я ожидал, как они это сделают – оставаться без головного убора им же не полагалось. Почему-то сразу не пришло в голову, что под шляпами у них оказались кипы. Конечно.

Нет, все-таки не надо забывать, какие произошли перемены – немного развеселившись, продолжал я думать уже в самолете. На телевизионном экране стрелка показывала по географической карте: мы уже пересекли границу России. И вспомнилось, как я в 1988 году впервые летел на Запад, в ФРГ, и не по экрану – глядя в иллюминатор, определял: мы уже не в Советском Союзе, уже не в Польше, уже не в ГДР. Все! Теперь меня в случае чего не вернут, я на свободе! Я не собирался оставаться в ФРГ, знал, что вернусь, но все равно было это чувство: после всех хлопот о разрешении выехать, хождения по инстанциям, после контроля – я хоть на время в свободной стране.

И тут же вспомнилось противоположное чувство, когда я за год до того возвращался из Чехословакии через Польшу, пересекал советскую границу. Пограничники с овчарками на вспаханной полосе между рядами колючей проволоки, таможенник подозрительно спрашивает, нет ли у меня «литературки». Лозунг: «Добро пожаловать в социалистический лагерь!».

Другие времена, что говорить. Но о том, что Москва все-таки еще не Брюссель, напомнило первое же впечатление в аэропорту: встречающая девушка с плакатом: «VIP-зал». Ни в одном западном аэропорту я такого, помнится, не встречал. Там, наверное, такого и быть не может.

### **Чьи это слова?**

В Бельгию я впервые попал, когда меня в качестве стипендиата (в приглашении это называлось: лауреата) пригласили поработать на вилле Мон-Нуар (Mont-Noir). Располагалась вилла во Франции, но, как мне сказали, метрах в двухстах от бельгийской границы. На месте этой виллы находился когда-то дом Маргарет Юрсенар, сам он в прежнем виде не сохранился.



На второй же день после приезда я решил прогуляться в Бельгию. Пошел не по автомобильному шоссе, а какими-то окольными тропками, среди огородов. Раз-другой спрашивал дорогу у встречных – мне доставляло удовольствие спрашивать по-французски. Ответы я не всегда улавливал, но достаточно бывало пояснительной жестикуляции. Вволю поплутав, я, наконец, вышел в небольшой городок. Надписи, магазинные вывески были здесь по-французски и по-фламандски. «Это уже Бельгия или еще Франция?» – спросил я прохожего. Он взглянул на меня озадаченно. «Это Бельгия». – «А где граница? Я не заметил границы». – «Здесь нет границы». – «Но где-то она была? Я хотел ее посмотреть». – «Не знаю. Посмотрите, может быть, там».

Мои вопросы, думаю, произвели на местного жителя не меньшее впечатление, чем мой французский.

Бывший пограничный пункт (Frontière) я почти случайно, кстати, увидел время спустя – на небольшом домике это слово красовалось в качестве вывески пивной «Frontière Jupiller»

Каждый день после работы я шел погулять, по Франции или заодно по Бельгии. У дороги табличка: *Ingang verboden* (проход запрещен) – значит уже Бельгия. Французы бы написали: *issue defense*. Старый фахверковый дом с камышовой крышей. Над полем неподвижно завис жаворонок, крылья время от времени трепещутся. Вдруг вертикально пикирует вниз, зависает уже почти над землей. Поля ухожены, в загонах коровы и лошади, возле каждого дома блестящие автомашины, и не одна. Уже зеленеет хмель. Крестьянин косит на тракторе луг, другой рядом ворошит сено двузубыми вилами. Рабочие штаны на помочах, светлая шляпа – персонаж Брейгеля. Он свой «Сенокос» писал, может, где-то неподалеку. Увидел меня, идущего в одних шортах, машет приветливо рукой. Я машу в ответ. Бельгийские поля не отличишь от французских. Участки размежеваны, наверно, лет 500 назад, никто уже не станет с такими вот вилами драться за землю. Разве что за сбыт продукции, но тут уже обращаются к своим правительствам.

Хотя история здесь, конечно же, всюду о себе напоминает. Французские города с голландскими названиями. По этим местам гулял Тиль Уленшпигель. Дюнкерк во Франции, Ипр в Бельгии – о каждом можно было бы многое рассказать, с каждым связаны печально известные события. Повсюду еще сохранились бетонные бункеры. Кладбища с ровными рядами солдатских крестов.

С холма, на котором располагается вилла, открывается прекрасный вид. Пастбища, группы высаженных деревьев, крыши крестьянских домов цвета обожженной глины и почти такого же цвета пашня, зелень всех оттенков, церковные шпили небольших городков. А далеко на горизонте, километрах в 30 – терриконы бывших шахт, тоже теперь горы: часть природного пейзажа. И спокойный неподвижный воздух над всем пространством. В парке, окружающем виллу, время от времени появляется стайка щебечущих экскурсантов, все больше пожилых: седые буколки, светлые легкие куртки. Переговариваются – читают надпись у входа в мое обиталище, тычут пальцами в окружающий пейзаж. Все – объект интереса и любования. Я возвращаюсь с прогулки, прохожу мимо туристов, достаю из кармана ключ и вхожу, чувствуя взгляды спиной – спиной достопримечательности.

Вокруг деревенская, уравновешенная, благополучная жизнь. Чувствуется, как чужды этой жизни развлечения, извращения, вкусы больших городов, а ведь это большая часть Франции, во всяком случае по территории. В книжном магазине ближнего городка мне показали мои книги. Спросил, покупают ли? Нет, не особенно. В самом деле, зачем здесь читать? И о чем писать? Вечерами включаю ТВ – новости такие же спокойные, житейские. Ну, иногда наводнения, где-то выборы, где-то террористический акт. Россию не упомянули ни разу, в газетах тоже про нее ничего нет.

Как-то, включив телевизор, я попал на знаменитую игру «Кто получит миллион». Человек задумался над вопросом: кому принадлежат слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Выбор между именами: Сталин, Маркс, Троцкий, Ле-

нин. Ответ давал 500 000 Fr. И человек сдался – не стал отвечать. Он уже выиграл 300 000, боялся потерять. До этого были вопросы о каких-то киноактерах, телеведущих – это он знал. Человеку на вид было за 40. Значит, так изменилось поколение? Не только у нас, во Франции, думаю, тоже еще недавно все знали про Маркса, Энгельса, «Коммунистический манифест».

И еще раз, но уже по-иному, я ощутил свою принадлежность к другому поколению, когда французские знакомые повезли меня в городок Херцеле (Herzele) показать необычное кафе «Des orguels». Все оно целиком представляло собой как бы музыкальный ящик, спрятанные за стенами старинные органы непрерывно играли танцевальную музыку. Мой спутник, музыковед и писатель Филипп Боссан (Philippe Beaussant) провел меня «за кулисы» – за одну из стен. Полки в тесном простенке сплошь были заставлены раскладными картонными книгами с названиями танцев на корешках. Хромой старик-служитель по очереди доставал их, разворачивал и, почти не допуская паузы, вводил первую страницу с пробитыми дырками между крутящимися валиками. Штырьки, попадая в отверстия, программировали мелодию для скрытого музыкального механизма, включались трубы, клавишные инструменты, барабаны.

Посетители кафе, молодые и пожилые, пили за столиками вино и пиво, иногда выходили танцевать. Танцы были, соответственно, давние, начала теперь уже прошлого, а может, конца позапрошлого столетия. Кадриль, полька, еще какие-то – французские названия мне были незнакомы. Танцующих это ничуть не смущало, они топтались под эту музыку так же, как делали это под современную. Я оставался за столиком, похлебывал свое пиво.

И вдруг уловил знакомый ритм – вальс. Это я умел. Но танцевать никто почему-то не выходил. Я решил пригласить сидевшую рядом молодую женщину. Она отказалась: «Я этого не умею». Так же ответила еще одна. Только юная дочка моих знакомых вышла со мной. Она вальс тоже не танцевала, но ее

можно было вести. Другие понемногу выходили вслед за нами из-за столиков, однако топтались по-прежнему, игнорируя не слишком удобный ритм.

Я оказался в этом зале, видимо, единственным, кто еще умел – помнил вальс. И почувствовал себя действительно в другом времени. Не в том, из которого доносилась антикварная музыка.

## Варварство!

В Швейцарию я был приглашен на фестиваль Рильке. Этот фестиваль устраивается раз в два года в маленьком городке Сьерре (Sierre), в 2006 году тема его была «Рильке и Россия». В местном музее демонстрировалась выставка «Рильке – Цветаева – Пастернак», их тройственной переписке были посвящены многие выступления. В самом Сьерре поэт, по сути, не жил, останавливался лишь проездом, но совсем неподалеку можно было посмотреть знаменитую башню Мюзот (Muzot), где им были написаны «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею». Сейчас в башне живут другие люди, это довольно мрачное на вид средневековое строение, потолки в жилых комнатах низкие: люди в Средние века были ниже нынешних. Непонятно, почему поэт облюбовал это не самое удобное жилье. Побывал я и на могиле Рильке, в Рароне (Rarogne). Поэт был похоронен у церковной стены, вне кладбища (священник заявил, что он не католик), рядом несколько уже совсем недавних могил. Сама церковь на скале живописна необычайно, и вид сверху великолепен.

Но опять же – что описывать туристические достопримечательности и красоты! Меня, литератора, и здесь больше всего интересовало, как в этой неправдоподобно прекрасной стране живут люди, как зарабатывают, какие у них проблемы. Я расспрашивал об этом новых знакомых, у некоторых побывал дома.

В соседнем городке Сион, где жила переводчица одной из моих книг Клэр де Морсье, я впервые за несколько дней увидел

швейцарского полицейского. Клэр захотела по пути купить мне открытку с видом города, остановила машину возле магазина и, увидев тут же полицейского, вышла к нему. Я знаю, сказала она, что здесь останавливаться нельзя, но у меня в машине писатель из России, я хочу купить ему открытку.

Полицейский взял у нее деньги, сам пошел в магазин и сам принес мне открытку в машину.

Каковы, однако, в Швейцарии полицейские, вновь и вновь покачивал я головой, каковы здесь отношения с полицейскими! И о чем тут мог бы писать литератор, есть ли тут вообще проблемы?

Я очередной раз завел этот полусутоливый разговор, прогуливаясь по Сьерре с профессором Жоржем Нива. Вдруг он, усмехнувшись, показал мне впереди плакат, вывешенный возле ящика с местной газетой. «ВАРВАРСТВО!» – прочел я изда- лека кричащие крупные буквы. Тревожная местная новость. Значит, и здесь все-таки что-то бывает.

«ВАРВАРСТВО! – прочел я снова, приблизясь. – На вокзале найдена повешенная кошка».

# ТРИ ЭССЕ

## Похороны интеллигенции

Интеллигенцию все продолжают хоронить. Это чисто российское понятие, говорят, себя изживает. Пронеся кое-как сквозь советское время «веру в разум истории и гуманизм культуры», под конец XX века русская интеллигенция не выдержала испытания долларом, «утратила самоидентификацию».

Н.М., наш знаменитый кинорежиссер, вспомнив скрытое до поры происхождение, называет себя не интеллигентом – аристократом. А мне вспомнилось, как он помогал попасть в Государственную думу циничному нуворишу Б. – конечно, за деньги, которые нужны были для его нового фильма. Современный деловой человек, актер, отрабатывающий свое угощение на корпоративных вечеринках, может поступать, скажем так, практично, не сверяясь с кодексом чести. Но аристократ?

(В 20-е годы академик Вернадский писал, что судьбу страны решает не масса, а элита. Но он тогда имел в виду самоотверженных деятелей науки, культуры, знающих, что такое служение, не служба. Поташнивает, когда сейчас этим словом называют деятелей шоу-бизнеса, нуворишей, продажных политиков.)

Само понятие «интеллигенция» с самого начала не отличалось четкостью, определения, множась, все более размывались. Иронически перебираются свойства этой категории:

сосредоточенность на духовных материях при подчеркнутом равнодушии к быту, «патерналистская» забота о народе и его просвещении. Принадлежность к интеллигенции (функция которой – критически осмысливать происходящее) в России почти неизбежно означала противостояние власти. (Цитирую без кавычек.) В неспособности русской интеллигенции наладить плодотворное сотрудничество с властью видится едва ли не основная причина катастрофы, постигшей Россию в начале XX века.

С некоторых пор об интеллигенции стали говорить как о «жреческой корпорации секуляризованного мира», третьем – вслед за языческими волхвами и православными священниками – поколении «колдунов», как о некоем полумассонском ордене, принадлежность к которому «наделяет волнующим чувством избранности».

Чего никогда за мной не водилось, так это чувства избранности. Да и «патерналистской» заботы о народе. Общих проблем я давно решать не берусь, поняв, что есть дела, которыми должны заниматься профессионалы.

С профессионалами в России всегда было неважно. Не говорю о политиках или экономистах. В Европе издавна пользовались уважением цеховые мастера, колбасники и ткачи, люди, сознававшие свое достоинство и не требовавшие указующих поводырей-просветителей. Пикассо расплачивался картинами со своим портным: мы оба художники. У нас почти исчез как раз вот этот, средний, мастеровой слой: «высокодуховные» личности парили где-то у себя в высях.

И при всем том – я до сих пор считал бы для себя честью право называться интеллигентом. Не просто профессиональным интеллектуалом.

Время от времени пробую уточнить собственные определения. Одним из признаков интеллигентности можно бы назвать соединение культуры внутренней и культуры внешней, независимо от рода занятий и образовательного ценза.

Я встречал интеллигентных крестьянок и неинтеллигентных профессоров.

Но для меня это понятие предполагает еще и некий внесловный, «интеллигентский» кодекс чести. «Присяга чудная четвертому сословию», которую подтверждал Мандельштам, человек, при всей своей житейской нелепости бывший воплощением подлинного, духовного аристократизма.

Хотя какие теперь сословия? В советское время интеллигенцию называли даже не классом – прослойкой.

Интеллигенты все-таки узнают друг друга.

Недавно вдруг подумалось, что интеллигентность связана с особым религиозным мироощущением. Вне конфессий: интеллигент – скорей человек свободомыслящий. Но он чувствует, что есть нечто выше его. Что не все позволено. Сам не вправе себе позволить.

2008

## История без евреев

Молодой бородач, прижав к груди свиток Торы, с блаженной улыбкой объясняет, почему он не подчиняется распоряжению правительства покинуть подлежащее сносу поселение на палестинских территориях: «Бог дал нам эту землю. Бог – наш царь, мы должны его слушаться».

В газете «Еврейское слово» раввин комментирует Писание: «Эморейцы (аморреи – один из семи народов, который захватили израильтяне), опасаясь за судьбу своего имущества, заблаговременно спрятали золото в стены своих домов. Что в ответ сделал Всевышний? Он послал болезнь, которая вынуждала евреев разрушать дома, в результате чего они обнаружили эти клады, а само богатство доставалось им». Какой следует из этого урок? «Богатства достанутся тому, кто сможет ими воспользоваться во имя служения Всевышнему».



Интересно, как прочитывают это неевреи?

(Там дальше следуют, впрочем, комментарии чисто духовные: «Наше физическое тело и животное начало – это тоже “дом”, в котором обитает душа», в котором скрыты ее бесценные сокровища... Надо только ... разбить эту каменную стену из пустых слов, чуждых традиций и ненужных знаний... И тогда откроется все то духовное богатство, которое скрыто до поры до времени в каждом еврейском сердце».

Но все-таки: не для других.)

Есть немало сюжетов, в которых могут найти для себя пищу антисемиты. Но разве не пища для них – вся мировая история?

Подумать только: если бы не было евреев, эта история могла бы сложиться благополучней. И ведь не воевали они по большому счету ни с кем, если не считать племенных схваток за пастбища, пахотную землю, источники вод. Но погубили изнутри Египет, великую цивилизацию, погубили цивилизацию римскую с ее прекрасным многобожием, внедрив религию христианскую – которая потом погубила цивилизацию ацтекскую и прочие американские цивилизации, и славянские племена. О дальнейших мировых бедствиях нечего говорить. Разве что индейцы и китайцы обошлись без еврейского монотеизма...

Можно представить себе что-то вроде такой пародии – альтернативную модель мировой истории без еврейской заразы.

Неоспоримое достоинство евреев – способность иронизировать над собой.

Богословские умствования раввинов, ритуалы, запреты и многое другое, увы, не вызывают у меня родственного чувства. Мне ближе свободомыслие европейской культуры. Евреи, которые внесли действительно великий вклад в современную цивилизацию и создали модернизированное демократическое

государство – это были в значительной мере ассимилированные евреи. Религиозные ортодоксы так же отвергли бы (и отвергают) модернизацию западного образца, как ее отвергает и мусульманская теократия.

Проблематичность существования для свободомыслящего – и тепло укорененности в догме.

Эта нация продолжает существовать, раздражая остальной мир – но, может быть, служа какому-то непостижимому замыслу, превосходящему ее собственное ограниченное понимание. Мое понимание это во всяком случае превосходит.

Маленькое племя земледельцев и пастухов создало для всего мира, прежде всего для средиземноморской его части, монотеистическую религию – величайшая, непреходящая заслуга, – перебираю я общеизвестное. Их Тора, их Священное писание стало Библией, Священным писанием полумира. Это стало началом истории, заменившей представление о цикличном, повторяющемся ходе жизни. Они же сделали свою религию, первоначально племенную, общемировой – Христос и его апостолы были еврейскими проповедниками. (Поздней Магомет основал еще одну, отпочковавшуюся от иудейской монотеистическую религию; еврейские, семитские пророки и патриархи стали патриархами родственного арабского племени.)

Евреи дали миру единого Бога? – тут же делаю я оговорку. – Скорее мир взял у евреев их Бога. Они сами предпочли бы его оставить исключительно своим. Апостол, сменивший еврейское имя Саул на греческое Павел и провозгласивший по-гречески: «Несть во Христе ни элина, ни иудея», был для евреев первым выкрестом-ассимилянтом. Они еще три века помогали римлянам преследовать христиан, сектантов-отступников. Сами же предпочли на столетия замкнуться в своей племенной религии, утверждая свою избранность, особый, отдельный договор с Богом.

Иудаизм – «семейная» религия, для евреев – не раз слышал я.

Но эта способность сохраняться на протяжении почти двух тысячелетий рассеяния, преследований, изоляции, без своей земли, государства, лишь вокруг своего Писания – не менее потрясающее, труднодостижимое достижение.

Каков был смысл этого самосохранения? – все пытаюсь понять я. Пастернак оскорбил чувства многих, задав этот вопрос. Ответ на него не так очевиден, как может сгоряча показаться. Столетия обособленного существования помогли евреям сохраниться, но в мировой истории и культуре они участвовали больше через созданное ими христианство. Как евреи они стали вносить вклад в мировое развитие, уже все больше ассимилируясь, начиная с конца XVIII века – ни одна нация не дала миру такого множества несравненных личностей. Почему так получилось? Ответы на эти вопросы тоже лишь кажутся очевидными. Приходится поневоле думать, что это многовековое изолированное самосохранение отвечало какому-то телеологическому, мистическому замыслу.

## Писатель и власть

Литераторам предложено порассуждать на тему «Писатель и власть». Очень по-русски сформулировано.

Писатель имеет к власти такое же отношение, как любой гражданин страны. Для американского писателя это вряд ли проблема. Когда президент Кеннеди пригласил на свою инаугурацию Уильяма Фолкнера, тот, помнится, ответил, что у него нет дел в Вашингтоне. Старенький Роберт Фрост не отказался, поехал. А почему бы нет? Он был приглашен по тому же разряду знаменитостей, что кинозвезды, спортсмены и прочие.

В былые времена поэты и драматурги кормились при дворах. Пушкин, одним из первых у нас начавший зарабатывать литературным трудом, от власти предпочел бы держаться подальше.

Я не ропщу о том, что отказали боги  
Мне в сладкой участи оспоривать налоги  
Или мешать царям друг с другом воевать.

Велика ли была для него радость уже не в юном возрасте оказаться произведенным в камер-юнкеры? Но официальную записку «О народном воспитании» он по распоряжению Николая I составил. Дворяне обязаны были служить. Жуковский воспитывал царских наследников. Державин был губернатором, сенатором, министром. Как-то Андрей Синявский, говоря со мной о Маяковском, книгу про которого собирался писать, вспомнил державинскую оду «К Фелице»: «Разве можно упрекать поэта за восхваление власти?»

Но Маяковский, пожалуй, все же другое дело. Как и особый советский опыт отношений с властью. «Власть отвратительна, как руки брадобрея», – чувствуется, как передергивало Мандельштама, когда он проговаривал эти строки. (Люди, не брившиеся в прежних парикмахерских, вряд ли представят телесно прикосновение чужих холодных пальцев к лицу.)

Попробовал бы советский писатель отказаться от правительственного приглашения! Да он сам мечтал о внимании власти, по инерции примеривая к себе слова: духовный авторитет, учитель жизни, властитель дум.

Помнится, в советские времена, да и позже я пробовал вообразить разговор с руководителем страны. Ведь обсуждали же мы в разные годы животрепещущие проблемы с такими умнейшими людьми, как Натан Эйдельман, Давид Самойлов, Григорий Померанц, Вадим Сидур, Леонид Баткин, Вячеслав Вс. Иванов, Владимир Лукин. Объяснить бы Горбачеву, Ельцину то, что нам кажется очевидным, – может, они что-то лучше бы поняли, что-то правильной стали делать. Не так давно в Германии социал-демократические канцлеры по-человечески дружили с Генрихом Бёллем и Гюнтером Грассом (тогда еще не нобелевскими лауреатами), беседовали, наверно, не без пользы для себя, да и книги читали, и этих писателей называли там совестью нации.

Сейчас мне такие наивные до смешного фантазии в голову уже не приходят. Не говорю о людях власти – они, как сказал мне однажды Натан Эйдельман, думают другим местом. Не говорю о том, что к реальному развороту событий даже ум-

нейшие из нас не вполне оказались готовы. Перечитывая записи тогдашних разговоров, то и дело покачиваешь головой. Политические манифесты Солженицына – и те остались не более чем литературной публицистикой. А тот же Бёльль, не принимавший политики христианских демократов, которые привели страну к расцвету, тот же Грасс, призывавший не торопиться с объединением Германии! Неловко перечитывать.

Мы, пожалуй, еще не вполне осознали, насколько в новом тысячелетии изменились представления не только о политике, об истории, об экономике – о самой жизни.

Писатель и власть? Драматург Вацлав Гавел, ставший президентом Чехии, писать, кажется, перестал. Но власть может быть темой писателя. Я как-то переводил главы из книги нобелевского лауреата Элиаса Канетти «Масса и власть», замечательное исследование. Канетти осмысливал общечеловеческие, антропологические проявления власти. Власть как насилие человека над человеком. Власть политическая, власть духовная. Власть человека, просто задающего другому вопрос: почему-то спрашиваемый словно вынужден, считает себя обязанным отвечать.

С темой власти связаны представления об этических, нравственных, да и эстетических ценностях. Томаса Манна отталкивала от Гитлера, помимо всего прочего, его пошлая низкопробность, неэстетичность фашизма. Говоря обо всем этом людям (в том числе и людям власти, если там, наверху, кто-то еще читает книги), писатель влияет на состояние умов и душ, а значит, и на человеческие судьбы, на ход событий, даже если он об этом не помышляет – самим своим существованием.

# СОДЕРЖАНИЕ

РОДИВШИЙСЯ В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ .....	3
МОЙ ВЕК .....	16
РЕВОЛЮЦИЯ И ТАНАТОС .....	20
ЛИЦА .....	22
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДЫ .....	25
МЕЖДУ БЕЗНАДЕЖНОСТЬЮ И НАДЕЖДОЙ .....	30
УРОКИ СЧАСТЬЯ .....	36
СОН ПРИ СВЕТЕ СОЛНЦА .....	48
ОБ ИСКУССТВЕ КАК СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ .....	53
АПОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ .....	84
ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СЮЖЕТЫ .....	91
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ .....	94
ИЗ КНИГИ «СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА» .....	166
ИЗ ЗАПИСЕЙ 2006 ГОДА .....	232
ИЗ ЗАПИСЕЙ 2007 ГОДА .....	239
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ .....	257
ТРИ ЭССЕ .....	269

Научно-популярное издание

Харитонов Марк Сергеевич  
**Уроки счастья**  
Эссе разных лет

Издатель Леонид Янович

Редактор С. Градинарь  
Корректор Н. Скрипова  
Художник Е. Янович  
Верстка и оригинал-макет В.Брызгалова

Налоговая льгота –  
Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2;  
953000 – книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»  
Контактный телефон в Москве (095) 671-0095,  
по вопросам реализации 8-917-547-8424  
E-mail: nkhnograp@mail.ru

Информация об издательстве и Интернете: <http://www.novhron.info>

ISBN 978-5-94881-096-6



Подписано к печати 29.03.2009/  
Формат 84x108/32. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл.печ.л. 15,0.  
Тираж 1500 экз. Заказ № 4067.

Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф-Книга»,  
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

**Издательство  
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ  
В 2009 году вышли в свет:**

**СЕРИЯ «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:  
ИСТОРИЯ РОССИИ В ВОСПОМИНАНИЯХ, ДНЕВНИКАХ, ПИСЬМАХ»:**

**Бейлинсон В.Г.  
СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ В ЛЮДЯХ**

М.: Новый хронограф, 2009. – 518 с., ил., тв. пер.  
ISBN 978-5-94881-066-9

Воспоминания В.Г. Бейлинсона, участника Великой Отечественной войны, известного педагога, в годы «оттепели» зачинателя школьного движения по изучению новейшей истории страны, строятся как рассказ о собственной жизни, неотъемлемо связанной с судьбой родины, и охватывает период тридцатых–пятидесятых годов прошлого века.

Автор показывает жизнь московской семьи, быт и взгляды советской интеллигенции тех лет, повествует о горестях семьи после ареста отца, военного высокого ранга, и деда-профессора. Он рассказывает о первых днях войны, которую встретил старшеклассником, об эвакуации, работе на заводе, уходе на фронт и службе в Уральском Добровольческом танковом корпусе, о непосредственном участии в военных событиях. Вспоминает о настроениях в стране после победы, об учебе в Московском юридическом институте, о последующей работе в Таджикистане, потом о работе учителем в московской школе. Говорит о том, как, подобно многим свои товарищам, разочаровался в Сталине, о времени «космополитизма» и нарастании в обществе ожиданий политического обновления, об «оттепельных» переменах и реабилитации многих осужденных, в том числе членов семьи Бейлинсона. Книга являет характер советского интеллигента в его развитии.



**Издательство  
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ  
В 2009 году вышли в свет:**

**Каптерева-Шамбинаго Т.П.**

## **ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ**

М.: Новый хронограф, 2009. – 486 с., ил., тв. пер.  
ISBN 978-5-94881-078-2

Книга состоит из двух частей. В первой части воспоминаний – «Арбат, дом 4» – все дышит Москвой. Конечно Москвой не нынешней, а 20-х – 40-х годов и еще вполне угадываемой нами вступившими в жизнь в 60-е – 70-е годы прошлого века. И квартира в старом доме на Арбате, перенаселенная, но во многом еще сохранившая старые дореволюционные обычаи гостеприимства и хлебосольства, и летние выезды за город «на дачу», и давно освоенные москвичами места отдыха.

Вторая часть воспоминаний – «За границей», повествует о зарубежных путешествиях автора и, по ее замечанию, «касается малой толики того, что было увидено и пережито». Это вполне оправдано в наше время, когда сограждане тысячами устремились за рубеж, и не только путешествуют по разным странам, но живут и работают в них. Рассказывать о впечатлениях, полученных в крупнейших столицах и музеях мира, было бы сейчас бессмысленной затеей. Поэтому в воспоминания включен лишь тот «круг сведений, фактов, событий, ситуаций, который характеризует ушедшее, пережитое миром и нашим обществом время», и который может быть интересен современному читателю.



*Уроки счастья*



Харитонов, Марк Сергеевич, родился 31 августа 1937 года в Житомире в семье служащих. Окончил историко-филологический факультет МГУИ (1960).

Пишет прозу с 1963 года, но публиковаться стал, в 1967 году как критик и переводчик германоязычной литературы (Т. Манн, Г. Гессе, С. Цвейг, Э. Канетти, Ф. Кафка и др.). Дебютировал как прозаик повестью «День в феврале» («Новый мир», 1976, № 4; предисловие Д. Самойлова).

Проза Харитонова переведена на французский, немецкий и чешский языки.

Член Русского PEN-центра.

Отмечен Бухаровской премией за роман «Дни судьбы, или Сундучок Милашевича» (1992).

Марк  
Харитонов

*Уроки  
счастья*



Марк Харитонов

